

UNIwersYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN

Acta Neophilologica

XVI
1



WYDAWNICTWO
UNIwersYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
OLSZTYN 2014

Kolegium Redakcyjne

Franciszek Apanowicz (Gdańsk), Anna Bednarczyk (Łódź), Józef Darski (Poznań),
Aleksander Kiklewicz (Olsztyn), Joanna Kokot (Olsztyn), Ewa Kujawska-Lis
(Olsztyn), Mikhail Melikhov (Syktywkar), Jolanta Miturska-Bojanowska (Szczecin),
Joanna Nawacka (Olsztyn) – sekretarz, Grzegorz Ojcewicz (Szczecino), Joanna Orzechowska
(Olsztyn), Heinrich Pfandl (Graz), Yuriy Kovbasenko (Kijów), Stanisław Puppel (Poznań),
Larisa Soboleva (Jekaterynburg), Klaus Steinke (Erlangen), Ewa Żebrowska (Olsztyn),
Alexander Zholkovsky (Los Angeles), Bogusław Żyłko (Gdańsk)

Recenzenci

Laura Bailey, Wiera Bielousowa, Maria Biolik, Mirosława Buchholtz,
Tatjana Bunczuk, Joanna Burzyńska-Sylwestrzak, Leonid Bykow,
Tomasz Ciszewski, Tadeusz Danilewicz, Ludmiła Gurlienowa, Krzysztof Hejwowski,
Paweł Jędrzejko, Alla Kamalova, Aleksandra Kędzierska, Aniela Korzeniowska,
Ewa Kujawska-Lis, Michaił Mielichow, Olga Minina, Leontij Mironiuk,
Iwona Anna NDiaye, Małgorzata Nitka, Grzegorz Ojcewicz, Joanna Orzechowska,
Walenty Piłat, Helena Pociechina, Wawrzyniec Popiel-Machnicki,
Walerij Riabinowicz, Irena Rudziewicz, Andrzej Sitarski, Irina Wiepiewa,
Nikolai Wuttke, Ewa Żebrowska

Sekretarz redakcji

Joanna Nawacka
e-mail: joanna.nawacka@gmail.com

Redaktorzy językowi

Ewa Lis-Kujawska, Helena Pociechina

Redaktorzy tematyczni

Językoznawstwo i glottodydaktyka
Alla Kamalova
Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo
Iwona Anna NDiaye

Adres redakcji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
ul. Kurta Obizta 1, 10-725 Olsztyn
tel. fax 89 527 58 47, 89 524 63 69
uwm.edu.pl/slowianie/index.php/czasopisma/Acta_Neophilologica

Redakcja informuje, że wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe

Projekt okładki

Barbara Lis-Romańczukowa

Redakcja wydawnicza
Małgorzata Kubacka

ISSN 1509-1619

© Copyright by Wydawnictwo UWM • Olsztyn 2014

Wydawnictwo UWM
ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
tel. 89 523 36 61, fax 89 523 34 38
www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl

Nakład 110 egz. Ark. wyd. 18,7; ark. druk. 16,0
Druk: Zakład Poligraficzny UWM w Olsztynie, zam. 652

SPIS TREŚCI

Językoznawstwo i glottodydaktyka

Jolanta Chomko, <i>Языковая экспликация концепта ЗЕМЛЯ (на материале русских фразеологизмов)</i>	5
Tamara Graczykowska, Podgburek, łazik, sektant... – <i>leksykalne odzwierciedlenie wrogów państwa radzieckiego (na materiale z gazety „Trybuna Radziecka” z lat 1927–1938)</i>	15
Małgorzata Haładewicz-Grzelak, <i>Neogrammarian Ferdinand: A Natural Hermeneutics of Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes</i>	27
Małgorzata Izert, <i>Mega-wrażenie, giga-promocje czy mega-kiepski film, czyli o jednym ze współczesnych, niekoniecznie młodzieżowych, sposobów intensyfikacji cechy</i>	41
Ewa Kaptur, Andrzej Narloch, <i>Rosyjskie internetowe wpisy kondolencyjne (cz. 1)</i> ...	53
Katarzyna Kuligowska, <i>Kategoria słowotwórcza w strukturalizmie i w językoznawstwie kognitywnym (na przykładzie kategorii nomina attributiva i nomina instrumenti)</i>	65
Małgorzata Kurianowicz, <i>Modernizacja form imperativu na przykładzie cerkiewnosłowiańskich drukowanych tekstów ewangelicznych</i>	77
Magdalena Makowska, <i>Pokaż mi swoje logo – logo miast jako płaszczyzna wizualna</i>	87
Tatiana Malinowska, <i>Суффиксальные универбаты в современном русском молодежном сленге</i>	99
Anna Romanik, <i>Przymiotniki wartościujące w reklamie (na materiale rosyjskiej prasy kobiecej)</i>	107
Robert Szymula, <i>Особенности русского политического дискурса (на примере инаугурационной речи президента Владимира Владимировича Путина, 2012 год)</i>	115

Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo

Людмила Бабенко, <i>Механизм формирования литературно-художественного концепта «тоска» (на материале поэзии Анны Александровны Барковой)</i>	127
Nel Bielniak, <i>Rosyjska wielokulturowość w opowiadaniach Aleksandra Kuprina</i>	141

Magdalena Dąbrowska, <i>Recepcja bajkopisarstwa Iwana Kryłowa w świetle prasy polskiej pierwszej połowy XIX wieku</i>	153
Joanna Getka, <i>Polscy XVIII-wieczni zesłańcy syberyjscy. Strategie (prze)życia na zesłaniu</i>	165
Weronika Łaszkiewicz, <i>Phenomenology of Religion and the Study of Modern Fantasy Literature</i>	179
Grzegorz Ojcewicz, <i>Zinaida Gippius o Iwanie Buninie w prywatnej korespondencji z lat 1926–1932</i>	191
Andrzej Pilipowicz, <i>Jenseits des Salome-Tanzes. Anhand einer Beziehung zwischen dem 2. Teil des Gedichts Drei Blicke in einen Opal von Georg Trakl und dem Gedicht Schleiertanz von Günter Grass</i>	203
Татьяна Шарыпина, <i>Сорбский миф о Крабате в контексте немецкой культурной традиции</i>	215
Roman Szubin, <i>Феномен Василия Макаровича Шукшина в перспективе русской герменевтики</i>	225
Małgorzata Widel-Ignaszczak, <i>Rosyjski przekład Kwiatków Jana Pawła II – problemy komunikacji interkulturowej</i>	237

Recenzja

Józef Marcinkiewicz, <i>Greta Lemanaitė-Deprati, Gija. Podręcznik do nauki języka litewskiego</i>	247
---	-----

JĘZYKOZNAWSTWO I GLOTTODYDAKTYKA

Jolanta Chomko

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uniwersytet w Białymstoku

ЯЗЫКОВАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ КОНЦЕПТА ЗЕМЛЯ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ)

Key words: concept, the language picture of the world, description, linguistics, phraseology

Для современной лингвистики характерно обращение к проблеме «человеческого фактора» в языке. Ученые, работающие в области когнитивной лингвистики, обратили внимание на то, что язык в своей сути антропоцентричен, то есть описывает действительность через ее восприятие человеком, а также имеет богатый набор средств для описания и характеристики самого человека. Антропоцентрическая парадигма современной лингвистики, приводящая к исследованиям, реализуемым на стыке ее с другими дисциплинами, предопределяет междисциплинарный статус категории концепта. Функция концепта состоит в фиксации и актуализации понятийного, эмоционального, ассоциативного, вербального, культурологического и иного содержания объектов действительности, включенного в структуру концептуальной картины мира, где каждый представитель этнокультурной общности свободно оперирует концептами для объективации мысли и её языковой объективации во внешней речи.

В лингвистике в настоящее время существуют разные подходы к пониманию термина «концепт». С.Г. Воркачев определяет концепт как «единицу коллективного знания/сознания (отправляющую к высшим духовным ценностям), имеющую языковое выражение и отмеченную этнокультурной спецификой» [Воркачев 2001: 70] и соотносящуюся с планом выражения лексико-семантической парадигмы, то есть всей совокупности разнородных синонимических средств (лексических, фразеологических, афористических) [Воркачев 2001: 68].

З.Д. Попова и И.А. Стернин трактуют концепт как глобальную мыслительную единицу, представляющую собой квант структурированного знания [Попова, Стернин 2001: 18].

По мнению С.Х. Ляпина, концепт – это многомерное идеализированное формообразование, опирающееся на понятийную основу, закреплённую в значении

какого-либо знака, и обладающее дискретной целостностью смысла, который функционирует в определенном культурном пространстве и поэтому предрасположен к культурной трансляции из одной предметной области в другую [Ляпин 1997: 18–19].

С точки зрения В.В. Колесова, концепт является составляющим ментального мира человека или частью понятия «ментальность»: основные единицы ментальности – «концепты данной культуры, которые в границах словесного знака и языка в целом предстают (являются) в своих содержательных формах как образ, как понятие и как символ» [Колесов 1999: 79]. Согласно определению В.И. Карасика, концепт – это ментальное образование, имеющее «три важнейших измерения – образное, понятийное и ценностное» [Карасик 2001: 10].

Отсутствие единой, общепризнанной дефиниции концепта указывает на незавершенность гносеологического становления этой категории, что подтверждает наличие ее следующих прототерминологических аналогов – «лингвокультураны» [Воробьев 1997: 44–56], «мифологемы» [Базылев 2000: 130–134], „логоэпистемы» [Костомаров, Бурвикова 2000: 23], при рассмотрении которых на первый план выступает «языковое выражение закрепленного общественной памятью следа отражения действительности в сознании носителей языка в результате постижения (или создания) ими духовных ценностей отечественной и мировой культуры» [Костомаров, Бурвикова 2000: 23].

Несмотря на то, что концепты могут быть выражены и невербальными средствами (схемы, картинки и т.п.), самые важные концепты репрезентированы в языке. Следовательно, их описание невозможно без компонентного анализа выражающих их лексических единиц. Семы, выделяемые в процессе компонентного анализа, являются простыми концептами, образующими более сложные концепты. Семы, составляющие сложный концепт, рассматриваются как концептуальные признаки, однако некоторые признаки концепта выявляются не в процессе компонентного анализа значений лексических единиц, а в процессе логического анализа сопутствующей экстралингвистической информации. Это связано с тем, что значения языковых единиц не тождественны выражаемому ими концептам. Значение слова общего языка, представляет собой часть концепта, связанного знаком. Концепт следует отождествлять со смыслом лексической единицы – образующей сознания, которая объединяет визуальные, слуховые, вкусовые, вербальные и другие возможные характеристики объекта, зафиксированные в сознании индивида или группы индивидов. Далеко не все эти элементы зафиксированы в ее значении, так как значение – это то, что объединяет различных носителей языка в понимании той или иной номинации. Таким образом, субъективные особенности восприятия тех или иных объектов и явлений действительности исключены из значений соответствующих лексических единиц, но включены в выражаемые ими концепты.

Несомненно, что описание концепта, основанное только на языковом материале, не может дать полного представления о единице сознания как компоненте концептуальной картины мира, но может содержать в себе достаточный материал

для того, чтобы представить себе концепт в том объеме, в каком он вербализуется в описываемой национальной языковой картине мира. Полученные данные о вербализации концепта ЗЕМЛЯ позволяют предполагать, какие компоненты концепта могут быть универсальными и насколько эта универсальность закреплена в языке, а также сделать некоторые предположения относительно языка, территории и некоторых психических черт, вырабатывающихся на основании общей специфики компонентов концепта ЗЕМЛЯ.

Одним из методов выявления концептов через рассмотрение данных языка является анализ словарных толкований ключевого слова, т.е. имени концепта. В русском языке семантическое поле лексемы *земля* включает в себя разнообразные значения. В 4-х томном *Словаре русского языка* (МАС) дается следующая словарная дефиниция слова *земля*:

1. Третья от Солнца, обитаемая нами планета (*с прописной буквы*). || Место жизни и деятельности людей.
2. Суша, земная твердь (в отличие от водного или воздушного пространства).
3. Верхний, поверхностный слой коры нашей планеты, а также ее более глубокие слои; почва, грунт. || Поверхность, плоскость, на которой мы стоим, по которой движемся.
4. Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей планеты.
5. Территория, находящаяся в чьем-л. владении, пользовании; обрабатываемая, используемая в сельскохозяйственных целях почва.
6. *высок.* Страна, государство.
7. *устар.* Поле, фон (ткани, обоев), по которому сделан рисунок.

Опираясь на данное толкование в семантической структуре лексемы *земля*, можно выделить следующие реальные семы: «планета», «суша», «находится на поверхности планеты», «слой планеты», «территория», «находится во владении», «используется в сельскохозяйственных целях», «форма организации общества», «вещество», «место жизни и деятельности человека», «фон для рисунка».

Значительно большее число семантических признаков лексемы, по сравнению с количеством, взятым из словарей, можно получить с помощью изучения лексической сочетаемости ключевого слова концепта, так как когнитивная дефиниция гораздо шире словарного определения. Экстралингвистическую информацию о содержании концепта содержит его интерпретационное поле, которое отражается во фразеологизмах, поговорках, пословицах. В результате анализа массива русских фразеологизмов со словом *земля*¹ были выделены следующие слоты: «процесс утраты чего-то фундаментального, основательного», «физиологический статус», «характеристика деятельности человека», «положение в пространстве», «характеристика интеллектуальных возможностей и действий человека», «характеристика психического состояния человека», «характеристика социального статуса»,

¹ Источниками анализируемого корпуса послужили: *Фразеологический словарь русского литературного языка*, ред. А.И. Федоров, Москва: Астрель 1997, и S. Karolak, *Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski*, т. 1–2, Warszawa: Energeia 1998.

«характеристика человеческого отношения к чему- или кому-либо», «социально-психологическая оценка кого-либо», «характеристика внешнего вида человека», «характеристика возраста человека», «поведение человека», «характеристика действия на предмет неожиданности и слухового восприятия».

1. «Процесс утраты чего-то фундаментального, основательного».

Процесс утраты характеризуется потерей индивидом социальных или моральных ценностей и норм в следствие каких-либо внешних факторов.

Данный слот репрезентируется фразеологическими единицами: *земля ушла из-под ног* 'о шатком, ненадежном положении кого-л.', *терять землю из-под ног (под ногами)* 'лишиться уверенности в самом себе в результате утраты того, на чём основывается общественное или служебное положение, мировоззрение' и *земля горит под ногами* 'кто-л. вынужден очень быстро, стремительно убежать'. Эти фразеологизмы представляют значение изменения социального статуса, связанное с потерей авторитета, т.е. возможности влиять на кого- или что-либо или изменение психологического состояния вследствие эмоционального чувства, привязанности к другому человеку или к объекту.

2. «Физиологический статус».

Физиологический статус человека связан с жизнедеятельностью организма: *быть поверх земли* 'жить, быть живым', *топтать землю* 'жить, быть в живых', *ходить по земле* 'жить, существовать'.

Изменение физиологического статуса индивида осуществляется в момент необратимого прекращения, остановки жизнедеятельности организма – смерти. Поскольку большинство религий утверждает существование немаиальной души, они, в основном, полагают смерть человека лишь гибелью тела и описывают различные варианты дальнейшего существования личности в виде духа или последующего возрождения в новом теле, либо вечного, либо заканчивающегося достижением нирваны (в буддизме) или жизни вечной (в христианстве).

Таким образом, данный динамический слот вербализуется также фразеологизмами: *ложиться/лечь в землю* 'умирать', *исчезать/исчезнуть с лица земли* 'переставать существовать, умирать', *взойти в сыру землю* 'умереть', *жрать землю* 'быть мёртвым', *залегать в землю* 'умирать', *идти (пойти) в землю* 'умирать', *парить землю* 'быть мёртвым, лежать в могиле', *повалиться (повалило) в землю* 'умереть, кто-л. умер', *полезть (поткаться) в землю* 'умереть', *рыть землю носом* 'умереть, быть мёртвым', *уйти в (под) землю* 'умереть, скончаться'.

Фразеологизмы, составляющие данный слот, говорят также о приближающейся смерти человека: *земля выступила на лице* 'о приближении смерти у тяжелобольного человека', *земля дрожит* 'о чьей-либо близкой смерти', *глядеть (смотреть) в землю* 'готовиться к смерти, ожидать смерти', *землёй заметало* 'о приближении смерти у тяжелобольного человека', *пахнуть землёй* 'быть близким к смерти'.

В любой культуре после смерти человека проходят похороны – погребение тела умершего, о которых говорят фразеологические единицы: *предавать/предать земле* 'погребать, хоронить', *спрятать в землю* 'похоронить кого-л.'.

3. «Характеристика деятельности человека».

Деятельность — это процесс активного взаимодействия субъекта с окружающим миром, во время которого он удовлетворяет какие-либо свои потребности. Деятельностью можно назвать любую активность человека, которой он сам придает некоторый смысл. Деятельность может быть как созидательной, направленной на развитие, так и разрушающей.

Фразеологизмы, вербализующие этот слот, реализуют значение «профессиональная деятельность человека»: *землю роет* 'о человеке, развивающем кипучую деятельность, проявляющем активность для достижения какой-л. цели', *сидеть на земле* 'заниматься земледелием', *подымать землю* 'пахать', *поливать землю потом* 'много и долго трудиться (на земле)', *кормить землю* 'вносить удобрения в почву', *дедову землю пахать* 'делать слишком глубокую вспашку'; «найти что-то редкое»: *доставать/достать из-под земли* 'добывать что-л. (обычно очень редкое, дефицитное)'; «стремление к достижению цели»: *рыть землю носом* 'очень стараться, усердствовать в достижении цели', а также «способ проведения времени»: *мерить землю* 'ходить, бродить без дела'.

Второй вид деятельности человека, направленной на разрушение, проявляется во фразеологизмах: *сносить/снести (стереть, снести) с лица земли* 'уничтожить, истребить', *сровнять с землёй* 'полностью разрушить', *отрезать землю по крыльцо* 'отобрать всю землю у кого-л.'.

4. «Положение в пространстве».

На уровне повседневного восприятия пространство интуитивно понимается как арена действий, общий контейнер для объектов, сущность некоторой системы. В нем определяется место нахождения определенных лиц и предметов по отношению к другим.

Все фразеологизмы, входящие в состав слота, представляют значение 'большого расстояния между описываемыми единицами': *за тридевять земель* 'очень далеко', *на край земли* 'куда-нибудь очень далеко', *на краю земли* 'где-нибудь очень далеко'.

5. «Характеристика интеллектуальных возможностей и действий человека».

Интеллектуальные способности индивида складываются из общих способностей к познанию, пониманию и разрешению проблем, в частности при овладении новым кругом жизненных задач. Часто эту способность характеризуют по отношению к задачам, встречающимся в жизни человека.

Слот вербализован следующими фразеологическими единицами: *видеть на два аршина под землей (или в землю)* 'отличаться большой проницательностью', *упасть/падать (или сойти) с неба на землю* 'освободиться от иллюзий, прийти к правильному пониманию окружающего', *вернуться на грешную землю* 'начать мыслить и поступать, исходя из реальной обстановки'.

6. «Характеристика психического состояния человека».

Особой стороной жизнедеятельности человека и его взаимодействия с окружающей средой, способностью активного отражения реальности совокупностью

душевных процессов и явлений (восприятие информации, субъективные ощущения, эмоции, память и т. п.) является психика.

Представленный слот вербализуется с помощью фразеологизмов: *витать (парить) между небом и землей* 'пребывать, находиться в мечтательном состоянии, не замечая окружающего', *не видеть и земли* 'ничего не замечать', *готов (или рад) сквозь землю провалиться* 'о человеке, чувствующем себя очень неловко, не знущем, куда деваться (от стыда, неловкости)', *пуп земли* 'о ком-, чем-л. являющемся (или считающем себя) центром, средоточием чего-л., самым важным на свете', *земли под собой не слышать (или не чуют и т. п.)* 'испытывать сильную радость, быть в восторге', *земля горит* 'о чьём-л. крайнем возбуждении, буйстве', *под землёй столько, сколько на земле* 'о хитром, скрытном человеке', *под землёй три аршина видит* 'о хитром человеке', *рыть землю* 'горько, безутешно плакать; сердиться', *хватать землю* 'опустить голову вниз от неловкости, стыда за что-л.'.

7. «Характеристика социального статуса».

Социальный статус понимается как положение, занимаемое индивидом или социальной группой в обществе или отдельной подсистеме общества. Определяется по специфическим для конкретного общества признакам, в качестве которых могут выступать экономические, национальные, возрастные и другие признаки, а также соотносительная позиция индивида или группы, определяемая социальными, природными признаками, а также престижем и местом в структуре власти.

Слот репрезентируется следующими фразеологизмами: *между небом и землей (жить, находиться, витать и т.п.)* 'не иметь пристанища, быть в неопределённом положении', *садиться/сесть на землю* 'переходить к постоянной работе в сельском хозяйстве, к земледелию', *сажать/посадить на землю* 'переходить к постоянной работе в сельском хозяйстве, к земледелию', *сидеть на земле* 'заниматься земледелием', *соль земли* 'о выдающихся представителях какой-л. общественной группы, о наиболее ценной и важной части какого-л. общества'.

8. «Характеристика человеческого отношения к чему- или кому-либо».

Отношение человека ко всему – весьма сложный психологический процесс. Ему предшествует ряд жизненных событий и обстоятельств. Данный слот представляет собой модально-оценочный уровень.

Данный слот представляют фразеологизмы с проявляющейся семой активного воздействия «уничтожать»: *сносить/снести (стереть, снести) с лица земли* 'уничтожить, истребить', *сровнять с землёй* 'полностью разрушить', с семой «восприятие себя»: *пуп земли* 'о ком-, чем-л. являющемся (или считающем себя) центром, средоточием чего-л., самым важным на свете', *терять землю из-под ног (под ногами)* 'лишиться уверенности в самом себе в результате утраты того, на чём основывается общественное или служебное положение, мировоззрение', с семой «отношение к земледелию»: *садиться/сесть на землю* 'переходить к постоянной работе в сельском хозяйстве, к земледелию', *сажать/посадить*

на землю 'переходить к постоянной работе в сельском хозяйстве, к земледелию', сидеть на земле 'заниматься земледелием', с семьей «отношение к окружающему»: витать (парить) между небом и землей 'пребывать, находиться в мечтательном состоянии, не замечая окружающего'.

9. «Социально-психологическая оценка кого-либо».

Слот реализуется фразеологизмом как только земля держит (носит, терпит) 'о подлеце, мерзавце' и характеризуется крайне негативной оценочностью.

10. Характеристика внешнего вида человека».

Человек, определяя рост другого человека, должен иметь какую-то отнесенность, которой может быть, например, земля: чуть от (с) земли видать (видно) 'человеку очень маленького роста', от земли не видать (или не видно) 'о маленьком ребенке или о взрослом человеке очень маленького роста', не отрос от земли 'о человеке очень маленького роста', малая земля 'о человеке невысокого роста', от земли не отошёл 'о человеке очень маленького роста', сесть к земле 'стать ниже ростом от старости; сгорбиться'.

Этот слот реализуется также фразеологизмами, относящимися к другим чертам внешнего вида человека: придаться земле 'потемнеть лицом (от горя, испуга)', взяться землей 'стать болезненно бледным, землисто-серым', краше в землю кладут 'о сильно исхудавшем человеке'.

11. «Характеристика возраста человека».

Данный слот представляют фразеологизмы с проявляющейся семой «старость», которая посредственно связывается с приближающейся смертью человека и похоронами, преданию тела земле: землей пахнет 'об очень старом, больном, близком к смерти человеке, земля зовёт 'об очень старом человеке', земля не берёт (не принимает) 'кто-л. живёт очень долго, дольше обычного', земля уж matka 'о том, кто очень стар, близок к смерти, клониться к земле 'быть в преклонном возрасте', земля не держит 'кто-л. очень стар, слаб'.

12. «Поведение человека».

Большинство фразеологизмов, представляющих этот слот, связаны с употреблением алкоголя, пьянством. Они характеризуют так пьяного человека: подпереть землю рогом 'напиться пьяным', найти (напасть) на добрую землю 'напиться пьяным', как и его поведение, вызванное опьянением: земля не держит кто-л. падает, спотыкается (как правило – об очень пьяном человеке), побудать землю 'будучи сильно пьяным, идти споткаясь', целовать землю 'падать на землю (от страха, опьянения), лежать на земле'.

13. «Характеристика действия на предмет неожиданности и слухового восприятия».

Слот «Характеристика действия на предмет неожиданности и слухового восприятия» является коннотативным, так как неожиданный момент действия связан с оценкой значимости для индивида действующих на него внешних или внутренних раздражителей. Все эмоциональные состояния (собственно эмоции и чувства) различаются в зависимости от их качества (положительные

и отрицательные), глубины, интенсивности и продолжительности влияния на деятельность.

Так, во фразеологизме *вырастать/вырасти* (*выскакивать/выскочить*) как *(будто, словно, точно) из-под (из) земли* 'появиться внезапно, неожиданно' реализуется значение «отрицательное чувство ощущения риска или опасности, эффекта неожиданности вне зависимости от того, реальны они или нет».

Проанализированный материал показывает, что когнитивная дефиниция значительно шире словарного определения *земли*. Кроме сем, маркирующих отдельные ЛСВ слова *земля*, ее составляют слоты: «*процесс утраты чего-то фундаментального, основательного*», «физиологический статус», «характеристика деятельности человека», «положение в пространстве», «характеристика интеллектуальных возможностей и действий человека», «характеристика психического состояния человека», «характеристика социального статуса», «характеристика человеческого отношения к чему- или кому-либо», «социально-психологическая оценка кого-либо», «характеристика внешнего вида человека», «характеристика возраста человека», «поведение человека», «характеристика действия на предмет неожиданности и слухового восприятия». Концепт ЗЕМЛЯ занимает важное место в русской концептосфере, обладает многокомпонентной структурой, организуя большое количество лексических единиц современного русского языка. Богатство средств языковой репрезентации концепта ЗЕМЛЯ в русском языке подтверждает его значимость для русского менталитета.

Библиография

- Базылев, В.Н. (2000). *Мифологема скуки в русской культуре*. В: *Res linguistica. Сборник статей к 60-летию профессора В.П. Нерознака*. Москва: Academia, с. 130–147.
- Воркачев, С.Г. (2001). *Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становления антропоцентрической парадигмы в языкознании*. Филологические науки 1, с. 64–72.
- Воробьев, В.В. (1997). *Лингвокультурология (теория и методы)*. Москва: РУДН.
- Карасик, В.И. (2001). *О категориях лингвокультурологии*. В: *Языковая личность: проблемы коммуникативной деятельности*. Волгоград: Перемена, с. 3–16.
- Колесов, В.В. (1999). *Жизнь происходит от слова*. Санкт-Петербург: Златоуст.
- Костомаров, В.Г., Бурвикова, Н.Д. (2000). *Современный русский язык и культурная память*. В: *Этнокультурная специфика речевой деятельности*. Москва: ИНИОН РАН, с. 23–36.
- Ляпин, С.Х. (1997). *Концептология: к становлению подхода*. В: *Концепты. Научные труды*. Архангельск: Поморский госуниверситет, с. 11–35.
- Попова, З.Д., Стернин, И.А. (2001). *Очерки по когнитивной лингвистике*. Воронеж: ИСТОКИ.
- Федоров, А.И. (ред.) (1997). *Фразеологический словарь русского литературного языка*. Москва: Астрель.
- Karolak, S. (1998). *Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski*. T. 1–2. Warszawa: Energeia.

Summary

Linguistic Expression of the Concept EARTH (on the Base of Russian Idioms)

The subject of the description are meanings of the lexeme *earth* and phrases with this lexeme, noted by dictionaries. The reconstruction of the language picture of *earth*, based on linguistic facts, shows how people imagine the world surrounding them. The concept of earth takes an important part in Russian cognitive zone. The variety of language means, verbalized the concept of *earth*, shows how important it is to Russian mentality.

Tamara Graczykowska

Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

PODGBUREK, ŁAZIK, SEKTANT... – LEKSYKALNE ODZWIERCIEDLENIE WROGÓW PAŃSTWA RADZIECKIEGO (NA MATERIALE Z GAZETY „TRYBUNA RADZIECKA” Z LAT 1927–1938)

Key words: Moscow, the Polish press, the Polish language in post-revolutionary Russia

W ciągu ostatnich dziesięciu lat daje się zaobserwować rosnące zainteresowanie tak zwaną polszczyzną radziecką, a zwłaszcza jej początkowym etapem rozwoju – polszczyzną porewolucyjną. Jako pierwsza zwróciła uwagę na potrzebę badań nad językiem polskim na obszarach wschodnich byłej Rzeczypospolitej po I wojnie światowej Barbara Szydłowska-Ceglowska już w 1997 roku [Szydłowska-Ceglowska 1997: 252–254].

Na apel ten odpowiedziało wielu badaczy. Jolanta Mędelska i Marek Marszałek jako pierwsi wprowadzili termin „polszczyzna radziecka” na określenie języka polskiego, jakim posługiwali się Polacy na całym terytorium ZSRR, od momentu jego powstania aż do upadku w 1991 roku. Dokonali oni umownego podziału polszczyzny radzieckiej na trzy okresy: 1) porewolucyjną polszczyznę radziecką (lata 1917–1939), 2) powojenną polszczyznę radziecką (lata 1944–1990), 3) postsowiecką polszczyznę używaną na terenach byłego ZSRR [Mędelska, Marszałek 2000a: 116]¹.

Niezależnie od podziału chronologicznego badacze zaproponowali także rozróżnienie terytorialne polskiego języka radzieckiego (w zależności od podłoża językowego, na który nałożył się język polski) na odmianę moskiewską, białoruską, ukraińską, litewską (kowieńską i wileńską), a także na przykład na polszczyznę Kazachstanu [Mędelska, Marszałek 2001: 111; Mędelska, Marszałek 2003: 63]. W ramach każdej z tych odmian

¹ „Każdy z tych wariantów radzieckiego języka polskiego kształtował się w odmiennych warunkach, w innym czasie, każdy też miał własny, specyficzny krąg użytkowników oraz rozmaity ich liczbę. Każdy zatem zasługuje na odrębny opis. Dopiero suma poszczególnych analiz powinna dać właściwy, całościowy i możliwie wierny obraz języka” (J. Mędelska, M. Marszałek, *Kulak czy gbur? Rozterki twórców polszczyzny radzieckiej*, Przegląd Polonijny 2000, t. 26, z. 3, s. 116).

występują kolejne podziały chronologiczne, specyficzne zestawy cech, a sama szeroko rozumiana polszczyzna radziecka jest zróżnicowana również pod względem socjalnym [Mędelśka, Marszałek 2003: 63–64].

Pierwsze uwagi na temat języka polskiego w ZSRR pojawiły się już w okresie międzywojennym. Dyskusje o stanie polszczyzny toczyli na łamach polskiej prasy moskiewskiej, głównie „Kultury Mas” i „Trybuny Radzieckiej”, polscy działacze komunistyczni, którzy uciekli z Polski przed wyrokami sądów sanacyjnych [Sierocka 1963: 7; Sierocka 1968: 12; Cimek 1993: 134–138]. W 1929 roku w „Kulturze Mas” ukazał się artykuł Brunona Jasieńskiego *O rewolucję językową*², w którym autor zwracał uwagę na zaśmieszenie języka polskiego w Rosji radzieckiej rusycyzmami, a następnie, w 1930 roku, artykuł *Twórzmy polski język radziecki*³, w którym odnosił się do sposobów adaptowania do polszczyzny rosyjskiej leksyki realioznawczej, czyli sowietyzmów. W 1929 roku Tomasz Dąbał w artykule *O rewolucję językową, proletariacki język mas*⁴ wystąpił przeciwko wyrazom obcego pochodzenia (np. *cynizm*) czy leksyce religijnej w języku polskim (np. *daj Boże!*) [szerzej na temat tego artykułu zob.: Mędelśka, Marszałek 2000a: 130–133; Mędelśka, Marszałek 2000b: 42–44]. W 1933 roku, również w „Kulturze Mas”, pojawił się tekst Z. Kubalskiej *Rusycyzmy, sztuczne dziwolągi, a żywy język mas*⁵, w którym autorka starała się wykazać konieczność dostosowania języka polskiego do nowej, radzieckiej rzeczywistości oraz przestrzegania poprawności językowej, w tym unikania rusycyzmów [szerzej zob. Graczykowska 2008: 141–142; Graczykowska 2014: 78–79].

Współcześnie prace nad moskiewską odmianą polszczyzny radzieckiej w okresie porewolucyjnym zostały podjęte przez ośrodek bydgoski. Badacze zwrócili uwagę, że zajmując się tym wariantem języka polskiego w ZSRR konieczne jest dotarcie do wszelkich możliwych źródeł, między innymi prasy polskiej, materiałów okolicznościowych, propagandowych, prac naukowych dotyczących języka polskiego w ZSRR, podręczników wydawanych dla polskich szkół w Związku Radzieckim, słowników [Mędelśka, Marszałek 2000a: 127–128; Mędelśka 2001: 59]. Należy podkreślić, że źródeł odzwierciedlających porewolucyjną polszczyznę radziecką jest wiele, chociaż często dostęp do nich jest bardzo ograniczony [Киселёва 2007: 88–89]. W kręgu zainteresowań językoznawców znalazł się język polskich komunistów przebywających w ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym (przykładowo językiem T. Dąbała zajęła się Tamara Graczykowska [por. Graczykowska 2007b: 39–51; Graczykowska 2009: 64–72]), słowniki przekładowe Józefa Krasnego, które ukazały się w Moskwie w latach trzydziestych XX wieku [Маршалёк 2001: 171–172; Мэндэльска 2001: 53–61; Mędelśka 2008: 275–285; Mędelśka 2010: 73–101; Mędelśka, Marszałek 2000a: 133–139; Mędelśka, Marszałek 2001: 111–121; Tomasik 2007: 161–165; Graczykowska 2010: 89–101], polska literatura wydawana w ZSRR [Graczykowska 2005: 96–105; Graczykowska 2007a: 158–170] oraz prasa polskojęzyczna [Graczykowska 2008: 137–149; Graczykowska 2011: 37–58; Graczykowska 2012b].

² Kultura Mas 1929, nr 1–2, s. 11–13.

³ Kultura Mas 1930, nr 2, s. 5.

⁴ Kultura Mas 1929, nr 3, s. 19.

⁵ Kultura Mas 1933, nr 3, s. 15–18.

W niniejszym artykule zaprezentuję niewielką próbkę materiału leksykalnego wyekscerpowanego z gazety „Trybuna Radziecka”, centralnej gazety polskojęzycznej wydawanej w Moskwie w latach 1927–1938⁶. Omówię nazwy osób, które według oficjalnej propagandy w Rosji Radzieckiej były uznawane za wrogów państwa. Na przykładzie wybranych leksemów chciałabym pokazać, jak za pomocą słownictwa, często o silnym nacechowaniu negatywnym, władza radziecka starała się poprzez prasę (w tym również polskojęzyczną) kształtować pożądane postawy społeczne.

Praktyka stalinizmu zakładała, że każdy sprzeciw wobec władzy radzieckiej był przejawem walki klasowej [Iwanow 1991: 325]. Wszelkie odstępstwo od przyjętego kursu politycznego było traktowane jako przestępstwo i ostro napiętnowane, a osoby, u których zauważono postawy sprzeczne z obowiązującą ideologią, nazywano „wrogim elementem”. Za „wrogi element” w dwudziestoleciu międzywojennym uważano między innymi przeciwników kolektywizacji. Głównym ich przedstawicielem był *kułak* ‘bogaty chłop’.

W 1929 roku przystąpiono do masowej kolektywizacji rolnictwa. W czasie kolektywizacji planowano likwidację zamożniejszego chłopstwa. Tę klasę społeczną uznawano za „ostatnią klasę wyzyskującą”. Większość polskiej ludności chłopskiej wypowiedziała się przeciwko kolektywizacji, co doprowadziło do likwidacji „kułaków” jako klasy. Skala zastosowanych środków terroru wobec ludności chłopskiej była ogromna [Gregorowicz 1996: 592]. Większość „kułaków” wysiedlono na Syberię i Daleki Wschód, a ich majątek oddano kołchozom. Pod presją propagandy partyjnej w polskiej prasie pojawiały się liczne artykuły o masowych aktach szkodnictwa dokonywanych przez „kułaków” w kołchozach, o ignorowaniu przez nich zasad agrotechniki w pracach polowych itd. [szerzej zob. Iwanow 1991: 336–344].

Na łamach „Trybuny Radzieckiej” leksem *kułak*, będący zapożyczeniem formalno-semantycznym z języka rosyjskiego (*кулак* – TSRJa⁷), wyróżniał się ogromną frekwencją tekstową. Obok *kułaka* pojawił się również pochodny *podkułacznik* ‘poplecznik (sprzymierzeniec) kułaków’, będący również rusycyzmem (*подкулачник* – TSRJa); por.:

- **kułak:** *Kułacy zawsze byli i są zadowoleni z teorii [...] oportunistów*⁸ – 1930/120/1⁹ (kilkanaście wystąpień);
- **podkułacznik:** *Dzięki agitacji podkułaczników i kułaków zarząd kolektywu przeprowadził tę pracę według kułackiej równościówki* – 1932/208/3 (kilkanaście wystąpień).

Kułak występował również w innych źródłach pochodzących z okresu międzywojennego, jest odnotowany na przykład w KRPS [por. też Mędelśka, Marszałek 2000: 43; Graczykowska 2010: 96; zob. też z polszczyzny T. Dąbala: Graczykowska 2007: 46;

⁶ W skład jej redakcji, zwłaszcza w początkowym okresie, wchodził polscy komuniści, emigranci polityczni, między innymi Bruno Jasieński, Tomasz Dąbal, Feliks Kon, Julian Leński-Leszczyński, Jan Hempel, Stanisław Budzyński.

⁷ Wykaz skrótów znajduje się na końcu artykułu.

⁸ Zachowuję pisownię oryginału.

⁹ Cyfry oznaczają kolejno: rok wydania Trybuny Radzieckiej, numer, stronę.

z Białorusi radzieckiej: Grek-Pabisowa, Ostrówka, Biesiadowska-Magdziarz 2008: 134, 135, 229]. Leksem *kułak* rejestruje SIJP w znaczeniu: ‘w Rosji chłop bogaty wyzyskujący innych chłopów, lichwiarz wiejski’; ESWO: ‘w Rosji lichwiarz wiejski, bogaty chłop’; SJPD: ‘bogaty chłop zatrudniający w gospodarstwie siły najemne, wyzyskujący biedotę wiejską; kapitalista wiejski’ (z ros.); SWJP-2 między innymi: ‘wyraz używany ze zdecydowanie negatywnym zabarwieniem uczuciowym przez komunistyczną propagandę tamtego okresu’ (z ros.); SWO: ‘w krajach komunistycznych w okresie kolektywizacji deprecjonujące określenie nadawane chłopom, których majątek zamierzano skonfiskować’. Leksem znany z powojennej prasy polskiej [Tekiel 1988:127]. Podobnie *podkułacznik* – por. zapisy w KPRS [oraz: Mędelska, Marszałek 2000: 43; Joachimiak-Prażanowska, Mędelska 2001: 169; Grek-Pabisowa, Ostrówka, Biesiadowska-Magdziarz 2008: 182]. Współcześnie rejestruje się go w powojennym dialekcie północnokresowym [Mędelska 2000: 361]. Oba rusycyzmy (sowietyzmy) notuje TSJS.

W latach trzydziestych polscy działacze komunistyczni w ZSRR (między innymi wspomniani T. Dąbał i B. Jasieński) krytykowali język Polaków mieszkających w Rosji radzieckiej. Odczuwali potrzebę nowego, polskiego niezapożyczonego słownictwa, które pozwoliłoby wyzwolić się od rusycyzmów. Nawoływali do zastąpienia rusycyzmów nowymi wyrazami i do stworzenia polskiego języka proletariackiego¹⁰ [szerzej zob. Mędelska, Marszałek 2000a: 121–139; Graczykowska 2010: 93–94]. Zaproponowali, aby zamiast słów *kułak*, *podkułacznik* używać słów *gbur* i *podgburek*¹¹:

Nie „kułak”, lecz „gbur”. [...] Zamiast przeszczepiać żywcom z rosyjskiego krające nasze ucho słowo „podkułacznik” – stworzyć możemy od „gbur”, zgodnie z naturą języka polskiego, słowo „podgburek”¹².

Oba te leksemy oraz ich pochodne pojawiły się w „Trybunie Radzieckiej”; por.:

- **gbur**: *W Listopadówce jest dużo stosunkowo gburów* – 1930/2/2 (łącznie około 100 wystąpień, wszystkie przykłady pochodzą z dwóch roczników: 1929 i 1930; w następnych wyraz ten został zastąpiony *kułakiem*);
- **gbur-kułak**: *Wzmocnijmy atak przeciwko gburom-kułakom* – 1929/33/1 (kilka-dziesiąt przykładów);
- **gburczyk** ‘mniej zamożny kułak’: *Charakterystycznym dla naszej wsi jest [...], cała sfera drobnych gburczyków* – 1930/7/2;
- **podgburek** ‘chłop współpracujący z kułakami’: *Trudno [...] prowadzić walkę klasową z klechą, gburom i podgburkiem* – 1930/53/3 (2 wystąpienia).

¹⁰ B. Jasieński, *O rewolucję językową*, Kultura Mas 1929, nr 1–2, s. 11–13.

¹¹ Chociaż T. Dąbał i B. Jasieński byli czołowymi działaczami Polonii radzieckiej, sami również znaleźli się w ogniu krytyki (por. T. Graczykowska, *Słownik Józefa Krasnego a żywy polski język radziecki w dwudziestolecie międzywojennym (kilka uwag o konkursie ogłoszonym przez „Trybunę Radziecką” w 1930 r.)*, Acta Baltico-Slavica t. 34, s. 94). Oskarżono ich o polski nacjonalizm. W atmosferze nasilającej się nagonki musieli złożyć samokrytykę, wyrzec się nie tylko głoszonych przez siebie poglądów, ale także i zarzucanych im, których nie wypowiadali (por. H. Cimek, *Tomasz Dąbał 1890–1937*, Rzeszów 1993, s. 195–197).

¹² Kultura Mas 1930, nr 2, s. 3.

Leksem *gbur*, będący nacechowanym pejoratywnie pomorskim dialektyzmem (SJPD notuje go z kwalif. *daw.*, dziś *gw. płn.* ‘chłop, zwłaszcza chłop zamożny, mający własny grunt; gospodarz’; w SIJP: ‘gospodarz, rolnik (u Kaszubów), chłop, wieśniak’; w ESWO: (z niem.) ‘dawniej chłop, wieśniak, obecnie: grubianin’), notowano również w innych źródłach równoległych, na przykład w KRPS [zob. też: Graczykowska 2010: 96; Mędelska 2008: 283; Graczykowska 2007: 45; Mędelska, Marszałek 2000: 43], oraz współcześnie w polszczyźnie radzieckiej [Mędelska 2007: 106]. Podobnie leksem *podgburek*, równoległy w KPRS [por. też Graczykowska 2010: 97; Mędelska, Marszałek 2000: 43].

Kolejnym przejawem represji wobec Polonii w ZSRR w okresie międzywojennym było prześladowanie Kościoła katolickiego, księży i Polaków katolików [zob. Grek-Pabisowa 2003: 57–58; Iwanow 1991: 298]. Od połowy 1922 roku rozpoczęły się represje, wytaczano procesy księżom, zamykano kościoły [Gregorowicz 1996: 592]. Ten wrogi stosunek ujawnił się na stronach „Trybuny Radzieckiej” w używaniu następujących leksemów:

- **klecha** ‘pogardliwie o księdzu’: *Trudno [...] prowadzić walkę klasową z klechą* – 1930/53/3; w SIJP: *pogardliwie* ‘ksiądz, posługacz kościelny’; w ESWO: ‘pogardliwa nazwa księdza’; w SJPD: ‘pogardliwie o księdzu lub posługaczu’, w SWJP-2: ‘pejoratywnie, pogardliwie, obraźliwie o duchownym’; w PSWP: *pogardliwy* ‘zwłaszcza ksiądz katolicki’; w ISJP: ‘potoczne i pogardliwe określenie księdza’;
- **religionista** ‘religiant, dewot’: *Zawalidrogów-religionistów i księżulka do surowej odpowiedzialności* [tytuł] – 1930/9/3; brak zapisu w polszczyźnie ogólnej; innowacja lokalna;
- **ojczaszek** ‘tu: ksiądz’: *Próby ojczaszka proboszcza uciszenia wzburzonych owieczek [...] były głosem „wołającego na puszczy”* – 1929/15/4; SL, SWil nie notują; w SW: jako *gw.* i odsył. do *ojciec*; w SIJP *ojczaszek żart.* ‘ojciec’; w SJPD: z odsył. do *ojczaszek* ‘żartobliwie albo poufale o zakonniku’; efemeryda;
- **sektant** ‘sekcjarz’: *W Briańsku zamknięto wprawdzie kościół katolicki, lecz sektanci przenieśli się do Bieżyca* – 1930/68/4; poświadczenie równoległe w KRPS oraz – z polszczyzny kowieńskiej – u Graczykowskiej¹³; rejestruje jedynie SW z odsył. do *sekcjarz* (bez cyt.); rusycyzm: *сектант* (TSRJa).

Należy dodać, że lekceważenie wiary i religii przejawiało się również w zapisywaniu wszelkich nazw związanych z religią małą literą (np. *bóg*), bądź w cudzysłowie, np.:

W swoim czasie przed „bożym narodzeniem” kółko rozwinęło masową pracę antyreligijną.

Przeciw kułackiej wielkanocy [tytuł];

W wigilię wielkanocy odbędzie się wieczór antyreligijny¹⁴.

¹³ T. Graczykowska, *Język kowieńskiego tygodnika „Chata Rodzinna”. Przyczynek do badań nad polszczyzną północnokresową w dwudziestoleciu międzywojennym* (maszynopis rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem Jolanty Mędelskiej, przechowywany na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu).

¹⁴ Trybuna Radziecka 1935, nr 53, s. 3.

W „Trybunie Radzieckiej” tępiono wszelkie przejawy niegospodarności, szkodnictwa w sferze produkcyjnej. Na temat tej grupy leksyki również toczyła się dyskusja na łamach „Kultury Mas”, podczas której Jasieński zauważył, że:

Nie mamy w języku polskim ustalonej terminologii na określenie takich pojęć jak „progul”, „prostoj” [...]. Musimy tę terminologię stworzyć i to znów w ścisłej łączności z życiem i językiem proletariatu fabrycznego w Polsce. [...] Po nazwy dla innych trzeba będzie sięgnąć do gwar języka polskich przedmieść fabrycznych. Tak np. dla określenia „progulszczyka”, tj. robotnika – lenia i objacza, opuszczającego pracę bez uzasadnionej przyczyny, moglibyśmy przeszczepić do naszego słownika wytwórczego stare polskie słowo „łazik”, oddające wcale nieźle to samo pojęcie¹⁵.

Choć w polszczyźnie ogólnej znane jest słowo *bumelant*, w „Trybunie Radzieckiej” wystąpił rusycyzm *progulszczyk* oraz zaproponowany przez Jasieńskiego *łazik* (ale też *rwacz*, *spacerowicz*):

- **łazik** ‘niesumieny pracownik często zmieniający miejsce pracy, bumelant’: *Komórka partyjna powinna przekształcić każdego zacofanego robotnika, każdego łazika [...], w dobrego szturmowca* – 1932/12/2 (kilkadziesiąt wystąpień); *łazikostwo* występuje w ESWO: w haśle *progul* ‘samowolna przerwa w pracy’ (z ros); jedynie SJPD rejestruje słowo *łazik* jako ‘próżniaczy pracownik często zmieniający miejsce pracy’; w SGW gw. *szk.* ‘spacerowicz’; w SW: ‘wesz, pasożyt’; w SIJP: ‘łazęga, włóczęga, powsinoga; maruder, dezertier wojenny; pasożyt’; w SWJP-2: ‘ten, kto lubi się wałęsać, włóczyć się; włóczęga, wagabunda’; w ISJP: ‘to ktoś, kto lubi się włóczyć’, słowo potoczne używane z dezaprobatą; w USJP pojawia się *łazikostwo* ‘zaniedbywanie swoich obowiązków w pracy’; sowietyzm;
- **nepman** ‘w czasach tak zwanej Nowej polityki ekonomicznej: handlarz, prywaciarz’: *Pracujący w ZSRR wstępujcie w szeregi walczących bezbożników dla walki z religią jako oporą dla gburów, nepmanów i imperjalizmu!* – 1930/42–43/2 (ponad dwadzieścia wystąpień); notuje TSJS; ESWO rejestruje *nep* jako ros. skrót *nowaja ekonomiczeskaja polityka* ‘nowa polityka gospodarcza, kierunek gospodarczy w Rosji rozpoczęty pod koniec życia Lenina’; *nep* notują SWO, PSWP, USJP; rusycyzm (sowietyzm): *нэнман* (w TSRJa jako *neologizm*, z kwalif. *hist.*, *lekceważąco*);
- **progulszczyk** ‘niesumieny pracownik często zmieniający miejsce pracy, bumelant’: *Poszczególne cechy sfotografowały szturmowców i progulszczyków* – 1931/10/3 (pięć wystąpień); notuje TSJS; *progul* ‘samowolna przerwa w pracy, łazikostwo’ z ros. notuje ESWO; rusycyzm (sowietyzm): *прогульщик* (TSRJa);
- **rwacz** ‘kombinator, cwaniak’: *Obok piętnowania przez społeczność robotniczą nierobów, rwaczy [...] wysunęła ona jako cel [...] wzmocnienie własnej bazy spożywczej* – 1933/89/1 (dwa wystąpienia); notuje TSJS; poświadczą jedynie PSWP jako wyraz *pot.*, *rzad.* z ros. ‘osoba, która wykorzystuje swoje stanowi-

¹⁵ Kultura Mas 1930, nr 2, s. 5.

ska lub jakąś sytuację do osiągnięcia maksimum korzyści osobistych lub materialnych’; rusycyzm: *пвач* (w TSRJa jako *pot.*);

- **sabotant** ‘sabotażysta’: *Zwalczając [...] sabotantów, niedbalców [...], należy jednocześnie dopomagać każdemu sumiennemu kolejarzowi* – 1935/142/1 (13 wystąpień); rusycyzm: *саботант* (w ISGRJa jako galicyzm w ros.);
- **sabotażnik** ‘sabotażysta’: *Kim są sabotażnicy?* – 1928/21–22/2; poświadcza TSJS; rusycyzm: *саботажник* (w TSRJa jako neol.);
- **spacerowicz** ‘bumelant’: *„Spacerowiczów” na naszej fabryce już nie ma* – 1929/50/4; tu raczej pod wpływem ros. *прогульщик* (TSRJ); w polszczyźnie ogólnej w innym znaczeniu: ‘człowiek odbywający spacer, spacerujący, lubiący spacerować’; w prasie radzieckiej rusycyzm bądź neosemantyzm;
- **symulat** ‘symulant’: *„Trybuna Radziecka” [...] wypowiedziała walkę symulatorem, łażikom* – 1930/49–50/1; błąd druku lub innowacja lokalna.

Spśród wymienionych leksemów znany w polszczyźnie radzieckiej jest *łażik*, równolegle rejestruje go KRPS [por. też: Graczykowska 2010: 97; Mędelska 2008: 283; Mędelska, Marszałek 2000: 43; Graczykowska 2007: 97; współcześnie: Mędelska 2000: 310]. W innych źródłach zarejestrowano również leksem *nepman*, równolegle w KRPS; też *nepmanka* [Mędelska 2008: 283; współcześnie: Mędelska 2000: 331; wśród rusycyzmów w prasie ogólnopolskiej: Bielecka-Latkowska 1987: 188]; *progulszczyk* [równolegle w Mędelska, Marszałek 2000: 43], z języka polskiego w radzieckich więzieniach, łagrach, na zesłaniu podaje [Ostaszewska 1996: 334]; oraz *sabotant*, w KRPS.

Również w leksyce politycznej pojawiło się kilka wyrazów, które dotyczą osób uznawanych za wroga państwu radzieckiemu i partii:

- **liszeniec** ‘osoba pozbawiona praw (w ZSRR do 1936 roku – ktoś pozbawiony praw obywatelskich za przynależność do klas wyzyskujących)’: *Wyjątki z tego przepisu dopuszcza się dla tych liszeńców, którzy w ciągu szeregu lat trudnią się pracą społecznie użytkową* – 1935/25/1 (cztery wystąpienia); w ESWO *liszeńcy* (z ros.) ‘pozbawieni praw w Rosji sowieckiej, należący do dawnych warstw uprzywilejowanych’; poświadcza PSWP: (z ros.) *hist.* ‘w Związku Radzieckim przed 1936 rokiem: ludzie, którym odebrano prawa obywatelskie i wyborcze z powodu dawnej przynależności do klasy posiadaczy, oskarżanych o wyzysk’; notuje TSJS; rusycyzm (sowietyzm): *лишенец* (w TSRJa jako neol., *hist.*);
- **nacjonalodchyleniec** ‘człowiek, który odstąpił od ustalonej przez partię polityczną linii partyjnej w kierunku nacjonalistycznym’: *Azerbajdżańska partja [...] szybko rozgromiła nacjonalodchyleńców* – 1937/162/2; rusycyzm: *национал-уклонист* (SIR-2);
- **naruszyciel** ‘człowiek naruszający zasady, prawo’: *Współpraca z naruszycielami pokoju jest niemożliwa* – 1937/130/2 (pięć wystąpień); znane w: SL, SWil, SW, SJPD; w SJPSz brak hasła; w PSWP: z ograniczeniem *rzad.* ‘człowiek, który coś narusza, postępuje wbrew przepisom, układom, nie uznaje obowiązujących praw, norm itp.’; rejestruje TSJS; regionalizm frekwencyjny nadużywany pod wpływem ros. *нарушитель* (TSRJ);

- **politykant** ‘politykier’: *Burżuazyjni politykanci w obliczu bankructwa i rozkładu tych partji [...] znajdują ratunek w stworzeniu nowych* – 1928/23/7; brak zapisu w słownikach ogpol.; z najnowszej polszczyzny ogólnej podaje Smółkowa: ‘człowiek zajmujący się i piszący o polityce, ale nie zajmujący się nią zawodowo’ jako *okazj.* [Smółkowa 1999: 48]; notuje TSJS; rusycyzm: *политикан* (w TSRJa z *dezaprobatą*);
- **wypaczeniec** ‘osoba, która coś fałszuje, wypacza’: *Partja winna nadal prowadzić bezwzględna walkę z „lewicowymi” wypaczeńcami antyśredniackimi* – 1930/75/3 (trzy wystąpienia); brak zapisu w słownikach ogpol.; innowacja lokalna;
- **zaskokowiec** ‘osoba, która dopuszcza się wyskoków, wybryków’: *Lecz słuszny cios wymierzony zaskokowcom „lewicowym” [...] nie daje nikomu prawa traktować [...] dyrektywy partji, jako powód do folgowania w walce przeciwko religji* – 1930/120/3 (dwa wystąpienia); *zaskok* ‘postępowanie niezgodne z normą; wybryk, wyskok’ jako *rzad.* podaje SJPD (bez cyt.); w SL, SWil, SW brak znac.; innowacja lokalna; por. też ros. *заскок* (TSRJa).

Jedynie leksem *naruszyciel* notowano w innych źródłach dotyczących polszczyzny radzieckiej; por. zapisy we współczesnych źródłach [Mędelska 2000: 328; Mędelska 2004: 398; Joachimiak-Prażanowska 2007: 193].

W artykule zaprezentowano 23 leksemy przedstawiające nazwy osób – tak zwanych wrogów państwa radzieckiego. Słownictwo to dotyczy czterech grup tematycznych: sfery politycznej, produkcyjnej, religijnej oraz związanej z okresem kolektywizacji.

Polacy mieszkający w Rosji radzieckiej byli zmuszeni do przystosowania słownictwa związanego z życiem państwa radzieckiego do języka polskiego. Ogromna liczba nowych terminów (głównie politycznych), które występowały na łamach radzieckiej prasy, musiała również pojawić się w polskich gazetach wydawanych w Rosji w okresie międzywojennym. W badanym okresie w polszczyźnie etnicznej nie było jeszcze skodyfikowanego słownictwa, które nazywałoby radzieckie realia. Polacy, nie znając odpowiednich polskich nazw (czasem one jeszcze nie istniały), sięgali po gotowe, dobrze im znane rosyjskie słowa. Stąd w przedstawionym ekscerpcie aż 11 jednostek to rusycyzmy (*kulak, podkulacznik, sektant, nepman, progulszczyk, rwacz, sabotant, sabotażnik, liszeniec, nacjonalodchyleneć, politykant*). Znaczące miejsce wśród przedstawionych leksemów zajmują sowietyzmy. Są wśród nich zarówno wyrazy odwzorowujące rosyjskie wzorce (np. *kulak, podkulacznik, nepman, progulszczyk*), jak i nowotwory językowe, spontanicznie powoływane do życia przez przedstawicieli mniejszości polskiej, które nie mają swoich ekwiwalentów w języku rosyjskim (np. *gbur, gburchyk, podgburek, lazik*). Tylko jeden ze wskazanych tu sowietyzmów – jako zapożyczenie właściwe – wszedł na trwałe do zasobów leksykalnych języka ogólnopolskiego, a mianowicie leksem *kulak*. Pozostała część leksyki tworzą innowacje lokalne (*religionista, ojczaszek, symulat, wypaczeniec, zaskowiec*) oraz regionalizm frekwencyjny (*naruszyciel*). Siedem leksemów notowano równolegle w innych źródłach (w słownikach przekładowych polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich wydawanych w Moskwie w latach trzydziestych, w prasie polskiej na Białorusi radzieckiej, w języku polskiego komunisty Tomasza Dąbala), co świadczy

o tym, że były w powszechnym obiegu, a sześć jednostek to wyrazy do dziś rejestrowane na terenie dawnych Kresów północno-wschodnich (np. *kułak, podkułacznik, gbur, łażik, nepman, naruszyciel*).

Należy dodać, że przykłady tekstów wyekscerpowanych z „Trybuny Radzieckiej” są silnie nacechowane ideologicznie oraz tendencyjne. Wrogowie państwa radzieckiego są ukazani w kontekście stałej walki z nim. Kluczowymi zwrotami są tu *wzmocnijmy atak, zwalczając sabotantów, bezwzględna walka, wypowiedziała walkę, rozgromiła* itd. Wszystkie wskazane przykłady zawierają negatywne konotacje, służą do deprecjowania przeciwnika. Warto zwrócić też uwagę na dychotomiczne relacje „my – oni”, które pojawiają się w omawianych kontekstach, przykładowo: *wróg – sumienny kolejarz; progulszczyk, zacofany robotnik – szturmowiec; gbur, kułak – biedota, średniacy*.

Jak pisała Iryda Grek-Pabisowa, „Słowo ma olbrzymią siłę rażenia. [...] Nieprzypadkowo język stał się jednym z najpotężniejszych narzędzi utrzymania władzy w państwach totalitarnych” [Grek-Pabisowa 2003: 214]. Za pomocą słownictwa przedstawionego w artykule, często pejoratywnego, władza radziecka starała się poprzez prasę (w tym również polskojęzyczną) kształtować pożądaną przez ówczesną władzę postawy społeczne.

Wykaz skrótów słowników

- ESWO Trzaska, W., Evert, L.J., Michalski, J. (wyd.) (1939). *Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych*. Warszawa.
- ISGRJa Епишкин, Н.И. (2010). *Исторический словарь галлицизмов русского языка*. Москва.
- ISJP Bańko, M. (red.) (2000). *Inny słownik języka polskiego*. T. 1–2. Warszawa.
- KRPS Красный, Ю. (ред.) (1933). *Русско-польский словарь*. Москва.
- PSWP Zgółkowa, H. (red.) (1994–). *Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny*. T. 1–. Poznań.
- SGW Wieczorkiewicz, B. (1966). *Słownik gwary warszawskiej XIX wieku*. Warszawa.
- SIJP Arct, M. (1916). *Słownik ilustrowany języka polskiego*. Warszawa.
- SIR-2 Букчина, Б.З., Калакуцкая, Л.П. (1998). *Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника*. Москва.
- SJPD Doroszewski, W. (red.) (1958–1968). *Słownik języka polskiego*. T. 1–10. Warszawa.
- SJPSz Szymczak, S. (red.) (1992). *Słownik języka polskiego. Wydanie zmienione i poprawione*. T. 1–3. Warszawa.
- SL Linde, S.B. (1807–1814). *Słownik języka polskiego*. T. 1–6. Warszawa.
- SW Karłowicz, J., Kryński, A.A., Niedźwiedzki, W. (1900–1927). *Słownik języka polskiego*. T. 1–8. Warszawa.
- SWil Zdanowicz, A. et al. (1861). *Słownik języka polskiego*. T. 1–2. Wilno.
- SWO Sobol, E. (red.) (1999). *Słownik wyrazów obcych*, Warszawa.
- SWJP-2 Dunaj, B. (red.) (1998). *Słownik współczesnego języka polskiego*. T. 1–2. Warszawa.
- TSJS Мокиенко, В.М., Никитина, Т.Г. (1998). *Толковый словарь языка Совдепии*. Санкт-Петербург.
- TSRJa Ушаков, Д.Н. (ред.) (1935–1940). *Толковый словарь русского языка*. T. 1–4. Москва.
- USJP Dubisz, S. (red.) (2003). *Uniwersalny słownik języka polskiego*. T. 1–6. Warszawa.

Bibliografia

- Bielecka-Latkowska, J. (1987). *Rosyjskie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku polskim w świetle materiałów słownikowych i prasy powojennej*. Kielce.
- Cimek, H. (1993). *Tomasz Dąbał 1890–1937*. Rzeszów.
- Graczykowska, T. (2005). *Język cyklu reportaży „Płomień i próchno” Wandy Wasilewskiej na tle polszczyzny radzieckiej*. *Linguistica Bidgostiana* 2, s. 96–105.
- Graczykowska, T. (2007a). *Rusycyzmy i sowietyzmy we wspomnieniach Wandy Wasilewskiej*. *Linguistica Bidgostiana* 4, s. 158–170.
- Graczykowska, T. (2007b). *Rusycyzmy i sowietyzmy w tekstach Tomasza Dąbala (przedstawiciela polskich komunistów przebywających w okresie międzywojennym w ZSRR)*. W: E. Laskowska, M. Jaracz (red.). *Język, historia, polityka*. Bydgoszcz, s. 39–51.
- Graczykowska, T. (2008). *Wpływ sytuacji politycznej na jakość polszczyzny tygodnika „Trybuna Radziecka” wydawanego w ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym*. W: E. Laskowska, I. Benenowska, M. Jaracz (red.). *Język, społeczeństwo, wartości*. Bydgoszcz, s. 137–149.
- Graczykowska, T. (2009). *Osobliwa leksyka w książce Tomasza Dąbala „Polacy Związku Radzieckiego”*. *Linguistica Bidgostiana* 6, s. 64–72.
- Graczykowska, T. (2010). *Słownik Józefa Krasnego a żywy polski język radziecki w dwudziestoleciu międzywojennym (kilka uwag o konkursie ogłoszonym przez „Trybunę Radziecką” w 1930 r.)*. *Acta Baltico-Slavica* 34, s. 89–101.
- Graczykowska, T. (2011). *Język polski w Rosji Radzieckiej w okresie międzywojennym a polszczyzna na Białorusi Radzieckiej (na materiale wybranych zagadnień fleksji rzeczownika)*. *Acta Baltico-Slavica* 35, s. 37–58.
- Graczykowska, T. (2012a). *Porewolucyjna, radziecka rzeczywistość odzwierciedlona w nazwach zawodów (na materiale „Trybuny Radzieckiej” z lat 1927–1938; litery A–K)*. *Slavia Orientalis* 41, nr 4, s. 511–531.
- Graczykowska, T. (2014). *Wpływ języka rosyjskiego na słownictwo wydawanej w dwudziestoleciu międzywojennym ZSRR polskiej prasy (na przykładzie leksyki dotyczącej sfery rolniczej w „Trybunie Radzieckiej”)*. *Poradnik Językowy* 7, s. 76–87.
- Gregorowicz, S. (1996). *Polacy w Rosji i w ZSRR*. W: *Nowa encyklopedia powszechna PWN*. T. 5. Warszawa, s. 592.
- Grek-Pabisowa, I. (2003). *Język polski okresu międzywojennego 1920–1939 na Białorusi radzieckiej*. *Acta Baltico-Slavica* 27, s. 53–61.
- Grek-Pabisowa, I., Ostrówka, M., Biesiadowska-Magdziarz, B. (2008). *Język polski na Białorusi radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna pisana*. Warszawa.
- Iwanow, M. (1991). *Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921–1939*. Warszawa – Wrocław.
- Joachimiał-Prażanowska, J. (2007). *Słownictwo przestarzałe i archaiczne w słowniku rosyjsko-polskim S. Lewińskiej i T. Staraka*. *Linguistica Bidgostiana* 4, s. 187–206.
- Joachimiał-Prażanowska, J., Mędelśka, J. (2001). *Osobliwe słownictwo „Kuriera Wileńskiego” (1924–1939) na tle swoistej leksyki powojennej prasy wileńskiej*. W: F. Czyżewski (red.). *Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim*. Lublin, s. 159–177.
- Mędelśka, J. (2000). *Język polskiej prasy wileńskiej (1945–1979)*. T. 2: *Lata 1945–1959*. Bydgoszcz.
- Mędelśka, J. (Й. Мэндельска) (2001). *Проблемы исследования послереволюционного варианта советского польского языка*. *Scando-Slavica* 47, s. 53–61.
- Mędelśka, J. (2004). *Język polskiej prasy wileńskiej (1945–1979)*. T. 3: *Lata 1960–1979*. Cz. 2: *Słownictwo, wyrazy*. Bydgoszcz.
- Mędelśka, J. (2007). *Siedmiolatki i polityka. Język kowieńskich „Nowych czytaneł”*. W: E. Laskowska, M. Jaracz (red.). *Język, historia, polityka*. Bydgoszcz, s. 101–112.

- Mędelńska, J. (2008). *Nowe, radzieckie realia odzwierciedlone w moskiewskim słowniku rosyjsko-polskim, wydanym w latach 30. ubiegłego wieku*. W: E. Laskowska, I. Benenowska, M. Jaracz (red.). *Język, społeczeństwo, wartości*. Bydgoszcz, s. 275–285.
- Mędelńska, J. (2010). *Rosyjskie skrótownice porewolucyjne w pierwszych radzieckich słownikach dwujęzycznych*. *Acta Baltico-Slavica* 34, s. 73–101.
- Mędelńska, J., Marszałek, M. (2000a). *Kułak czy gbur? Rozterki twórców polszczyzny radzieckiej*. *Przegląd Polonijny* 26, z. 3, s. 129–132.
- Mędelńska, J., Marszałek, M. (2000b). *Twórzmy słownik „polskiego języka radzieckiego”*. *Poradnik Językowy* 8, s. 39–49.
- Mędelńska, J., Marszałek, M. (2001). *Z badań nad językiem Polonii radzieckiej lat 1917–1939*. W: M. Szewczyk, M. Czachorowska (red.). *Język polski w rozwoju*. Bydgoszcz, s. 111–121.
- Mędelńska, J., Marszałek, M. (2003). *Język polski na Białorusi Radzieckiej okresu międzywojennego (kilka uwag na gorąco)*. *Acta Baltico-Slavica* 27, s. 63–71.
- Ostaszewska, D. (1996). *Polszczyzna w radzieckich więzieniach i łagrach i na zesłaniu*. W: I. Bajerowa (red.). *Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939–1945)*. Warszawa, s. 271–281.
- Sierocka, K. (1963). *Z dziejów czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR („Kultura Mas” 1929–1937)*. Warszawa.
- Sierocka, K. (1968). *Polonia radziecka 1917–1939. Z działalności kulturalnej i literackiej*. Warszawa.
- Smółkowa, T. (1999). *Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985–1992*. Cz. II: P–Ż. Kraków.
- Szydłowska-Ceglowa, B. (1997). *Język polski w Rosji porewolucyjnej i ZSRR (do roku 1935)*. *Język Polski* 77, z. 4–5, s. 251–258.
- Tekiel, D. (1988). *Nowe słownictwo polskie. Materiały prasy lat 1972–1981*. Cz. 1: A–O. Wrocław etc.
- Tomasik, P. (2007). *Ideologia w skrócie. Obraz Związku radzieckiego lat 20. XX wieku utrwalony w skrótownicach rosyjskich*. W: E. Laskowska, M. Jaracz (red.). *Język, historia, polityka*. Bydgoszcz, s. 161–165.
- Киселёва, И. (2007). *Советский польский язык в России до II Мировой войны*. W: E. Laskowska, M. Jaracz (red.). *Język, historia, polityka*. Bydgoszcz, s. 87–92.
- Маршалек, М. (2001). *Из исследований над советским польским языком*. *Zinatkiskie Raksti* 3, s. 167–173.
- Мэндельска, Й. (2001). *Проблемы исследования послереволюционного варианта советского польского языка*. *Scando-Slavica* 47, s. 53–61.

Summary

Podgburek, łazik, sektant... – the Lexical Reflection of Enemies of the Soviet State in the Weekly “Trybuna Radziecka” (1927–1938)

This article presents a lexical material excerpted from the Polish weekly “Trybuna Radziecka” published in Moscow in 1927–1938. The author tries to show that the new realities of life in the Soviet Union had a colossal effect on the Polish language of “Trybuna Radziecka”. The paper contains 23 lexems. The lexical items are listed with quotes of textual illustrations and conclusions. The largest group are borrowings from Russian language (e.g. *kułak, podkułacznik, sektant*). Next in the line are the so-called Sovietisms, that lexical items naming the Russian reality of the post-revolutionary period (e.g. *gburczyk, łazik*).

Małgorzata Haładewicz-Grzelak

Studium Języków Obcych

Politechnika Opolska

NEOGRAMMARIAN FERDINAND: A NATURAL HERMENEUTICS OF *MÉMOIRE SUR LE SYSTÈME PRIMITIF DES VOYELLES DANS LES LANGUES INDO-EUROPÉENNES*

Key words: Neogrammarians, Ferdinand de Saussure, language change, *Mémoire*, PIE sonants

Introduction¹

The term “Neogrammarian” has been fraught with tense emotion ever since it appeared. Not infrequently were facts admitted as evidence in the argumentation – for or against the Neogrammarian work – only insofar and as much as they suited the kind of momentary emotion felt [...]. It is astonishing and shocking alike that in most, if not all writings which deal with the Neogrammarians the prevailing impression conveyed is that the concept of the sound law constitutes the sum total of the Neogrammarian achievement – regardless of whether evaluated positively or negatively; once this achievement is taken away [...], not very much worthwhile remains [Jankowsky 1972: 13].

Neogrammarians, as Jankowsky [1972: 114] points out, excessive and extremist in many respects, were totally immunized against Romaniticism. They wanted to reach beyond “the mere comparison of these languages in the framework of the mainstream paradigm which was then inspired by the Darwinism of Ernst Haeckel (1834–1919) and August Schleicher (1821–1868)” [Bouissac 2010: 45].

This paper argues that insufficient attention has been paid to the Neogrammarian and “natural” intent of Ferdinand de Saussure’s work (e.g. a monograph

¹ I am grateful to two anonymous referees for this journal for their suggestions and criticisms. I would also like to express my thanks to Prof. Helena Pocięchina for getting me acquainted with de Saussure’s *Mémoire*. The paper is part of a larger project on Neogrammarians. For a more detailed description of the movement and an extensive list bibliography, cf. Haładewicz-Grzelak [2013, and forth.]. All translations in the paper from Russian and French are mine – M.H.-G.

published in 1879 as *Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes*, *Mémoire* henceforth). Without being a straightforward exegesis or a historiographic study, it makes use, however, of a hermeneutic enquiry into some aspects of his thought. To recall briefly, hermeneutics, in the version as practiced and developed by e.g. Paul Ricoeur, is not only a theory of interpretation but also, it is important due to its ability to reveal the modus of a human existence. It also contributes to a better understanding of a human being and the connections with a surrounding world [cf. Klemm as cited in Rosner 1989: 7]. Along these lines, philosophy must become interpretation, that is, it should incorporate achievements of all the sciences which aim to decipher and interpret the products of culture, the signs of human existence [Ricoeur 1989: 119].

De Saussure's contemporaries in Europe include Hermann Paul (1846–1921), Karl Brühler (1879–1963), Jan Baudouin de Courtenay (1845–1929), Mikołaj Kruszewski (1851–1887), Otto Jespersen (1860–1914), as well as Edward Sapir (1884–1939) in the New World.² With regard to the existence of such plethora of eminent scholars, both as de Saussure's predecessors and contemporaries, Percival [1981, 2011] asks a difficult question of why so many linguists “eventually came to regard themselves as followers of de Saussure rather than any of these linguistic theorists? How did this exclusive loyalty to de Saussure come about?” [Percival 2011: 239].

Percival [1981] aims to address this and the related moot issues. In brief, he suggests two factors which could have contributed to the posthumous pedigree status of de Saussure in the contemporary scene. The paramount one was the nationality. Citing Malkiel, “The acceptance of the leadership of a French-Swiss genius connoted for many Westerners then opposed to Germany a strongly desired, rationalized escape from the world of Brugmann, Leskien, Osthoff, and Paul” [Malkiel 1969: 537, as cited in Percival 1981: 44]. Additionally, Percival quotes an excerpt from a letter written by Edward Stankiewicz (dated 7 October 1977):

There is not the slightest doubt in my mind that both Trubetzkoy and Jakobson were somehow bent on throwing all the credit for “structuralism” to Saussure (with whom they had little in common and on underplaying the role of B[adouin] d[e]C[ourtenay] (from whom they took a great deal). I recently asked Jakobson point blank why they (the Praguians) did not state more clearly the importance of B d C and Kruszewski and he answered that “nobody would have listened to us, had we talked about the Poles” [Percival 2011: 252].

In this sense, de Saussure's Swiss background provided a neutral ideological plateau, convenient for the majority of Western scholars, making him a guarding spirit already of the Second International Congress in Geneva [cf. Percival 1981: 41].

² Lotman [2002] explicitly maintained that “современники Пирс и Соссюр, будучи в свое время маргиналами академического мира, ничего не знали друг о друге” [contemporaries Peirce and Saussure, being in their times at the margin of the academic world, did not know anything about each other] [Lotman 2002: 22, footnote 2].

The second reason could have been the inherent diversity of the linguistic scene of the time. Percival claims that each of these diverging groups had their own motives to promote de Saussure. This reconciliatory function was possible due to the inherently vague means of the presentation of ideas in Saussure's work and the lack of commitment to any stand. Finally Percival points that

one cannot underestimate the extent to which the identification of a founding father can provide a struggling new movement with a much needed sense of identity. In this respect, Saussure was an ideal choice, being a highly respected historical linguist of the old school and hence a figure largely immune to criticism on the part of the professional establishment to whom the structuralists were opposed. Paradoxically, therefore, the *Cours* performed the double service of providing these rebellious young linguists with a respectable intellectual pedigree and, at the same time, offering them a weapon to fight the stranglehold that historical linguists still had on academic linguistics in the early decades of the twentieth century [Percival 1981: 45].

Taking the meta-theoretical position and assuming *Mémoire* as an example of discourse in the Ricoeurian sense, the first section of this paper concentrates on the status of the *Cours* with respect to the work of the Neogrammarians, on the status of young de Saussure with respect to his Neogrammarian contemporaries, and on the Neogrammarian status of *Mémoire*, the book which, as Pocietchina assumes, was “образцом научного предвидения в языкознании” [the epitome of scientific foresight in linguistics] [Pocietchina 2009: 24]. Section 2 points out original insights of the young scholar, which usually pass unnoticed or are taken for granted by contemporary academia. This is done by exploring and comparing a variety of referential sources and by taking a “Natural” and hermeneutic look at de Saussure's monumental monograph. My analytical focus was on what the way in which he structures his argument, and on what this structuring can reveal of his epistemology. In this way the study hopes to contribute to a critical evaluation of paradigm change in retrospective. Following Pocietchina [2009: Chapter I], I assume that there is too much emphasis on the revolutionary aspects of subsequent linguistic paradigms, while in reality there occurs nothing but gradual evolution and accumulation of ideas.

1. The *Course*

De Saussure is known almost exclusively for the work he neither wrote, nor edited, nor approved for publication, and which has been circulating for decades under his name: *Course in general linguistics* (the *Course* henceforth). The book has been “edited” by people who, as Percival points out, did not attend a single lecture of his on general linguistics in Geneva and “both made important contributions to general linguistics on their own before they became involved in

editing the *Course*” [Percival 1981: 42].³ On the other hand, the 2002 publication of Saussure’s own handwritten manuscripts and real lecture notes of his students (as *Écrits de linguistique générale – Writings in general Linguistics*) passed almost unnoticed. Worse still, the only book de Saussure wrote, edited and approved for publication, that is, *Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes* is at best ignored or considered among general readership as something of no particular importance.

Sanders comments on the quandary spurred by the *Course* in the following way:

While the posthumous and non autograph status of the text may have contributed to its inclusion in the twentieth century canon, its sometimes gnomic formulations gave rise to many creative interpretations and also left full scope of argument “for” and “against” Saussure. These varied according to the stance of an individual or to the intellectual fashion of the decade. Did Saussure, or did he not, see language as asocial and ahistorical? Did he or did not, rule out the study of speech within linguistics? [Sanders 2002: xviii].

As Jankowsky controversially assumes, “More than 9 students out of 10 will connect his [de Saussure’s] importance exclusively with the posthumous *Course*. And yet there is much to it when Franz Specht claims that *Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes*, published by de Saussure when he was 22, constitutes the climax of his scholarly carrier” [Jankowsky 1972: 185]. Upon closer historical scrutiny, this claim loses some of its iconoclastic and scandalous stridor: most of the distinctions introduced by de Saussure in the *Course* were shown to have existed and circulated in the academia of the time, at least 20 years before the posthumously published *Course*. I will now briefly review some of them.

Percival [1981, 2011] explores reactions of the contemporary reviewers after the publication of the first editions of the *Course*. The study shows that, unfortunately, the response of the contemporaries to the first edition of the *Course* was mostly negative, protesting most of all against assumed originality of de Saussure’s concepts. For example, in Leonard Bloomfield’s review (the 1922 edition of the book), we can read that the *Course* merit “lies in its clear and rigorous demonstration of fundamental principles. Most of what the author says has long been ‘in

³ Bouissac similarly observes that Bally and Sechehayé, although they attended some of de Saussure’s course on comparative grammar, “had not been present at any of the three courses in general linguistics that Saussure gave between 1906 and 1911. They enrolled a former student, Albert Riedlinger, who had taken the second course, to help them sort out the material and build a plausible reconstruction of Saussure’s theory on the basis of these notebooks. This was all the more challenging as Saussure had not organized the three course in the same manner” [Bouissac 2010: 117]. More importantly still, both “editors” had drastically differing views on linguistic architecture from those they attributed to de Saussure in the *Cours*. Percival provides an extended quote from Bally’s inaugural address on succeeding to de Saussure’s professorial chair in 1913, pointing out that although Bally began by dutifully and deferentially expounding de Saussure’s framework of ideas, he swiftly “proceeded to state quite openly that he himself had reached different conclusions from those of his master” [Percival 1981: 42].

the air' and has been here and there fragmentarily expressed; the systematization is his own" ([Bloomfield 1923: 317] as cited in Percival [1981: 40, footnote 5]).

What exactly has been in the air? Jankowsky points out that "[t]he Neogrammarians, all of them, distinguished between 'systematic', i.e. historical, and comparative approach" [Jankowsky 1972: 150]. Percival provides detailed evidence for this issue showing, for example, how scholars such as e.g., Hugo Schuchardt and Otto Jespersen vehemently protested against the conceptual novelty of the neologisms *synchronie* versus *diachronie*: "Otto Jespersen, a member of Saussure's own generation, makes the same point bluntly and with none of Schuchardt's modesty. He refers to the synchronic and diachronic approaches as 'what I myself called the statics and dynamics of language in *Dansker Studien* 1908, p. 213'" [Percival 1981: 34].⁴

Jakobson provides a tectonic summary of "Saussurean" ideas, where he basically traces them all directly back to the Kazan School, in particular, Mikołaj Kruszewski. For example, "the majority of theoretical concepts and principles exposed by de Saussure date back to his elder contemporaries, Baudouin de Courtenay (8, 133) and Kruszewski (150, 142)" [Jakobson 1973: 17].⁵ Further on Jakobson explicitly points out that the internal duality of *langue* and *parole* exposed by de Saussure, was calqued on the synonymous distinction between *jazyk* [language] and *reč* [speech] enunciated by Baudouin de Courtenay in 1870 [Jakobson 1973: 19]. To that, "Saussure a adopté la conception stoïenne du signe verbal, double composé du signifiant perceptible et du signifié intelligible [...]. La différence entre les deux attitudes linguistiques, la synchronie et la diachronie, a été clairement exposé, avec des exemples à l'appui, par Baudouin de Courtenay pendant le dernier tiers du XIX^e siècle" [Jakobson 1973: 18ff].⁶ More importantly, in his essay on the importance of Kruszewski, Jakobson writes:

A travers le *Cours* de Genève, c'est l'idée fondamentale du *Profil* de Kruszewski sur les deux axes linguistiques, l'axe syntagmatique et l'autre, qu'on appelle aujourd'hui paradigmatique, qui a profondément pénétré dans la linguistique internationale contemporaine. Baudouin se servit lui aussi de cette dichotomie comme de différentes autres idées de Kruszewski dans ses travaux tardifs [...]. Mais il faut dire qu'en réalité la

⁴ With respect to the focus of Neogrammarians on dialectology, I would like to cite another charge against the *Course* that appeared in Percival's paper. A review by Karl Berger, a prominent Romanist, contains the following complaints: "[a] name such as Schuchardt", he says, "is not mentioned in de Saussure's book" [...]. "An awareness of the results of modern dialectology, especially in the romance area, is also lacking. Saussure did not seem to have understood the significance of the French linguistic atlas and the work of Gilléron upon it" [Jaberg 1965: 127]" [Percival 1981: 35].

⁵ "La plupart des concepts et principes théorétiques exposés par Saussure remontent à ses contemporains aînés, Baudouin de Courtenay (8, 133) et Kruszewski (150, 142)" [Jakobson 1973: 17].

⁶ For a detailed discussion of paradigmatic affinities between Kruszewski, Baudouin de Courtenay and Saussure, see also in particular Radwańska-Williams [1993] and Jakobson [1973] (chapter XI "*L'importance de Kruszewski dans le développement de la linguistique générale*"). See also Koerner [1973] for the more detailed documentation of continuities between Saussure's ideas and achievements of his predecessors and contemporaries.

conception des problèmes en question chez Kruszewski est beaucoup plus systématique, plus cohérente et plus vaste que celle de Baudouin et de Saussure [Jakobson 1973: 256].

Of course, we will never know what de Saussure's intended book would have really been like and how he would have structured the argument. Two things are certain: the editors of *Writings* observe some discrepancies between de Saussure's actual manuscripts and original lecture notes of his students, with the version authored by Bally and Secheyaye. Bouquet [Bouquet, Engler, Weil 2002], comparing de Saussure's own notes with the "vulgate" of the *Cours*, observe that

his view of the discipline is less categorical than appears in the 1916 rendering, while at the same time resting on more explicit foundations [...]. The meticulous foundations – epistemological and philosophical of the Swiss linguist's thought correspond exactly to the two components somewhat neglected by his "editors" (this is how, curiously, Bally and Secheyaye refer to themselves in the preface to the book which they drafted from the beginning to the end). These two components are an epistemology of comparative grammar and a philosophy of language. To oversimplify, the first was nourished by the knowledge paradigm (episteme) of the nineteenth century and the second by that of the eighteenth century" [Bouquet, Engler, Weil 2002: xiii].⁷

It must be also observed at this point that in *Mémoire* de Saussure always refers with full reverence to all the scholars that contributed to the research in a given field. He also specifies in what way his work differs or builds on their research. For example, de Saussure says that the sonant liquids in PIE were discovered in 1877 by Osthoff, but "malheureusement ce savant n'a donné nulle part de monographie complète de ce sujet" [Saussure 1879: 42, footnote 1]. As far as the nasal sonants are concerned, de Saussure attributes the discovery of these to Karl Brugmann various times throughout the book [e.g. Saussure 1879: 6].⁸ If de Saussure consistently mentions all prominent scholars of his times and earlier in the only book he wrote, it thus seems that he cannot be charged for failing to refer to the predecessors in a book he had never approved for publication himself. We thus have solid grounds to claim that the *Course* might not have been the version of de Saussure's "catechism" he would have totally endorsed. The lack of proper

⁷ The existence of discrepancies, interestingly, was observed much earlier by Jakobson himself: "Notre conclusion – que la valeur d'opposition devrait être transférée du phonème à trait distinctif (23) – ne contredit pas les vues de Ferdinand de Saussure lui-même, étant donné qu'ici comme en bien d'autres endroits, les éditeurs du *Cours* ont dévié de son enseignement authentique. Dans les transcriptions originales des cours de Saussure, nous voyons en effet que ce ne sont pas les phonèmes mais leurs 'éléments' qui prennent 'une valeur purement oppositive, relative, négative'" [Jakobson 1973: 139]. Divergences were observed already by people who knew Ferdinand personally. For example, Percival cites a review of the *Cours* by a student who had actually studied with de Saussure, Paul Regard, where the editors are critiqued "for making it appear that de Saussure separated linguistic change from the external conditions upon which it depends [...] 'But the author of the present preface more than once heard the late Ferdinand de Saussure explain by means of external conditions not only linguistic changes but the reservation of certain features'" [Percival 1981: 37].

⁸ Also, in one of the footnotes de Saussure observes that "M. Benfey has shown that the verb *mṛlati* in the Vedas, had the long *ṛ* and M. Hübschmann has given the explanation for it by the comparison with Avestan *marezhd*" [Saussure 1879: 250, footnote 1].

credits to theoretical achievements of the time in the *Course* could only testify to the fact that Bally and Secheyay were themselves not very proficient in the intricacies of the scholarly scene of the time. Given also that both Bally and Secheyay on many occasions made a point of stressing the divergence of their opinions with these of de Saussure [see Bouquet, Engler, Weil 2002], it could be the case that in their version they exaggerated de Saussure's stand to make the difference more prominent.

With regard to the plethora of ambiguities concerning the *Course*, the scarcity of elaborations on *Mémoire* – the book de Saussure did approve for publication under his name – is astonishing. Usually, the existence of *Mémoire* is subsumed under this type of brief comment:

Saussure himself wrote nothing of general significance. A book on the vowel system of early Indo-European language, a doctoral thesis on the use of the genitive case in Sanskrit and a handful of technical papers are all that he ever published. Nor did he leave behind a rich hoard of unpublished writings. His influence, both within and beyond linguistics, is based on something he never wrote [Culler 1986: 17].⁹

The following subsection will try to take a closer look at this monograph in the context of the Neogrammarian spirit of the time. I take *Mémoire* as one of the highlights of Neogrammarian achievements and will refer to particular formulations therein as instances of Neogrammarian methodology.

2. *Mémoire* and Ferdinand de Saussure as a rebellious Neogrammarian

2.1. The challenge

De Saussure's academic career was largely devoted to teaching ancient European languages – he assumed the post of the professor of Comparative History of Indo-European Languages at the University of Geneva in 1891, in the words of Bouissac, “a domain of research in which he was considered a major authority” [Bouissac 2010: 2]. His adventure with linguistics started for real at the age of 18, when he came to Leipzig, which at the time was a linguistic high ground, with

⁹ There are of course remarkable exceptions. In his monograph on Russian historical grammar W.K. Matthews [1960] frequently refers to the diachronic research of de Saussure, assessing its meritoric validity. For example, he points out the issue of long sonants in PIE which de Saussure advocated and recalls that it was de Saussure who (in his paper *À propos de l'accentuation lituanienne* in *Recueil de publications scientifiques*) had shown that the Indo-European long vowels “are represented in ‘Balto-Slavonic’ by the acute (e.g. [long] *í, á, ú*) and the diphthongs are normally circumflex (**eĩ, eñ, el̃*)” [Matthews 1960: 22]. Also, discussing metatony in the Russian paradigm of declension, Matthews cites it as an example of “the so-called Fortunatov – de Saussure ‘law’ which explains the shift from the initial to the final syllable as due to the attraction of either a short syllable or a long circumflex syllable in Common Slavic, as well as in Baltic, to a following long acute syllable (e.g. Com S *bordá*)” [Matthews 1960: 42].

acknowledged professors such as Georg Curtius (1820–1885) and August Leskien (1840–1916) [cf. Bouissac 2010: 44]. Furthermore, Leipzig at the time was the crib of the nascent movement – Neogrammarians. Bouissac [2010] describes the group as young rebels, not very much older than de Saussure, aiming to move linguistics toward a scientific epistemology and defying the romantic approach that at the time had dominated the study of Indo-European languages in Germany. Their objective was “the methodic search for rigorous objective laws that explained scientifically why the Indo-European languages were all so different in spite of the common origin” [Bouissac 2010: 44f]. The lead in this movement was taken by Karl Brugmann, who was only 27 at the time when de Saussure arrived in Leipzig [cf. Bouissac 2010: 45]. As mentioned in Kemmer [2009] about that time (in 1876) Brugmann fell in deep conflict with Curtius after the publication of an article on *nasalis sonans*: “After his co-editor of one of the main journals of comparative linguistics, Georg Curtius, essentially stopped publication to get rid of him and his new ideas about linguistic methodology, Brugmann co-founded the journal *Morphologische Untersuchungen* with Hermann Osthoff” ([Kemmer 2009, no indication of a page]).

In the autobiographical text of 1903 (as quoted by Bouissac), de Saussure admits that he felt ill-prepared for the studies, experiencing additionally a culture shock: “[a]though he was reasonably fluent in German, he did not know most of the ancient languages that were discussed in the philological courses and his knowledge of Sanskrit was still superficial” [Bouissac 2010: 45].¹⁰ Still, only three years after de Saussure arrived in Leipzig with only very rudimentary linguistic knowledge, his monograph *Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes* was published by the prestigious Teubner publishing house in Leipzig (1879).

We have to recall that it was the time of very prolific Neogrammarian output. The preceding year Kurt Wagner’s Neogrammarian project on dialectology came out in the same publishing house. The year 1878 also witnessed the publication of the Neogrammarian manifesto, signed by Osthoff and Brugmann, which appeared in the first issue of *Morphologische Untersuchungen*. A year after the publication of *Mémoire*, Hermann Paul’s *Prinzipien der Sprachgeschichte* came out in Halle, published by Max Niemeyer.

Mémoire, in general reporting the study of multiple forms under which “what is called” Indo-European *a* is manifested,¹¹ arose mixed reactions among German linguists, and, as Bouissac [2010] points out, to de Saussure’s disappointment,

¹⁰ Notwithstanding, as Bouissac remarks, de Saussure was admitted to the Linguistic Society (Société de linguistique) already at the age of 17, with his first essay read at its meetings when de Saussure was 18 [Bouissac 2010: 51].

¹¹ Jerzy Kuryłowicz, in his outstanding appraisal of *Mémoire*, says the following in this respect: “Les éléments n’existent pas les uns à côté des autres, mais grâce aux autres. L’auteur du ‘Mémoire’ le dit expressément en introduisant le ‘heros’ de son livre, la voyelle fondamentale a_1 (*e*), dont dépendent tous les autres vocalismes et dont il va raconter les avatars” [Kuryłowicz 1978: 8].

it was largely ignored in the Neogrammarian milieu. Brugmann and Osthoff in particular are reported to have shown very hostile attitude both to the monograph and to its author: “Osthoff went as far as casting doubt on author’s integrity, hinting that he may have used knowledge acquired in the courses he had taken with Brugmann and himself” [Bouissac 2010: 46].¹² Jakobson [1973: 289] similarly mentions violent attacks which Hermann Osthoff targeted against *Mémoire*.¹³

It is no wonder, though, that de Saussure’s Neogrammarian colleagues should have reacted so negatively both to the book and to its author: de Saussure, while giving always other scholars full credit and acknowledgement, does not hesitate to point out the shortcomings of his senior colleagues’ research on frequent occasions throughout the monograph, e.g. “M. Delbrück [...] dit bien que que *sran* dans *avasran* (R.V. IV2, 19) contient la voyelle thématique. Mais les preuves positives manquent et Grassman interprète cetter forme d’une manière toute différente” [Saussure 1879: 10].¹⁴ Ironically, it thus seems that de Saussure with his *Mémoire* became a controversial rebel amongst controversial rebels of the time, challenging his tutors who had just challenged theirs (Brugmann contra Curtius).

2.2. *Mémoire*: a natural hermeneutics

Pociechina, recalling the impact of *Mémoire* on the development of morphology, remarks that

уже в самом начале своего труда Соссюр отмечает системный характер своего исследования и предопределяет связь двух уровней языковой системы: фонетики и морфологии. «Мемуар», вознесенный до небес потомками и отвергнутый современниками Соссюра, оказавшись книгой несвоевременной, преждевременной, изучаемый в связи с ларингальной теорией, провозглашенный символом научного предвидения в лингвистике, остается по-прежнему недооцененным. [Pociechina 2009: 24f].

Между тем, «Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» можно считать первой работой по морфонологии в современном языкознании. Во-первых, речь в нем идет о чередовании гласных, во-вторых, автор рассмат-

¹² Yet, he also narrates an anecdote that, “shortly after, as he [de Saussure] introduced himself to a German professor with who he intended to study, the professor asked him if, by any change, he was a relative of the famous Swiss linguist who was the author of the *Mémoire*” [Bouissac 2010: 47].

¹³ *Nota bene*, de Saussure’s weighty repique to these attacks, never published of course, in the form of large sketches of a phonetic treatise occupies the most important place among the manuscripts of the Harvard Collection [Jakobson 1973: 289].

¹⁴ See also this sample of de Saussure’s subtle and elegant critique: “Seconde question. Sans vouloir se prononcer sur la priorité de l’un ou de l’autre phonème, M. Brugmann tient que a_2 , par rapport à a_1 , est un renforcement; que a_1 par rapport à a_2 , est un affaiblissement (Stud. 371, 384). [...] Ces désignations prennent un corps si on admet que l’échange de a_1 et a_2 est en rapport avec les déplacements du ton. C’est là la opinion de M. Brugmann. Si on pense, et c’est le notre cas, que l’échange de deux phonèmes est indépendant de l’accent, il vaut mieux s’asbentir d’attribuer à l’un d’eux une supériorité qui ne se justifie guère” [Saussure 1879: 134].

ривает грамматическую роль различных видов фонемы <a> как в словоизменении (именном и глагольном), так и в словообразовании [Pocieczina 2009: 24f].

There are crucially three themes that merit to be mentioned with regard to this opus and all of which are a proof of immense analytical insight of the young scholar. The first is, unquestionably, deducing the presence of an unknown factor – a laryngeal – that must have influenced the development of language. The part that seems most confusing, though, is the issue of PIE sonants, which de Saussure systematized and corroborated in this work and which is captured under the term *sonantic coefficient*.¹⁵

Generally it is assumed [e.g. Smoczyński 2006] that de Saussure's concept of "sonantic coefficient" (*schwa indogermanicum*) implies PIE laryngeals (current notations h_1 , h_2 , h_3) – as a reconstructed consonant which, while disappearing from the phoneme inventory, gave rise to certain changes.¹⁶ However, my understanding of the term here is much narrower, strictly Saussueran, and it follows directly from the text of the *Mémoire*, where de Saussure writes implicitly the following words: "L'*i* et l'*u* de ces racines [that is, containing *e*], ainsi que la liquid et la nasale des racines telles que *derk bendh*, peuvent prendre le nom de *coefficient sonantique*. Ils concurrent au vocalisme de la racine. Suivant que l'*e* persiste ou disparaît, leur fonction varie: *r, l, m, n* de consonnes deviennent sonantes, *i* et *u* passent de l'état *symphtongue* à l'état *autophthongue*" [Saussure 1879]. In this sense, *sonantic coefficient* is a term, of course currently widened to encompass the three lost obstruents, for the "hermaphrodite" sounds, which in some contexts behave like a vowel and in some, like a consonant – and not for the PIE laryngeals.

De Saussure proposes that PIE liquid sonants came into being by the weakening of the preceding *a* [Saussure 1879: 6, cf. footnote 28]. "Tout port à croire que que les liquids sonantes n'ont jamais pris naissance que par un affaiblissement, en raison duquel l'*a* qui précédait le liquide se trouvait expulsé; mais cela n'empêche, pas, comme nous le verrons, de les placer exactement sur le même rang que *i* et *u*". The method of his reasoning to prove that, is summarized by the scholar as follows:

¹⁵ Radwańska-Williams points out that the issue that Saussure solved in such a decisive manner had been troubling Mikołaj Kruszewski at about that time. In particular, "in his search for regularity in Sankrit vocalism, Kruszewski was frustrated by traditional assumptions of an original Indo-European **a* whenever Sankrit shows *a*, and of the *guna* rule of Indian grammarians. This rule maintained that in the case of roots which had both a weak form and a strong form with *a* the weak form was original and the *a* of the strong form was inserted. This was an apparent contradiction of the phonetically motivated change which Kruszewski observed, that in the weak form "the disappearance of *A* is accompanied by the vocalization of *r, v, y* into *r, u, i* which is observed only in pretonic syllables [Kruszewski 1879 as cited in Radwańska-Williams 1993: 44].

¹⁶ An indepth retrospective of the development of *PIE laryngeals as well as of the laryngeal theory is provided in [Smoczyński 2006]. The scholar for example points out that "Przez długie lata nauka o *schwa indogermanicum*, a potem o spółgłoskach laryngealnych, uchodziła za dziedzinę niepewnych hipotez [...]. Ten stan rzeczy zaczął się szybko i radykalnie zmieniać około 1912 r., kiedy to dzięki wysiłkom H. Möllera i A. Cuny'ego zrozumiano, że przedmiotem poszukiwań nie jest jedna zanikła głoska (*schwa*), lecz kilka głosek i że nie chodzi tu ani o samogłoski, ani o sonanty, lecz o spółgłoski, najprawdopodobniej o trzy zanikłe obstruenty" [Smoczyński 2006: 155].

En vue du but spécial que nous nous proposons dans cette chapitre, nous tirons des remarques qui précèdent l'avantage suivant: c'est que nous connaissons le point précis où il faut s'attendre à trouver les liquides sonantes et que nous assistons pour ainsi dire à leur formation; la comparaison seule d'un *r* indien avec un *án* grec, n'a, en effet, qu'une valeur précaire, si l'on ne voit pas comment cet *án* a pris naissance et si'il y a une probabilité que c'est un *ar* ordinaire. Partout où l'*e* tombe normalement, partout en particulier où apparaît l'*u* ou l'*i* autophthongue, les liquides sonantes doivent régulièrement exister ou avoir existé, si la position des consonnes les forçait à fonctionner comme voyelles" [Saussure 1879: 9].

Although, as mentioned above, de Saussure explicitly attributes the discovery of sonants to other scholars, both Jakobson [1973: Chapter 14] and Bouissac [2010: 41] observe that an essay (currently part of the Collection Harvard), written by de Saussure at the age of 15, and entitled *Essay pour réduire les mots du grec, du latin, de l'allemand à une petit nombre de racins*, contains vital observations on the *nasalis sonans*. The gist of the manuscript basically implies that de Saussure discovered the regularities behind the creation of a nasal sonant while a teenager.¹⁷ The reasons he never claimed this ingenuous finding as his own are obscure. As Bouissac further observes, "some three decades later, in spite of the lingering ambitious feelings, Brugmann remained for de Saussure the one who had frustrated him from the discovery of the famous *nasalis sonans*. This was all the more irritating as he could not blame anybody but himself for not having established the priority of the discovery he had made much earlier" [Bouissac 2010: 46].

Conclusions and summary

In the words of Jankowsky, "the most important objective of linguistics in the first half of the century had been to conduct a thorough search for all the searchable data, with the express purpose to avoid – as Schleicher put it – making the facts fit into a preconceived systematic arrangement, but instead to observe the secured data meticulously and draw up a system based upon the characteristics of its actual components" [Jankowsky 1972: 122]. Neogrammarians seem to have performed a Herculean task of preparing linguistic data through the incredible investment of work and scientific skill, the data used and interpreted by subsequent generations, not only without acknowledging the source, but charging the scholars

¹⁷ "Ces quarantaine et un pages d'une écriture enfantine appliqué étaient mentionnées dans les *Souvenirs* de Saussure (voir CFS XVII, p. 17) comme une 'enfantillage' composée en 1872 et le manuscrit ne donne aucun raison de douter du témoignage du auteur. Le garçon de quinze ans qu'il était, pose neuf raciness fondamentales de trois éléments bâties sur toutes les combinaisons possibles de *k*, *p*, et *t*, avec un *a* invercallé: *KAK*, *KAP* *KAT* etc. (p. 4) et assure que 'de ces neuf mots primitives in en va découler des milliers des nouveaux au moyen de diverses operations qui n'empêcheront pas de reconnaître la forme de chaque racine'" [Jakobson 1973: 288]. A detailed appraisal of the essay can also be found in Davis [1978]. The essay was reprinted *in extenso* in: *Cahiers Ferdinand de Saussure* 1978, Vol. 32, p. 73–101.

who prepared the data for not developing phonological models that would accommodate it.

In this sense, de Saussure stands out as the epitome Neogrammarian scholar. As evident from the discussion above, the academic scene of the second half of the nineteenth century was by no means homogenous, with several competing undercurrents, and young linguistic rebels fighting for their vision of language. Among them, a modest Swiss teenager who came unprepared to the Leipzig center of linguistics, within three years' time not only caught up with the knowledge of his older colleagues but also managed to offer a different vision of the topics researched at the time, involving the extension of linguistic theory with laryngeals, sonantic coefficient, and proposed to apply a concept of the phoneme to his analysis.¹⁸

The aim of this article was to evaluate some epistemological aspects of *Mémoire* against the *Dasein* of de Saussure's times. I hope to have invited a revision of the Neogrammarian achievements and make them more accessible to a global audience, pointing out that both de Saussure and his Neogrammarian colleagues have still a lot of offer to contemporary phonological scholarship.

Bibliography

- Bouissac, P. (2010). *De Saussure: A Guide for the Perplexed*. London: Continuum Int. Publishing Group.
- Bouquet, S., Engler, R., Weil, S. (eds.) (2002). *Ferdinand de Saussure: Writings in General Linguistics* [Écrits de linguistique générale]. Oxford: Oxford University Press.
- Culler, J. (1986). *Ferdinand de Saussure*. Revised ed. New York: Cornell University Press.
- Davis, B. (1978). *Introduction to 'Essay pour réduire les mots du grec, du latin, de l'allemand à un petit nombre de racines'*. Cahiers Ferdinand de Saussure. Vol. 32, 73–76.
- Haładewicz-Grzelak, M. (2013). *Natural Neogrammarians and poussière linguistique*. *Beyond Philology* 10, 9–37.
- Haładewicz-Grzelak, M. (forth.). *Sustainable Neogrammarians and the Rheology of Language*. In: *Perspectives on Contemporary Language Studies*. Bydgoszcz Series in Linguistics, Mind and Translation.
- Jankowsky, K. (1972). *The Neogrammarians. A Re-evaluation of Their Place in the Development of Linguistic Science*. The Hague: Mouton.
- Jakobson, R. (1973). *Essais de linguistique générale*. Paris: Les Éditions de Minuit.
- Kemmer, S. (2009). *Biographical Sketch of Karl Brugmann*. Available on-line <<http://www.ruf.rice.edu/~kemmer/Found/brugmannbio.html>>. Date of access: July 2014.
- Kiklewicz, A. (2007). *Zrozumieć język: Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej*. Łask: Oficyna Wydawnicza "Leksem".
- Kiklewicz, A. (2014). *Socjologia językoznawstwa: społeczna i instytucjonalna struktura współczesnej wiedzy lingwistycznej w świetle socjologii nauki i teorii paradygmatów filozoficzno-lingwistycznych*. [Referat wygłoszony na LXXII Zjeździe PTJ, Kraków 22–23.09.2014].

¹⁸ Cf. Haładewicz-Grzelak (forth.) on the rheological aspect of the concept itself.

- Koerner, E.F.K. (1973). *Ferdinand de Saussure: Origin and Development of His Linguistic Thought in Western Studies of Language*. Braunschweig: Vieweg & Sohn.
- Kurylowicz, J. (1978). *Lecture du "Mémoire" en 1978: un commentaire*. Cahiers Ferdinand de Saussure. Vol. 32.
- Matthews, W.K. (1960). *Russian Historical Grammar*. London: Oxford University Press.
- Lehmann, W. (1967). *A Reader in Nineteenth Century Historical Indo-European Linguistics*. Bloomington: Indiana University Press.
- Lotman, M. (2002). *Семиотика культуры в тартуско-московской семиотической школе*. In: Ю. Лотман. *История и типология русской культуры*. Санкт-Петербург: Искусство, 5–20.
- Osthoff, H., Brugmann, C. (1878). *Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen sprache*. Vol. 1. Leipzig [excerpt translated into English in: W. Lehmann (1967). *A Reader in Nineteenth Century Historical Indo-European Linguistics*. Bloomington: Indiana University Press, 197–209].
- Paul, H. (1970 [1920]). *Priznapien der Spachgeschichte*. Tübingen: Newmeyer.
- Percival, K. (1981). *The Saussurean Paradigm: Fact or Fantasy?* Semiotica 36, 1–2, 33–49.
- Percival, K. (2011). *Roman Jakobson and the Birth of Linguistic Structuralism*. Sign System Studies 39(1), 236–262.
- Pochiechina, H. (2009). *Грамматическая вариантивность в славянских языках: Морфонологический аспект*. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
- Radwańska-Williams, J. (1993). *A Paradigm Lost: The Linguistic Theory of Mikołaj Kruszewski*. Amsterdam: John Benjamin's Publishing Company.
- Ricoeur, P. (1989). *Język, tekst, interpretacja. Wybór pism*. Transl. by P. Graff and K. Rosner. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- Rosner, K. (1989). *Paul Ricoeur: filozoficzne źródła jego hermeneutyki*. In: P. Ricoeur. *Język, tekst, interpretacja. Wybór pism*. Transl. by P. Graff and K. Rosner. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 5–59.
- Sanders, C. (2002). *Preface*. In: S. Bouquet, R. Engler, S. Weil. (eds.). *Ferdinand de Saussure: Writings in General Lingisitics [Écrits de linguistique générale]*. Oxford: Oxford University Press, xviii–xxx.
- Saussure, F. de (1879). *Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes*. Leipzig: Teubner.
- Smoczyński, W. (2006). *Rzut oka na teorię laryngalnych*. In: A. Krasnowolska, K. Maciuszak, B. Mękarska (eds.). *In the Orient where the Gracious Light... Satura orientalis honorem Andrzej Pisowicz*. Kraków: Księgarnia Akademicka, 119–166.
- Stankiewicz, E. (1983). *Roman Jakobson: A Commemorative Essay*. Semiotica. Vol. 44, 1–2, 1–20.

Summary

Neogrammarian Ferdinand: A Natural Hermeneutics of *Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes*

While “de Saussure” is in fact THE name that has always been automatically brought up at any mention of “linguistics” and “semiotics”, that scholar might be nevertheless the most enigmatic and tantalizing persona in the history of linguistics. In retrospective, whenever there was a question of criticizing de Saussure, he was referred to as a Neogrammarian, and whenever the aim was to praise him – as a structuralist [Jankowsky 1972: 185]. Following e.g. Percival [1981], Jakobson [1973] or Koerner [e.g. 1989], this paper challenges the usually

taken for granted view that it was de Saussure who founded modern linguistics and takes an alternative look on de Saussure's oeuvre from the point of view of the Neogrammarian school. Through a personal hermeneutic reading of the only book that de Saussure published and approved for publication (*Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes*, 1879), I will argue that de Saussure's monograph, within the ambit of epistemological premises, is a mutiny on many levels against the phonological world of his times. In this way, the discussion contributes to a larger project pointing to misapprehensions in Neogrammarian achievements, which are assumed to ensue from the contemporary emphasis on the revolutionary aspects of linguistic paradigms over their evolutionary development [cf. also Pociechina 2009; Kiklewicz 2007, 2014].

Małgorzata Izert

Instytut Romanistyki

Uniwersytet Warszawski

MEGA-WRAŻENIE, GIGA-PROMOCJE
CZY MEGA-KIEPSKI FILM,
CZYLI O JEDNYM ZE WSPÓŁCZESNYCH,
NIEKONIECZNIE MŁODZIEŻOWYCH,
SPOSOBÓW INTENSIFYKACJI CECHY

Key words: prefixal construction, intensifying prefixe, intensity, semantic value

Wstęp

Przedrostki takie, jak: *super-*, *ekstra-* i *hiper-* (*supergwiazda*, *ekstrazespół*, *hiper-dźwiękowy*) jako zwykłe intensyfikatory cechy funkcjonują we współczesnym języku polskim, nie tylko potocznym, już od połowy XX wieku. W latach dziewięćdziesiątych, wraz z intensywną komputeryzacją społeczeństwa, dołączyły do nich dwa nowe przedrostki – *mega-* i *giga-* (*megabajt*, *gigabajt*), których użycie przeszło do języka potocznego. Obecnie są one bardzo często używane przez młodych Polaków, zarówno w języku mówionym, jak i pisany – na blogach, w mailach i SMS-ach. Pojawiają się też coraz częściej w języku reklamy, prasy i ogłoszeniach¹. Pisząc:

- (1) *Sam stadion robi mega-wrażenie,*
- (2) *Giga panorama Warszawy trafiła do Internetu!*,
- (3) *Mega koncert! Polecam.*

za pomocą przedrostka o wartości intensyfikującej nadawca skrótowo, ale czytelnie wyraża swoją opinię, podkreśla to, co jest dla niego najistotniejsze do przekazania.

Przekazywanie wiadomości w możliwie jak najkrótszej formie stało się wymogiem czasów. Ogłoszenia, reklamy i tytuły prasowe są więc tak pomyślane, aby były jak najkrótsze, ale przy tym treściwe i jednocześnie przyciągały uwagę odbiorcy. Konstrukcje

¹ W przykładach zaczerpniętych z blogów, reklam i ogłoszeń zachowano pisownię oryginalną.

typu: przedrostek intensyfikujący + rzeczownik lub przymiotnik bardzo dobrze odpowiadają tym wymogom. Zamiast banalnego i nieco długiego tytułu, przykładowo *Bardzo wielki kontrakt na...* lub *Wyjątkowo duży kontrakt na...* pojawia się *Mega-kontrakt na...* Jak przypomina Anna Obrębska, „w wyniku derywacji [dochodzi] do skompresowania znaczenia [...], co jest zgodne z istniejącą (także w języku) zasadą dążenia do ekonomiczności. Kompresja znaczenia [pozwala] trzy formalne jednostki językowe zastąpić jedną” [Obrębska 2010: 82].

1. Pochodzenie przedrostków *mega-* i *giga-*

W większości współczesnych słowników języka polskiego pod hasłem *mega-* znajduje się podobna krótka informacja: element pochodzący z języka greckiego: *meas* – ‘wielki’, pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczający: duży, wielki. Jego użycie jest szczególnie powszechne w fizyce czy informatyce, gdzie oznacza mnożnik razy milion w odniesieniu do jednostki, którą poprzedza, np. *megadyna*, *megaherc*, *megawat*, *megadżul*, *megaom*, *megabajt* itd. Żaden słownik nie wspomina nawet o potocznym użyciu tego przedrostka. Jedynie w *Uniwersalnym słowniku języka polskiego* [2003] i *Wielkim słowniku języka polskiego* [Dubisz 2006] pojawia się wyraz *measam* sparafrazowany – ‘wielki sklep samoobsługowy’.

Giga- pochodzi również z języka greckiego: *gigas* – ‘olbrzymi’ i podobnie jak *mega-* używany jest w naukach ścisłych. Oznacza mnożnik razy miliard, np. *gigakaloria*, *gigaherc*, *gigametr*, *gigawat*, *gigabajt*. Żaden słownik języka polskiego, nawet żargonów młodzieżowych, nie wspomina o jego potocznym użyciu.

2. Źródło zebranego korpusu

Przedmiotem niniejszej analizy są wyrazy z przedrostkami *mega-* i *giga-* we współczesnym codziennym języku pisanym. Założono, że najlepszym źródłem tego języka są teksty umieszczane w sieci Internet, z kilku powodów, z których najważniejsze to: bezpłatny i nieograniczony dostęp do różnorodnego typu tekstów, szerokie grono użytkowników języka – autorów tekstów oraz łatwość i szybkość przeszukiwania.

Teksty zawierające wyrazy z przedrostkami *mega-* i *giga-* zostały wyszukane z sieci Internet za pomocą wyszukiwarki Google.pl. Przeszukiwane były różne strony, w tym blogi, jak również strony gazeta.pl, wyborcza.pl i fakty.interia.pl.

3. Pisownia *mega-* i *giga-* z wyrazami, które są przez nie intensyfikowane

W związku z tym, że potoczne użycie tych przedrostków nie jest nawet zasygnalizowane we współczesnych słownikach języka polskiego, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak powinno się pisać *mega-* i *giga-*, oddzielnie czy razem z częściami mowy, z którymi się łączą. *Mega-* i *giga-* poprzedzające jednostki miary pisane są łącznie, np. *megatona*, *megabajt*, *gigakaloria*, *gigabajt*.

Pisownia tych przedrostków w zebranych materiale w języku potocznym jest różna. Najczęściej są one pisane oddzielnie, np.:

- (4) *termin mega walki*,
- (5) *mega gwiazdy sportu*,
- (6) *Dzień giga wyprzedaży*,
- (7) *Giga awaria na [...]*,

ale pojawia się też pisownia z myślnikiem:

- (8) *szansa na MEGA-zysk*,
- (9) *mają politycy mega-biznes*,
- (10) *na podstawie giga-wycieku z [...]*,
- (11) *Musiałam się dostać do giga-wieżowca*

lub występują dwie pisownie: razem lub z myślnikiem, oddzielnie lub z myślnikiem, np.:

- (12) *Gieldowa spółka [...] zawarła megakontrakt*,
- (13) *Mega kontrakt na budowę*,
- (14) *Mega okazja! System hydromasażu*,
- (15) *Megaokazja cenowa!*,
- (16) *Szykuje się GIGA impreza!*,
- (17) *Taki show to bzdurna giga-impreza*.

Nazwy własne produktów są zazwyczaj pisane razem, np.:

- (18) *Megasłownik – to super przydatne aplikacje*,
- (19) *Usługa MegaMuza*.

Niezdecydowanie użytkowników języka polskiego co do pisowni tych przedrostków z wyrazami, z którymi się łączą, odzwierciedla tylko ogólny brak zasad pisania nowych dla języka tworów. W prezentowanej analizie zapisujemy konstrukcje *mega-* i *giga-* z myślnikiem. Użycie myślnika sugeruje, po pierwsze, że konstrukcja powstała stosunkowo niedawno i że nie jest jeszcze na tyle zlektykalizowana, aby obie części były pisane łącznie, po drugie, że *mega-* i *giga-* są morfemami związanymi, a nie samodzielnymi wyrazami, które funkcjonują w języku oddzielnie. „Można przypuszczać, że z czasem utrwali się ich łączna pisownia, taka jak z częstkami *super-* lub *hiper-*, por. *superszybki*, *hiperkrytyczny* (przykłady ze słownika PWN)” [Bańko: 2009 poradnia.pwn.pl]. Należy zaznaczyć, że Mirosław Bańko opowiada się za łączną pisownią *mega-* z podstawą słowotwórczą.

4. Właściwości analizowanych konstrukcji

4.1. Właściwości morfologiczne

Z morfologicznego punktu widzenia, *mega-* i *giga-* są morfemami zależnymi poprzedzającymi wyrazy samodzielne będące rzeczownikami, przymiotnikami lub przysłówkami. Łączą się więc z wyrazami różnych kategorii gramatycznych, w żaden sposób nie selekcionując typu kategorii, przed którą występują, jak na przykład przedrostek *wy-*, który łączy się tylko z czasownikami, lub przedrostek *naj-*, łączący się tylko z przymiotnikami i przysłówkami.

4.2. Właściwości syntaktyczne

Postawienie tych przedrostków przed rzeczownikiem, przymiotnikiem czy przysłówkiem nie powoduje zmiany składni syntagmy lub zdania, układ predykatowo-argumentowy pozostaje ten sam, np.:

- *promocja na ... – giga-promocja na ...*,
- *zadowolony z ... – mega-zadowolony z ...*,
- *podpisać kontrakt na/z ... – podpisać mega-kontrakt na/z ...*,
- *wrócić późno do... – wrócić mega-późno do...* .

4.3. Właściwości semantyczne

W analizowanych konstrukcjach *mega-* i *giga-* funkcjonują jako intensyfikatory natężenia cechy, pełnią więc funkcję czysto semantyczną – modyfikują znaczenie wyrazu, który poprzedzają, ale nie zmieniają go całkowicie. Znaczenie powstałej konstrukcji daje się wyprowadzić z jej części składowych:

- *mega-wyprzedaż* = Intens (wyprzedaż),
- *giga-oszustwo* = Intens (oszustwo),
- *mega-ciekawy* = Intens (ciekawý), gdzie Intens jest operatorem intensyfikacji.

Proces intensyfikacji za pomocą przedrostków *mega-* i *giga-* można zapisać w następujący sposób:

$$\text{INTENS (X)} = [\text{Prefiks}_{\text{intens}}[\text{X}]] = \text{X}_{\text{intens}},$$

gdzie X stanowi podstawę słowotwórczą, której cecha lub cechy zostaną zintensyfikowane.

1. Dla rzeczowników:

$$\text{INTENS (N)} = [\text{Prefiks}_{\text{intens}} [\text{X}]_{\text{N}}] = \text{N}_{\text{intens}},$$

np. INTENS (kontrakt) = [Mega[kontrakt]] lub [Giga[kontrakt]] = *mega-kontrakt*, *giga-kontrakt*.

2. Dla przymiotników:

$$\text{INTENS (Adj)} = [\text{Prefiks}_{\text{intens}} [\text{X}]_{\text{ADJ}}] = \text{Adj}_{\text{intens}},$$

np. INTENS (dobry) = [Mega[dobry]] = *mega-dobry*.

3. Dla przysłówków:

$$\text{INTENS (Adv)} = [\text{Prefiks}_{\text{intens}} [\text{X}]_{\text{ADV}}] = \text{Adv}_{\text{intens}},$$

np. INTENS (wczśnie) = [Mega[wczśnie]] = *mega-wczśnie*.

4.3.1. Wartość semantyczna *mega-* i *giga-*

Mega- i *giga-* postrzegane są jako silniejsze intensyfikatory niż zwykły przysówek *bardzo* lub przymiotnik *wielki*, *duży*. Użycie *nawet* lub innych jego odpowiedników między syntagmą z przymiotnikiem *wielki* lub przysówkiem *bardzo* i syntagmą z *mega* + rzeczownik/przymiotnik pozwala to zaobserwować:

(20) *W sklepach są teraz duże wyprzedaże* [Intens], *powiedziałabym nawet mega-wyprzedaże* [Intens[Intens]].

(21) *To mało powiedziane, wielki balagan* [Intens], *to giga-balagan* [Intens[Intens]].

(22) *Ten film jest bardzo ciekawy* [Intens], *powiedziałabym nawet mega-ciekawym* [Intens[Intens]].

Kiedy *mega-* i *giga-* łączą się z rzeczownikami, mają znaczenie ‘bardziej niż wielki, duży’. W połączeniu z przymiotnikami lub przysówkami – ‘bardziej niż bardzo’. Można by sparafrazować konstrukcję *mega-/giga-* + rzeczownik przez ‘bardzo, bardzo wielki/duży + rzeczownik’, np.: *giga-kontrakt* = ‘bardzo, bardzo wielki kontrakt’, a konstrukcję *mega-/giga-* + przymiotnik lub przysówek przez ‘bardzo, bardzo + przymiotnik lub przysówek’, np. *mega-kiepski* = ‘bardzo, bardzo kiepski’, *mega-późno* = ‘bardzo, bardzo późno’. Przyłączony do podstawy słowotwórczej prefiks staje się funkcjonalnym ekwiwalentem, w zależności od podstawy słowotwórczej, przymiotnika zintensyfikowanego przez użyty podwójnie przysówek *bardzo* lub ekwiwalentem dwa razy użytego przysówka *bardzo*.

W sytuacji, w której kilka przedrostków o wartości intensyfikującej współlistnieje w języku, nasuwa się pytanie, czy intensyfikują one w tym samym stopniu – czy intensywność natężenia cechy w wyrazie poprzedzonym różnymi przedrostkami jest identyczna, czy różna.

Można by postawić hipotezę, że przedrostek *super-* jest słabszym intensyfikatorem niż *hiper-*, a *hiper-* niż *mega-*, który z kolei jest słabszym intensyfikatorem niż *giga-*. O ile ta hipoteza sprawdza się przykładowo w zleksykalizowanej konstrukcji z wyrazem *market* (mamy przecież *supermarkety* i większe od nich *hipermarkety*, a od nich jeszcze większe *megamarkety*, a nawet *gigamarket Leroy Merlin*), o tyle w połączeniach, które nie są zleksykalizowane, trudniej jest dowieść, że ktoś, kto jest *hiper-zadowolony*, jest mniej zadowolony niż ktoś, kto jest *mega-zadowolony*, albo że *giga-impieza* jest większą i lepszą imprezą od *mega-impiezy*.

Zdarza się też, że nadawca przekazu używa na raz kilku przedrostków intensyfikujących. Jeśli rzeczywiście miałyby one różną siłę intensyfikacji, byłyby najprawdopodobniej szeregowane od najsłabszego do najsilniejszego. Tak jednak nie jest. Obok ciągu *super hiper mega* występują też ciągi, w których te same przedrostki są w zupełnie innej kolejności, np.:

(23) *Co to za piosenka? Super hiper mega ważne!*,

(24) *super mega hiper ważne pytanie,*

(25) *Uwaga! mega super hiper ważne!*

Wydaje się, że wartość intensyfikująca wszystkich wyżej wymienionych przedrostków jest identyczna w tym sensie, że cecha wyrażona przez przymiotnik lub rzeczownik poprzedzony przedrostkiem *super-*, *hiper-*, *mega-*, *giga-* osiągnęła silne natężenie, ale to natężenie jest nieokreślone, nie da się wyznaczyć dokładnego punktu na skali czy gradiencie, w którym znajduje się cecha zintensyfikowana przez każdy z tych przedrostków.

Pojawianie się nowych intensyfikatorów, nie tylko przedrostków, wiąże się z ogólną (związaną z afektywnym zachowaniem człowieka) istniejącą w języku tendencją do nieustannego wprowadzania nowych form, które byłyby bardziej ekspresywne niż już istniejące, które w pełniejszy sposób odzwierciedliłyby uczucia, opinie, wrażenia. Nowe przedrostki, jak *mega-* i *giga-*, są bez wątpienia bardziej ekspresywne niż przedrostki już od dawna funkcjonujące w języku. Tym samym wydają się intensyfikować skuteczniej niż *super-* czy *hiper-*. Na pewno nie są to ostatnie przedrostki o wartości intensyfikującej, jakie pojawiły się w języku polskim, i nie tylko polskim (też angielskim i francuskim). Dowodem na to niech będzie tekst jednego z internautów, w którym autor wprowadza nowy prefiks do języka potocznego, wywodzący się, podobnie jak *mega-* i *giga-*, z dziedziny informatyki – *tera-*:

(26) *W Media Markt będzie teraz tylko megapromocja, poczekam na gigapromocję, bo na terapromocję nie ma co liczyć.*

Być może za kilka lat *tera-promocja* będzie równie powszechna jak dziś *mega-promocja* czy *giga-promocja*, a leksykalizacja tych trzech konstrukcji będzie podobna do leksykalizacji konstrukcji z wyrazem *market*, to znaczy *tera-* będzie miał większą moc intensyfikacji niż *giga-*, a ten drugi większą moc niż *mega-*, podobnie jak w informatyce.

4.3.2. Łączliwość tych przedrostków z różnymi częściami mowy (tab. 1)

Zarówno *mega-*, jak i *giga-* łączą się przede wszystkim z rzeczownikami. Rzeczowniki te najczęściej posiadają następujące cechy dystynktywne:

1. N [+abstrakcyjny], np. *mega-wrażenie*, *mega-koncert*, *mega-niespodzianka*, *mega-ubaw*, *mega-problem*, *giga-zarobki*, *giga-impreza*, *giga-promocja*, *giga-depresja*,

2. N [-ożywiony] [+konkretny], np. *mega-ekran*, *giga-plakaty*, *mega-stadion*, *giga-katar*, *giga-estrada*, *giga-panorama*.

Oba omawiane przedrostki łączą się też z przymiotnikami:

- wartościująco-oceniającymi, np. *mega-komfortowy hotel*, *mega-interesujący film*, *mega-głupie pytanie*, *mega-dobry wybór*, *giga-kreatywna impreza*,
- oznaczającymi uczucia, np. *mega-nieszczęśliwa dziewczyna*, *mega-smutne zakończenie*, *mega-śmieszne dowcipy*, *mega-przygnębiony chłopak*,
- oznaczającymi wielkości względne, np. *giga-wielki słonecznik*, *mega-mocny filtr*, *mega-długi trening*, *mega-niskie ceny* itd.

Przedrostek *mega-* intensyfikuje też kilka przysłówków, zwłaszcza określników czasu i sposobu, np.: *sluchać mega-głośno*, *wstać mega-wczesnie*.

Tabela 1

Zestawienie najczęstszych łączliwości przedrostków *mega-* i *giga-*

	N [+abstrakcyjny]	N [-ożywiony] [+konkret]	N [+ludzki]	Adj.	Adv.
<i>Mega-</i>	<i>mega-nieszczęście</i> , <i>mega-wrażenie</i> , <i>mega-grzech</i> , <i>mega-oferty</i> , <i>mega-promocja</i> , <i>mega-zarobki</i> , <i>mega-przekręt</i> , <i>mega-impreza</i> , <i>mega-problem</i> , <i>mega-kapitał</i> , <i>mega-poniżenie</i>	<i>mega-plakat</i> , <i>mega-rysunek</i> , <i>mega-kolekcja</i> , <i>mega-pizza</i> , <i>mega-dynia</i> , <i>mega-zegar</i> , <i>mega-stadion</i> , <i>mega-parking</i> , <i>mega-budowla</i> , <i>mega-przyczepa</i>	<i>mega-gwiazda</i>	<i>mega-mocny</i> , <i>mega-wielki</i> , <i>mega-ciekawy</i> , <i>mega-kiepski</i> , <i>mega-szczęśliwy</i> , <i>mega-obskurny</i> , <i>mega-zadowolony</i> , <i>mega-szalony</i> , <i>mega-skoncentrowany</i> , <i>mega-śmieszny</i>	<i>mega-głośno</i> , <i>mega-wczesnie</i> , <i>mega-późno</i>
<i>Giga-</i>	<i>giga-wyprzedaż</i> , <i>giga-zyski</i> , <i>giga-straty</i> , <i>giga-promocja</i> , <i>giga-depresja</i> , <i>giga-oszustwo</i> , <i>giga-imprezka</i> , <i>giga-wyzwanie</i>	<i>giga-pierogi</i> , <i>giga-miska</i> , <i>giga-zdjęcie</i> , <i>giga-panorama</i> , <i>giga-katalog</i> , <i>giga-katar</i> , <i>giga-estrada</i> , <i>giga-plac zabaw</i> , <i>giga-wieżowiec</i>		<i>giga-kreatywny</i> , <i>giga-mocny</i> , <i>giga-wielki</i>	

Z zestawienia ujętego w formie tabeli 1 wynika, że łączliwość przedrostka *giga-* z przymiotnikami jest o wiele rzadsza niż przedrostka *mega-*. Nie używa się go też do intensyfikacji przysłówków. Nie oznacza to, że łączenie się prefiksu *giga-* z tymi częściami mowy jest ograniczone lub niemożliwe. Jest to na tyle nowy przedrostek, że jego użycie nie jest jeszcze tak powszechne jak użycie *mega-*. Pojawienie się konstrukcji takich, jak: *giga-późno*, *giga-ciekawy* czy *giga-zadowolony* jest potencjalnie możliwe, chociaż nie wystąpiły one w zebranych materiale.

4.3.3. Wartość aksjologiczna *mega-* i *giga-* i wyrazów z nimi utworzonych

Mega- i *giga-* są przedrostkami neutralnymi, to znaczy nie są nacechowane ani pozytywnie, ani negatywnie.

1. Łącząc się z rzeczownikami neutralnymi, funkcjonują jak zwykłe intensyfikatory, np.:

- *mega-kapitał* = [+ Intens] kapitał,
- *mega-pizza* = [+ Intens] pizza,
- *giga-kontrakt* = [+ Intens] kontrakt,
- *giga-estrada* = [+ Intens] estrada.

W określonym kontekście mogą nadać powstałej konstrukcji wartość pozytywną, np. *mega-pizza* może oznaczać ‘bardzo bardzo dobra pizza’:

(27) *Bardzo mi smakuje! Gdzie kupiłeś tę mega-pizzę?* [+ Intens] [+ Pozytywne].

2. Połączenia *mega-* i *giga-* z rzeczownikami lub przymiotnikami nacechowanymi dają konstrukcje o takim samym nacechowaniu co rzeczownik lub przymiotnik, np.:

- *promocja* [+ Pozytywne] – *mega-promocja* [+ Intens] [+ Pozytywne],
- *łapówka* [+ Negatywnie] – *mega-łapówka* [+ Intens] [+Negatywnie],
- *zadowolony* [+ Pozytywne] – *mega-zadowolony* [+ Intens] [+ Pozytywne],
- *kiepski* [+ Negatywnie] – *mega-kiepski* [+ Intens] [+Negatywnie],
- *okazja* [+ Pozytywne] – *giga-okazja* [+ Intens] [+ Pozytywne],
- *oszustwo* [+ Negatywnie] – *giga-oszustwo* [+ Intens] [+Negatywnie].

3. Nacechowanie konstrukcji typu *mega-* lub *giga-* + przymiotnik określający względną wielkość zależy od tego, czy dana cecha przypisywana przedmiotowi jest pożądana, czy nie, np.:

- *wielka kanapka* [+ Pozytywne] – *mega-wielka kanapka* [+ Intens] [+ Pozytywne],
- *wielki słonecznik* [+ Pozytywne] – *giga-wielki słonecznik* [+ Intens] [+ Pozytywne].

4. Podobnie jest z przysłówkami, np. *mega-wcześnie* może mieć, w zależności od kontekstu i innych okoliczności pozajęzykowych, konotację pozytywną lub negatywną:

- *wstać mega-wcześnie* [+ Pozytywne] lub [+ Negatywnie],
- *wrócić do domu z pracy lub ze szkoły mega-wcześnie* – najczęściej [+ Pozytywne],
- *wyjść z pracy mega-późno* – najczęściej [+ Negatywnie].

5. Użycie *mega-* i *giga-* w różnych dziedzinach

W ostatnich latach *mega-* i *giga-* są coraz częściej używane w najróżniejszych dziedzinach życia, i to nie tylko przez młodzież, ale też przez starszych internautów, dziennikarzy i reklamodawców.

1. W blogach – młodzieżowych i nie tylko:

- (28) **Mega spóźniony** temat ;-). Sorki, że teraz piszę o tym, ale [...];
- (29) Jakie macie sposoby na **mega przygnębienie?**;
- (30) Muzyka tego zespołu to **mega-muza!**;
- (31) **WOW!** rzeczywiście **mega przedsięwzięcie** [...] ale i jaki znaczący feedback.);
- (32) Jak słusznie zauważyła pierwsza osoba w komentarzu [...], największym **mega-plagiatem** był [...];
- (33) Mam **mega stres** na języku polskim;
- (34) Biała czekolada z ryżem preparowanym i rodzynekami – **mega przysmak!!!**;
- (35) **Mega kiepski** samochód a serwis jeszcze gorszy!!!;
- (36) muszę przyznać, że blog **mega ciekawy**;
- (37) Jaka muza taka do słuchania **mega głośno?**;
- (38) Złapałem **mega wcześniej** stopa i byłem [...];
- (39) ja mam zawsze problem jak kończę tak **mega późno** czy jeść coś białkowego;
- (40) Nie widać tej biedy, ludzie robią **giga zakupy**;
- (41) Cały serial to giga wpadka a wpadka we wpadce to rzecz naturalna;
- (42) **Giga zyski** będą!!!! Fundusze wkładają miliony!!! – Więc nie wychodźcie z tej spółki;
- (43) z efektem ubocznym w postaci **giga depresji**;
- (44) Początki, odstawienie leków i **giga katar**.

2. W prasie i na internetowych blogach gazet z różnych dziedzin (polityka, ekonomia, nauka, społeczeństwo itd.):

- (45) **Megainflacja!!!** Ceny poszły mocno w górę;
- (46) rozpoczął konferencję stwierdzeniem, że trzyma w ręku "**mega bombę polityczną**";
- (47) **Mega-kontrakt** na budowę bloków elektrowni;
- (48) Klub Barcelona ma nowe zegarki! **Mega wypas!**;
- (49) mają politycy, służby sekretne, **mega-biznes**;
- (50) przekręt-ze-stadionem-narodowym: **mega zarobki** Łaty;
- (51) To **mega przedsięwzięcie** odbędzie się w Krakowie (hotel Qubus) już 5 listopada 2011;
- (52) Usługa **MegaMuza** to wspólny projekt Ericsson i Polkomtel S.A.;
- (53) **Mega wielka informacja** – Ziobryści w sejmie!;
- (54) rozpoczął jakąś intensywną, **mega intensywną kampanię** wyborczą;
- (55) **GigaTV** od 2011 roku wprowadziła do swojej oferty nowy produkt **Giga Estrada**;
- (56) Genialny biznes czy **giga oszustwo?**;
- (57) **Giga panorama** Warszawy trafiła do Internetu!;
- (58) pokazała jeszcze większą „drogową atrakcję”, czyli **giga – korek**;
- (59) **Giga piersi** gimnastyczki! (fakt.pl, 23.11. 2011);
- (60) Gdyńska panorama w **giga rozmiarze**;
- (61) **Giga-bubel!** (babol.pl, 12.10.2012 – tytuł artykułu o Stadionie Narodowym);
- (62) święteczną akcję charytatywną **«Giga radość! Wyślij kartkę – podaruj komputer»**.

3. W reklamach i ogłoszeniach:

- (63) Fitmin for life puppy 15 kg + **mega pyszne** cukierki bonbons o smaku wątróbki 75 g gratis!!!;
- (64) Lincoln Mark VI **Mega okazja!!** Pełny wypas !!!;
- (65) **Megaokazja** cenowa! BEHRINGER HA 8000 w cenie od [...];
- (66) **Mega niskie** ceny!!!;

- (67) *Jak sama nazwa strony wskazuje – megawypas – to 3 w jednym: telewizja internetowa, TV, radio online;*
(68) *Już jutro bezpłatna mega impreza zimnego Lecha!;*
(69) *Mega promocja na: firany, firanki, tekstylia, ręczniki i pościel!;*
(70) *Mega błysk – czyszczenie dywanów i innych powierzchni!;*
(71) *Kosmetyka samochodowa : Tłusta szyba - czyli mega problem!;*
(72) *Promotor/ka i hostessy b. pilne – giga zarobki;*
(73) *Pomóż nam wyczyścić półki czyli 17 września – Dzień giga wyprzedaży w [...];*
(74) *giga plecak: Giga Office to prawdziwe biuro na plecach;*
(75) *Giga Pakiet Kursów video!;*
(76) *Giga kreatywna impreza charytatywna.*

Wydaje się, że konstrukcje z inicjalnym *mega-* czy *giga-* stały się modne dzięki ich stylistycznemu nacechowaniu – „kojarzą się z pewnym stylem życia, w którym wszystko jest *mega*, *hiper*, *super* i *full wypas*” [Bańko: 2009 poradnia.pwn.pl]. Jeśli osoba wypowiadająca się na blogu nie chce zostać w tyle za innymi, jeśli reklama, prasa, ogłoszeniodawcy chcą dotrzeć do odbiorcy, który uznaje taki styl życia, nie mogą w swoich przekazach pominąć *mega-* i *giga-*.

Podsumowanie

Chociaż współczesne słowniki języka polskiego nie wspominają nawet o użyciu przedrostków *mega-* i *giga-* w języku potocznym, niezaprzeczalnym pozostaje fakt, że są one powszechnie używane w codziennej komunikacji językowej, nie tylko w języku mówionym, ale też w języku pisanim. Świadczy o tym zebrany z różnych stron internetowych materiał językowy, którego jedynie próbkę przedstawiono w ostatniej części artykułu. Być może pewnego dnia pod hasłami „*mega*” i „*giga*” pojawi się informacja o ich użyciu nie tylko w konstrukcjach nazw jednostek miar, a niektóre połączenia, jak *mega-promocja*, *giga-promocja* czy *mega-impreza*, *giga-impreza* zostaną wprowadzone jako oddzielne hasła słownikowe.

Bibliografia

- Dubisz, S. (2006). *Uniwersalny słownik języka polskiego*. Warszawa: PWN.
Izert, M. (2012). *Un super-professeur! Un chef hyper-sympa! – analyse de deux préfixes à valeur intensive dans leur emploi familier et publicitaire*. W: A. Dutka-Mańkowska, A. Kieliszczuk, E. Pilecka (red.). *Grammaticis unitis. Mélange offert à Krzysztof Bogacki*. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 159–167.
Izert, M. (2012). *Méga et giga: les nouveaux intensificateurs dans leur emploi familier en français et polonais*. W: K. Bogacki, J. Cholewa, A. Rozumko (red.). *Formal and Semantic Aspects of Linguistic Research/Aspects sémantiques et formels dans les recherches linguistiques*. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 81–92.
Jadacka, H. (2001). *System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000)*. Warszawa: PWN.
Obrębska, A. (2010). *Algorytmy słowotwórczego parafrazowania*. Łódź: Primum Verbum.

Waszakowa, K. (1996). *Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi*. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Wielki słownik języka polskiego (2006). Warszawa: Świat Książki na licencji PWN.

Adresy/strony internetowe (dostęp: 05.05 – 10.05.2013)

babol.pl

gazeta.pl

google.pl

poradnia.pwn.pl

sjp.pwn.pl

wyborcza.pl/ (blogi dziennikarzy)

Summary

Mega-wrażenie, giga-promocje or mega-kiepski film –
About One of the Contemporary Methods of Intensifying, Used Not Only by Youth

The article presents an analysis of new intensifiers *mega-* and *giga-* and words prefixed by them in contemporary colloquial Polish. The author tried to describe the morphologic behaviour of these prefixes, their semantic value and syntax. Focus was put mainly on determining the semantic value of those new intensifiers and their current usage in Polish. It appears that although current dictionaries of Polish language do not even mention the colloquial usage of *mega-* and *giga-*, those prefixes are commonly used in spoken and written language, not only by teenagers, but also by adults, including journalists and advertising copywriters.

Ewa Kaptur

Instytut Filologii Polskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Andrzej Narloch

Instytut Filologii Rosyjskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ROSYJSKIE INTERNETOWE WPISY KONDOLENCYJNE (CZ. 1)

Słowa kluczowe: condolence entry, obituary, literary genre, value judgement in the language

Data 10 kwietnia 2010 roku zapisała się czarną kartą w historii narodu polskiego. Niemalże cały świat błyskawicznie obiegła wiadomość o tragedii, która rozegrała się pod Smoleńskiem w Rosji. Informacje o rozbiciu samolotu prezydenckiego przekazywały media we wszystkich krajach. Telewizja polska całkowicie zmieniła swoją ramówkę. Nie mniejszym echem wydarzenia kwietniowego poranka odbiły się w telewizji rosyjskiej. Również stacje radiowe szeroko relacjonowały ich przebieg, prezentowały biografie tragicznie zmarłych pasażerów, zwłaszcza prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z mediów płynęły słowa współczucia, kondolencji, ale także nadziei dla rodzin ofiar.

W owym czasie rosyjscy internauci zaczęli zamieszczać wpisy kondolencyjne w różnych mediach elektronicznych. Najlepszym przykładem mogą być wpisy na stronach gazety internetowej „Риа Новости”. Internauci, czując wewnętrzną potrzebę wyrażenia swoich emocji, gremialnie przysyłali na adres tego portalu słowa współczucia i wsparcia dla Polaków. W związku z tym redakcja rian.ru wydzieliła specjalną rubrykę, w której opublikowano wszystkie wpisy, przychodzące nie tylko z Rosji, ale z całego świata (przykładowo z USA, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Kanady, Niemiec, Hiszpanii i Tadżykistanu). Zdecydowana większość wpisów została napisana w języku rosyjskim, tym niemniej nie brakowało tekstów w innych językach (na przykład angielskim, niemieckim, ukraińskim czy bułgarskim). Znajomość języka rosyjskiego wśród Polaków jest coraz mniejsza, dlatego w gronie polskich tłumaczy powstała spontaniczna akcja nieodpłatnego tłumaczenia na język ojczysty treści wszystkich nadesłanych listów. Do redakcji rosyjskiego portalu zaczęły napływać także słowa podziękowania ze strony

Polaków, które również zostały tam umieszczone. Przetłumaczone wpisy zaprezentowano obok tekstów rosyjskich. W elektronicznej księdze kondolencyjnej łącznie ukazało się ponad 3100 wpisów.

W niniejszym artykule przedstawiono oryginalne rosyjskie wpisy internetowe zamieszczone na stronie gazety internetowej „Риа Новости” (www.ria.ru). W centrum uwagi autorów znalazł się internetowy wpis kondolencyjny jako gatunek literacki. Głównym celem artykułu jest określenie cech kompozycyjnych i gatunkowych omawianych wpisów oraz funkcji tego szczególnego typu wypowiedzi¹. Ze względu na bogactwo zebranego materiału całość podzielono na dwie części. Poniżej przybliżono definicję nekrologu, zaproponowaną zarówno przez polskich, jak i rosyjskich badaczy, i na jej tle scharakteryzowano rosyjskie kondolencje. Omówiono także strukturę elektronicznych wpisów, zaczynając od podania powodów, dla których składa się kondolencje, i zwracając uwagę na to, komu je się składa. W drugiej części szczegółowo przeanalizowano pozostałe obligatoryjne elementy internetowych wpisów kondolencyjnych. Tam też zamieszczono wykaz cytowanych i przywoływanych źródeł.

Wydaje się, że w rosyjskojęzycznej literaturze nekrolog jako przedmiot analiz nie cieszył się dotychczas zbyt dużym zainteresowaniem badaczy². W Polsce rzecz miała się zgoła inaczej³. Co ciekawe, pierwszymi badaczami zajmującymi się szeroko pojętą problematyką nekrologii byli rusycyści Wojciech Chlebda i Tadeusz Klimowicz [Chlebda 1993; Klimowicz 1996a; Klimowicz 1996b].

Poddane badaniom teksty niewątpliwie mieszczą się w konwencji gatunku kondolencyjnego. Cechuje go użycie szczególnych środków językowych, wrażliwość nadawcy wobec przekazywanych treści, co wynika bezpośrednio z pełnionych przez niego funkcji⁴. W internetowych nekrologach kondolencyjnych ich nadawcy przekazują wyrazy współczucia i wsparcia najbliższym żałobnikom zmarłego. Jednakże elektroniczna forma nekrologów, za którą stoi pewna anonimowość w globalnej sieci, niezależnie od zachowanej możliwości złożenia podpisu pod tekstem, często jest skierowana nie tylko do członków rodziny zmarłych. Ogrom tragedii smoleńskiej, jej niejako ogólnonarodowy charakter, uczynił odbiorcami przekazu kondolencyjnego całe polskie społeczeństwo. Spora liczba

¹ Na stronie internetowej z wpisami kondolencyjnymi po katastrofie smoleńskiej funkcjonują również takie formy, które nie powielają klasycznego kształtu kondolencji. W zebranych materiale można wyróżnić teksty nawiązujące do innych typów gatunków publicystycznych, najczęściej o charakterze retrospektywnym, na przykład wspomnień. W tej sytuacji tworzenie tego typu hybryd gatunkowych rodzi trudności z jednoznacznym zakwalifikowaniem owych tekstów do odpowiedniego gatunku. Nie stanowią one przedmiotu naszych badań.

² W językoznawstwie rosyjskim nekrologi i kondolencje jako gatunek literacki nie były zbyt często przedmiotem badań. Pojedyncze artykuły opublikowali E.A. Mitina, E.A. Unukowicz, W.I. Żelwis, A.A. Uliura, T.W. Tarasenko.

³ Po pierwszej monografii Jacka Kolbuszewskiego (*Z głębokim żalem... O współczesnej nekrologii* [Kolbuszewski 1997]) pojawiło się sporo opracowań, zarówno literacko-, jak i językoznawczych. Zob. np. monografię Ewy Kaptur (*Językowy kształt prasowych współczesnych nekrologów (na materiale poznawczych dzienników z roku 2001)* [Kaptur 2008]) oraz artykuły M. Borejszo, J. Dębickiej, R. Grzesiaka, M. Hodarskiej, E. Kaptur, J. Kściuczyk, S. Mikołajczaka, J. Sierociuka, H. Sojki-Masztalerz, K. Turek.

⁴ Jacek Kolbuszewski ten typ wypowiedzi zalicza do gatunku drobnych ogłoszeń prasowych i internetowych związanych z czyjąś śmiercią, czyli nekrologów [zob. Kolbuszewski 1997: 34].

wypowiedzi była zatem skierowana bezpośrednio do narodu polskiego, określanego w tym czasie jako „wspólnota cierpienia”. W ten sposób śmierć tragicznie zmarłych stała się stratą nie tylko dla najbliższej rodziny. Stanowi to poniekąd zapewnienie o istnieniu pewnego rodzaju wspólnoty żałoby [Kaptur 2008: 161].

Obligatoryjnym elementem każdego wpisu kondolencyjnego są kondolencje, czyli zwyczajowo przyjęte formuły, za pomocą których nadawcy składają wyrazy współczucia bliskim osoby zmarłej oraz solidaryzują się z ich cierpieniem. Skonwencjonalizowana forma kondolencji zakłada występowanie pewnych stałych elementów w strukturze nekrologu tego typu. Należy zaliczyć do nich identyfikację adresatów kondolencji, podanie powodów składania kondolencji, identyfikację osoby zmarłej, identyfikację autorów nekrologu. Wszystkie te elementy pojawiają się obligatoryjnie (rzadziej fakultatywnie) w polskich nekrologach prasowych [Kaptur 2008: 161–162]. W internetowych księgach kondolencyjnych dominują zaś teksty wielogatunkowe, wielowariantowe, które swoją budową przypominają nekrologi hybrydalne (drugi człon wpisu prawie zawsze nawiązuje do kondolencji) [Kaptur 2012: 65–66].

Już na podstawie pobieżnej analizy można stwierdzić, że rosyjskie internetowe wpisy kondolencyjne nawiązują do polskich nekrologów kondolencyjnych, zachowują elementy wspólne z klasycznymi nekrologami kondolencyjnymi. W zebranych materiale można wskazać pewne stałe kolokacje wykorzystywane we wpisach internetowych. Najbardziej właściwym odpowiednikiem polskiego terminu nekrolog kondolencyjny jest rosyjski termin *соболезнование* (por. pol. termin „kondolencje”). Jednak we współczesnej prasie rosyjskiej nie są one często umieszczane, stanowią raczej ustną formę wypowiedzi.

Porównując znaczenie i zakres użycia polskiego i rosyjskiego terminu (ros. *некролог*), należy wskazać występujące między nimi różnice semantyczne. Prasowy nekrolog rosyjski przybiera zgoła odmienną postać. Z reguły jest to napisany w formie artykułu podgatunek publicystyczny (dziennikarski), informujący o śmierci człowieka oraz prezentujący i oceniający najważniejsze dla społeczeństwa fakty jego biografii [Петров 1982: 332]. Autorzy rosyjskich nekrologów relacjonują życie i twórczość osoby zmarłej, między innymi prezentują osiągnięcia zmarłego, jego wkład w życie społeczne, przyznane nagrody i wyróżnienia, przytaczają również jego pozytywne cechy charakteru, afirmując postawę życiową. Podaje się w skrócie także przyczyny śmierci, uciekając się zazwyczaj do ogólnikowych stwierdzeń [zob. Kaptur 2008: 20–21]. Warto podkreślić, że w takim znaczeniu – pośmiertnego wspomnienia – funkcjonowały również pierwsze polskie nekrologi prasowe w XIX wieku i na początku XX. Z noty pośmiertnej wykształcił się typ nekrologu, który Jacek Kolbuszewski sklasyfikował jako nekrolog informacyjny [Kolbuszewski 1997: 47]. Nekrolog w takim ujęciu pełni przeważnie funkcje informacyjną i laudacyjną – biogramy osób zmarłych są zawsze pozytywnie wartościowane.

W rosyjskiej prasie można również spotkać nieco inną, krótszą formę nekrologu, jednak jest ona już mniej popularna w Rosji. To niewielka wzmianka na ostatnich stronach wydania gazety, zawierająca informacje o śmierci osoby oraz skierowane do rodziny zmarłego słowa współczucia. Taki nekrolog zbliżony jest w formie do polskiego prasowego nekrologu kondolencyjnego, zamieszczanego na łamach dzienników. Najczęś-

ciej autorami takich nekrologów są przyjaciele zmarłego bądź jego współpracownicy, wyrażający słowa współczucia w imieniu zakładu pracy.

Oprócz wcześniej wymienionych składowych, dotyczących życia i osiągnięć osoby zmarłej, struktura rosyjskiego nekrologu zakłada jeszcze współistnienie kilku elementów, na które składają się: identyfikacja osoby zmarłej, element chronologiczny (informacje o dacie urodzenia i śmierci⁵, miejscu pogrzebu), przyczyna zgonu. Pojawiają się również skonwencjonalizowane frazy wyrażające żal po utracie zmarłego i zachowanie go w pamięci⁶. Niekiedy w nekrologu wymienia się nazwiska osób szczególnie bliskich zmarłemu, i w zależności od autora nekrologu – nazwiska członków najbliższej rodziny, przyjaciół, współpracowników itd.

Jewgienij Zołotuchin w rozważaniach nad poprawnością pisania nekrologów wymienia ich niezbędne składowe, do których zalicza: 1) identyfikację osoby zmarłej; 2) podanie dokładnych dat urodzin i śmierci; 3) podanie miejsca urodzenia i miejsca pochowania; 4) występowanie formuł zapewniających o pamięci; 5) identyfikację osób najbliższych zmarłemu [Золотухин 2011: 7]. Oprócz wymienionych cech zaleca ostrożność i takt w dobieraniu słów, unikanie krytyki zmarłego. Taka zasada postępowania wpisuje się w system uniwersalnych wartości mówienia o zmarłym tylko dobrze – w myśl łacińskiej maksymy *de mortuis nihil nisi bene*.

Nieustanne procesy konwergencji i dywergencji gatunków literackich sprawiają, że w prasie rosyjskiej (zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej) można zauważyć współistnienie mieszanych form publicystycznych, w tym również różnego typu nekrologów⁷. Do takich należy zaliczyć wpisy kondolencyjne. Większość z nich przybiera formę nekrologów kondolencyjnych (ros. *соболезнование*). Nekrologi kondolencyjne, ze względu na dominujące w nich funkcje: ekspresywną, konsolacyjną i terapeutyczną, stanowią istotny środek językowego wyrażania myśli i emocji. Autor może składać kondolencje w formie ustnego przekazu, działając tym samym w odpowiedniej konsytuacji obligującej go do właściwego zachowania językowego. Przekaz ów może przybrać także formę wypowiedzi pisemnej, wyrażanej w tej samej intencji.

Specyfiką kondolencji przekazywanych w obu formach, ustnej i pisemnej, jest zastosowanie dość ograniczonego arsenału stereotypowych środków wyrażania. Nadawca wykorzystuje stałe i skonwencjonalizowane konstrukcje, świadczące o współcierpieniu z odbiorcą komunikatu i udzielanym mu wsparciu. Do takich wyrażań należy zaliczyć frazy typu:

⁵ Podanie dokładnej daty śmierci wiąże się z prawosławnym kręgiem kulturowym i obchodzeniem tak zwanych pominek (ros. *помянуть*), czyli wspominaniem zmarłego w określonych dniach od daty śmierci. Szczególnymi dniami wspominania zmarłych jest trzeci, dziewiąty i czterdziesty dzień po śmierci [zob. Markunas, Uczitiel 1999: 169]. Jest to związane z wierzeniami cerkiewnymi, że w okresie czterdziestu dni po śmierci dusza zmarłego jest przygotowywana do sądu Bożego.

⁶ Informacja zaczerpnięta na podstawie rosyjskich źródeł internetowych. Zob. [online] <<http://www.nekrolog.pro/pishem-nekrolog/570-sovety-kak-pravilno-napisat-nekrolog-ili-soboleznovaniya>>, dostęp: 19.11.2012.

⁷ E.A. Unukowicz, badając telegramy kondolencyjne, również odnotowuje ich szczególną formę międzygatunkową. Zdaniem tego autora, tworzą one specyficzny stylistyczny podsystem języka, charakteryzujący się swoimi własnymi cechami [zob. Унукович 2010: 102].

- *Скорбим вместе с Вами;*
- *Это наша общая боль;*
- *Примите самые искренние соболезнования;*
- *Разделяю с Вами страшную боль;*
- *Сочувствую Вам;*
- *Выражаю сочувствие по поводу трагедии;*
- *Переживаю вместе с Вами;*
- *Я глубоко потрясен случившейся трагедией;*
- *Сострадаю вместе с Вами.*

Wybór odpowiednich środków językowych zależy również od stopnia bliskości i jakości relacji z odbiorcą. W formułach kondolencyjnych najczęściej stosowane są zdania osobowe. Formy bezosobowe napotykaamy zdecydowanie rzadziej.

Jak już nadmieniono, w rosyjskiej przestrzeni językowej nekrolog (*некролог*) i kondolencje (*соболезнование*) rozpatrywane są jako osobne gatunki [Митина 2012: 56]⁸. Jak uważa E.A. Mitina, głównym celem kondolencji jest wyrażenie współczucia z powodu dużego smutku (funkcja konsolacyjna) [Митина 2012: 56]. Kondolencje można nazwać gatunkiem reakcyjnym z perfektywną perspektywą, ponieważ pojawiają się w języku jako reakcja na wcześniejsze wydarzenie (śmierć człowieka). Dodatkowo konwencja w tego typu etykietalnych formułach zakłada obligatoryjną odpowiedź zwrotną, czyli podziękowanie.

Jedną z cech omawianego gatunku jest jego realizacja w momencie mowy lub pisanja, dlatego najczęściej wykorzystywana jest forma czasu teraźniejszego czasowników, np. *переживаю, соболезную, сочувствую* itp. Również w internetowych wpisach kondolencyjnych spotyka się takie formy czasowników:

- (1) *Я и моя семья очень сочувствуем вам* [Аскалон, Якутск, крестьянин];
- (2) *Братья Поляки! Скорбим вместе с Вами* [Константин, Подмосковье, рабочий];
- (3) *Вы не одни в своей беде, мы скорбим вместе с Вами* [Александр, Финансы, Санкт-Петербург];
- (4) *Искренне разделяем боль утраты. Скорбим вместе с польским народом!* [Дмитрий Хайдоров, Образование, Москва];
- (5) *Сочувствую и плачу вместе с вами* [Ася, Москва]⁹.

Dla formuł mających bardziej oficjalny charakter właściwe są konstrukcje analityczne z rzeczownikami *соболезнование, сочувствие, скорбь, боль* itp. Najczęściej są to realizacje typu: *выражаем соболезнования, примите соболезнования, примите глубокую скорбь, передаю соболезнования, приносим соболезнования, выражаем сочувствие, пребываем в глубокой скорби, разделяем боль*.

⁸ W polskich opracowaniach przeważa pogląd, że kondolencje stanowią odmianę nekrologu. Nie wielu badaczy, w tym Jerzy Sierociuk, uznają kondolencje za odrębny gatunek tekstu [zob. Sierociuk 2002: 71–72].

⁹ We wszystkich przykładach zachowano oryginalną pisownię. W nawiasie kwadratowym podano nick autora oraz miejsce jego pochodzenia, zamieszkiwania lub przebywania, a czasem zawód bądź sferę aktywności zawodowej.

Podtypem konstrukcji analitycznych, stanowiących element strategii wypowiedzi, mogą być struktury z czasownikiem modalnym (z odcieniem życzącym), z użyciem czasownika modalnego *хотеть*, np.:

- (6) *Хочу выразить Вам соболезнование и пожелать крепости духа* [Тамара, Николаев, Украина; бухгалтер];
- (7) *Хочу еще раз принести свои соболезнования всей Польше, сказать слова любви и дружбы* [Нина Васильевна, Москва, предприниматель];
- (8) *Хочу выразить соболезнование польскому народу* [Вероника, Улан-Удэ, наука];
- (9) *Хочу разделить боль утраты с родственниками погибших* [Юля, Торговля, Киев];
- (10) *Хочу выразить искреннее соболезнование всему польскому народу* [Олег, Батайск];
- (11) *Глубочайшие соболезнования хочу передать родственникам и близким погибших* [Константин, Тюмень];
- (12) *Хочу выразить глубокие, искренние соболезнования польскому народу* [Максим, Москва, художник].

Można również zaobserwować dość częste użycie struktur nominatywnych z zastosowaniem dewerbatywów. Brak czasownika nie powoduje niezrozumienia wypowiedzi ze względu na konsytuację, w jakiej powstaje wypowiedź, np.:

- (13) *Мои соболезнования всему польскому народу* [Анна, Тюбинген, Германия; студентка];
- (14) *Мои соболезнования польскому народу в связи с авиакатастрофой...* [Фарит С., Магнитогорск];
- (15) *Мои соболезнования всему польскому народу, всем родным и близким погибшим* [Vladimir, Portland, USA];
- (16) *Искренне жаль. Мои соболезнования родственникам и всему польскому народу* [Денис, Санкт-Петербург, бизнесмен];
- (17) *Мои соболезнования... Пусть все плохое останется в прошлом, а впереди будут только близкие и теплые отношения* [Дмитрий, Москва, менеджер].

Wypowiedzi tego typu mają uproszczoną formę gramatyczną, jednakże w nie mniejszym stopniu wyrażają solidarność w cierpieniu z żałobnikami.

Zamierzając stworzyć obraz rosyjskich kondolencyjnych wpisów internetowych po katastrofie polskiego samolotu pod Smoleńskiem, należałoby zwrócić uwagę na następujące ich elementy: 1) formuły inicjalne zawierające przede wszystkim formuły kondolencyjne; 2) podanie powodów składania kondolencji; 3) dane identyfikacyjne adresatów; 4) dane identyfikacyjne i charakterystykę osób zmarłych; 5) dane identyfikacyjne autorów [Kaptur 2012: 66]. Rosyjskim wpisom internetowym nieobce są również inne elementy, nawiązujące do pamięci, modlitwy, opieki Bożej, solidarności w cierpieniu, sympatii do Polaków.

Formuły inicjalne wpisów internetowych nie mają jednorodnej struktury, jednak mieszczą się w nurcie tekstów kondolencyjnych. Rozmaitość spotykanych sposobów wyrażania formuł otwierających zależy przede wszystkim od indywidualnego odbioru tragedii przez autorów. Jak zauważa E.A. Unukowicz, zabieg, w którym narracja prowadzona

jest w imieniu 1. osoby, tworzy atmosferę intymności i prawdziwości w komunikacji i tym samym wpływa na świadomość i myśli adresata [Унукович 2010: 102].

Najczęściej kondolencje są wyrażane za pomocą fraz:

- *Выражаю соболезнование...*;
- *Приносим соболезнования...*;
- *Соболезную...*;
- *Сочувствую...*;
- *Скорбим...*

Ilustrują to następujące przykłady:

- (18) *Выражаю глубокое соболезнование от себя и членов моей семьи всему польскому народу* [Елена, Студентка, Воронеж];
- (19) *Приносим глубочайшие соболезнования. Крепись, Польша* [Наталя, Предприниматель, Чусовой];
- (20) *Примите самые искренние соболезнования. Россия с вами* [Юрий, Инженер, Санкт-Петербург];
- (21) *Соболезную и сочувствую вам, это трагедия* [Михаил, Москва, торговля];
- (22) *Скорбим вместе с Вами. Понимаем, как это тяжело* [Nine10807, Преподаватель, Волгодонск];
- (23) *Приносим искренние соболезнования родным и близким погибших под Смоленском* [Марина, Финансовый аналитик, Санкт-Петербург];
- (24) *Искренне сочувствую всем гражданам Польши, крепитесь, мы всегда будем с вами, россияне всегда были и есть ваши самые преданные друзья* [Стелла, Москва, руководитель];
- (25) *Скорбим вместе с народом Польши* [Владимир, Пенсионер, Силламяэ, Эстония].

Formuła inicjalna jest przedstawiana również w bardziej skrótowej formie za pomocą samego rzeczownika *соболезнование* (dość często spotykamy też formę liczby mnogiej – *соболезнования*). Wpisy tego rodzaju są przejawem procesu kompresji językowej. Takim dewerbatywowi towarzyszą przymiotniki intensyfikujące stan emocjonalny nadawcy typu: *глубокий, искренний*:

- (26) *Мои искренние соболезнования полякам и Польше в связи с ужасной катастрофой самолета польского Президента* [Леонид Мадалиев, Ростов-на-Дону];
- (27) *Искренние соболезнования всему польскому народу (я тоже по бабушке – полячка)* [Елена, Тбилиси];
- (28) *Искренние соболезнования полякам и Польше!!* [Александр, Москва, наука];
- (29) *Глубокие и искренние соболезнования польскому народу и родным-близким погибших!* [Любовь Очинова, Улан-Удэ, Бурятия; торговля].

Spora grupa wpisów nie powiela w części inicjalnej powszechnie występujących skonwencjonalizowanych połączeń bezpośrednio związanych z przekazem kondolencji. Nadawcy elektronicznych kondolencji umieszczają na początku informacje o swoim stanie emocjonalnym i osobistym stosunku do tragicznych wydarzeń. W tym przypadku najczęściej spotykamy leksemy kwalifikacji stanu psychicznego typu: *потрясен, шок, ужасно, трагедия, утрата*, np.:

- (30) *Глубоко потрясен гибелью президента Польши, его жены и других. Выражаю соболезнование родным и близким погибших и всему польскому народу* [Николай Беляев, Юрист, Пермь];
- (31) *Я потрясена случившимся под Смоленском* [Петрова Ирина, Студентка, Москва];
- (32) *Вся наша семья и близкие потрясены падением самолета с польской делегацией во главе с президентом* [Елена, Москва];
- (33) *Сообщение о трагедии было шоком!* [Зинаида, Чита, инженер-строитель];
- (34) *Это так ужасно! Это так тяжело! Скорбим вместе с вами дорогие наши братья и сестры!* [Valery, Baku];
- (35) *Был глубоко тронут трагедией Вашего народа...* [Александр, Логист, Москва];
- (36) *Ужасная трагедия унесла культурный цвет Польши* [Татьяна, г. Севастополь, Крым; бухгалтерия];
- (37) *Страшная трагедия! Утрата невосполнимая!!* [Татьяна, Санкт-Петербург, руководитель];
- (38) *Страшная, потрясая меня и, думаю, весь мир трагедия!* [Светлана, Сахалинская область, госслужащая].

Przekaz stanu emocjonalnego nadawcy w części inicjalnej niewątpliwie ma na celu uwypuklenie osobistego zaangażowania się w tragedię, współcierpienia, braku logicznego wytłumaczenia tego, co się wydarzyło. Co zrozumiałe, podobnie na śmierć pasażerów tupolewa reagowali polscy autorzy kondolencji [zob. Kaptur 2012: 68; Hordarska 2011: 28].

Oprócz wymienionych przykładów wysokim stopniem emocjonalności odznaczają się również wpisy kondolencyjne rozpoczynające się od apostrof, które jednocześnie służą jako nośnik **identyfikacji adresatów przekazu**. Zastosowanie w tym przypadku apostrof wykazuje znaczne odejście od typowych kondolencji. Być może obecność apostrofy uwarunkowana jest brakiem bezpośredniego kontaktu między nadawcą i odbiorcą komunikatu, zmniejszenia dystansu między nimi, chęcią zwrócenia uwagi odbiorcy. Podstawowa funkcja apostrofy polega na nazwaniu adresata, przyciągnięciu i utrzymaniu jego uwagi, co w danym przypadku ma zastosowanie. Wydaje się jednak, że za tego typu zwrotami kryją się jeszcze inne funkcje, związane z subiektywnym stosunkiem nadawcy do adresata. Jak zauważa N.D. Arutiunowa, apostrofa posiada dwoisty charakter, to znaczy z jednej strony pozwala na identyfikację adresata jako odbiorcy komunikatu, a z drugiej – wyraża stosunek emocjonalny mówiącego [Арутюнова 1976: 355].

W zaprezentowanym materiale, oprócz apostrof o typowej funkcji identyfikacyjnej (nominacyjnej), występują również apostrofy o charakterze wartościującym. Użycie w roli apostrof wyrazów z kręgów pojęciowych nawiązujących do relacji rodzinnych, etnicznych i narodowych podkreśla indywidualne postrzeganie i osobisty stosunek do odbiorców. Stanowi to również ocenę tych relacji na płaszczyźnie aksjologicznej [Narloch 2013: 181–191]. Zwraca uwagę wyłącznie pozytywny ładunek oceniający. Potwierdzeniem tego może być bardzo częste użycie przymiotników dodatnio wartościujących typu: *уважаемый, дорогой, милый, добрый*, co obrazują następujące wpisy:

- (39) *Уважаемые друзья, братья и сестры! Примите истинное соболезнование вашему народу и каждому поляку, переживающему эту страшную трагедию,*

- принесую столько несчастья семьям и близким!* [Черенков Сергей, Москва, общественная деятельность];
- (40) *Уважаемые поляки! Примите мои самые глубокие и искренние соболезнования! Мы скорбим вместе с Вами!* [Алексей, Прокопьевск];
- (41) *Дорогие польские братья, я спешу выразить свое соболезнование всем тем, кто потерял в этой катастрофе близких, родных* [Сергей, Смоленск, Технический специалист];
- (42) *Дорогие жители Польши, вы не одни в вашей горе. Мы скорбим и молимся с вами. Царствие Небесное всем погибшим!* [Лена, Москва];
- (43) *Поляки, милые наши соседи, в эту трагическую минуту русский народ скорбит вместе с вами* [Екатерина, Владивосток];
- (44) *Милые, добрые Люди Польши, мы скорбим и вместе с вами плачем все дни как погид ваш президент вместе с супругой* [Галина Волошкова, Пенснерка, Оренбург].

Na tle powyższych przykładów dość niezwykle wyglądają apostrofy kierowane bezpośrednio do odbiorcy zbiorowego, którym staje się Polska jako uosobienie całego społeczeństwa polskiego. W tym przypadku uogólnienie adresata przybiera skrajny charakter, co wzmacnia płaszczyznę stylistyczną kondolencji. Tego typu zwroty nadają wypowiedzi charakter podniosły i uroczysty [Нарлох 2013: 181–191]. Wybór takiej strategii nadawczej jest uwarunkowany zapewne niespotykanym rozmiarem tragedii, odczuwanej przez cały naród polski, który utracił część elity swojego kraju. W związku z tym nie dziwi przekonanie, że rozmach tragedii odczuł cały naród polski. Obrazują to następujące wpisy:

- (45) *Польша, мы скорбим вместе с тобой!* [Александра, Новосибирск];
- (46) *Польша, прими наши соболезнования* [Полина, Екатеринбург];
- (47) *Польша, мы скорбим и плачем вместе с Вами* [Дарья, Ярославль];
- (48) *Польша, прими мои искренние соболезнования!* [Дмитрий, Санкт-Петербург];
- (49) *Скорблю вместе с тобой, ПОЛЬША, по всем погибшим...* [Елена, Окуловка];
- (50) *Польша, русские люди всем сердцем с вами...* [Ирина, Белгород].

Bezpośredni zwrot do Polski jako odbiorcy komunikatu może również wskazywać na pewną patetyczność wypowiedzi. Tym niemniej, jak wykazują przykłady, patetyczność nie jest pozbawiona elementów emocjonalnych, a nawet potocznych, por.:

- (51) *Мы с вами, Польша!* [Женк, Москва];
- (52) *Польша! Нет слов ... Просто комок к горлу...* [Алексей, Красноярск];
- (53) *Прости нас, Польша!* [Сергей, Самара];
- (54) *Польша, держись!* [Светлана, Москва].

Z przywołanych wpisów wynika, że internetowe kondolencje cechuje dynamizm wypowiedzi – można w nich odnaleźć elementy quazi-dialogu wewnątrz tekstu. Zastosowanie dialogizacji, poprzez wprowadzenie apostrof, sprzyja niwelowaniu oficjalności komunikatu, dlatego tak często tego typu wypowiedzi przyjmują charakter intymny, nawiązujący wręcz do familiarnego typu kontaktów.

Można zauważyć, że niekiedy nadawca zdaje sobie sprawę z faktu, iż właściwym odbiorcą przekazu nie jest osoba, która czyta kondolencje. Zasadność tego twierdzenia

jest uwarunkowana miejscem publikacji wpisów. W celu złożenia kondolencji, wyrażenia swego współczucia, nadawcy wykorzystują anonimowego pośrednika:

- (55) *Крепитесь, дорогие, мы вместе с Вами. Особенно тяжело сейчас родным и близким. Передайте, что мы скорбим вместе с ними* [Olga, Moskwa, пензионерка];
- (56) *Пожалуйста, передайте и мои прочувствованные соболезнования семьям всех погибших – им труднее всех... Дочери, брату, маме Качинского, родственникам его супруги и членам их семей – мужества и сил жить дальше* [Асия, Петербург, экономист].

We wpisach kondolencyjnych unika się mówienia wprost o **powodach składania kondolencji**. Mamy tutaj do czynienia z brakiem bezpośredniego nawiązywania do śmierci. Tabuizacja śmierci mieści się w kanonie kulturowym społeczeństwa i stanowi „społecznie usankcjonowane unikanie pewnych słów” [Lachur 2004: 62]. Zakaz mówienia o śmierci wiąże się z poszanowaniem uczuć osób cierpiących z powodu utraty bliskich, którym tego rodzaju słowa sprawiają niewątpliwie ból. Najczęściej w wypowiedziach zamiast słowa *śmierć* (ros. *смерть*) występują leksemy *трагедия*, *беда*, *горе*:

- (57) *Друзья, искренне сочувствую вашему горю. Скорблю вместе с вами. Очень хочется надеяться, что эта трагедия не оттолкнет наши народы друг от друга. Иначе зачем тогда господь послал нам это испытание* [Сергей, Абакан, экономист];
- (58) *Эта страшная трагедия потрясла весь мир. Россия вместе с народом Польши скорбит* [Людмила, Москва];
- (59) *Какая страшная трагедия! Примите наши искренние соболезнования, мужайтесь, пусть земля погибшим будет пухом* [Ольга, Предприниматель, Зеленоград];
- (60) *Соболезнуем. Переживаем Вашу беду вместе с вами как свою. Крепитесь. Да поможет Вам Бог!* [Александр, Менеджер, Москва];
- (61) *Мне очень жаль, что у вас случилось такое горе...* [Маргарита, Служащая, Челябинск].

Niemówienie wprost o śmierci należy do kanonu gatunku kondolencji, dlatego też należałoby spodziewać się całkowitego braku leksemów nazywających to zjawisko. Na podstawie tylko pobieżnego przeglądu materiału można stwierdzić, że wspomnienie śmierci jest dość często odnotowywane, głównie za pomocą synonimów rzeczownika *смерть*. Obranie takiej strategii bynajmniej nie ma na celu sprawienia jakiegokolwiek bólu osobie cierpiącej, wynika to raczej z oficjalnego charakteru wypowiedzi. Uogólnienie i poniekąd abstrahowanie od konkretnego adresata wpisów sprzyja tworzeniu tabuistycznych formuł, które zwyczajowo należą do zakazanych środków językowych omawianego gatunku¹⁰. W związku z tym odnotowano leksemy typu *погибнуть*, *смерть*, *гибель*. Oto kilka przykładów mówiących bezpośrednio o śmierci osób:

¹⁰ Przykładowe eufemizmy związane ze śmiercią, także występujące w nekrologach, zob. Dąbrowska [1993: 90–110]; Engelking [1984: 119–125]; Kaptur [2008: 58–69]; Leszczyński [1988: 15–16]; Szwecow-Szweczyk [1974: 285–293].

- (62) *Погибли люди...! Какие бы посты они не занимали, это прежде всего люди!* [Федор Федорович Егоров, Тверь, Дальнбойщик];
- (63) *Друзья! Выражаю вам самые глубокие соболезнования в связи с гибелью вашего президента и части военного и политического истеблишмента* [Александр, Студент, Ангарск, Иркутская область];
- (64) *Искренне соболезную народу дружественной Польши по поводу трагической гибели Президента Польши и лучших представителей Польши* [Сергей, Бизнес, Омск];
- (65) *Уважаемые поляки! Я с вами вместе, очень потрясена такой нелепой смертью* [Helena Multisilta, Helsinki, художница];
- (66) *Мы все очень сильно переживаем смерть польских людей, с болью принимаем близко к сердцу трагедию близких и родственников поляков, погибших под Смоленском* [Надежда, г. Изюм, Харьковской обл.];
- (67) *Смерть – это всегда трагедия и горе для любого здравомыслящего человека, приношу мои соболезнования родственникам и друзьям погибших, а так же всему народу Польши* [Владимир, Н.-Новгород].

W drugiej części artykułu zostaną przybliżone kolejne obligatoryjne składniki wpisów kondolencyjnych, takie jak identyfikacja osób zmarłych i nadawców wpisów, charakterystyka osób zmarłych i formuły finalne.

Bibliografia

- Chlebda, W. (1993). *Z badań nad frazeologią gatunków mowy (rosyjski nekrolog prasowy)*. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Rosyjska 31, s. 49–62.
- Dąbrowska, A. (1993). *Eufemizmy współczesnego języka polskiego*. Wrocław.
- Engelking, A. (1984). *Istota i ewolucja eufemizmów (na przykładzie zastępczych określeń śmierci)*. Przegląd Humanistyczny 4, s. 115–129.
- Hodarska, M. (2011). *Emocje i wartości w nekrologach ofiar katastrofy pod Smoleńskiem*. Zeszyty Prasoznawcze 1–2, s. 26–40.
- Kaptur, E. (2008). *Językowy kształt współczesnych nekrologów prasowych (na materiale poznających dzienników z roku 2001)*. Poznań.
- Kaptur, E. (2012). *Co mówią internetowe księgi kondolencyjne? Językowy kształt wybranych wpisów kondolencyjnych po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem*. W: K. Michalewski (red.). *Język nowych mediów*. Łódź, s. 63–74.
- Klimowicz, T. (1996a). *Nekrolog*. W: T. Klimowicz. *Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917–1996)*. Wrocław, s. 180–187.
- Klimowicz, T. (1996b). *Wprowadzenie do nekrokultury (nekrologi w piśmie „Litieraturnaja gazeta”)*. *Studia Litteraria Polono-Slavica* 2, s. 161–181.
- Kolbuszewski, J. (1997). *Z głębokim żalem... O współczesnej nekrologii*. Wrocław.
- Lachur, C. (2004). *Zarys językoznawstwa ogólnego*. Opole.
- Leszczyński, Z. (1988). *Szkice o tabu językowym*. Lublin.
- Markunas, A., Uczitiel, T. (1999). *Leksykon chrześcijaństwa, rosyjsko-polski i polsko-rosyjski*. Poznań.
- Sierociuk, J. (2002). *O niektórych różnicach językowych pomiędzy Poznaniem, Krakowem i Warszawą (na przykładzie nekrologów i kondolencji prasowych)*. *Slavia Occidentalis* 59, s. 71–78.

- Szwecow-Szewczyk, M. (1974). *Tabu i eufemizmy językowe dawniej i dziś*. Poradnik Językowy 6, s. 285–293.
- Арутюнова, Н.Д. (1976). *Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы*. Москва.
- Золотухин, Е. (2011). *Как пишут сложные некрологи?* Некролог 1, s. 7.
- Митина, Е.А. (2012). *Речевой жанр «соболезнование» в русской лингвокультуре*. Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение 2(256). Вып. 62, s. 56–58.
- Нарлох, А. (2013). *Идентификация и образ адресата в интернет-соболезнованиях*. Studia Rossica Posnaniensia 38, s. 181–191.
- Петров, Ф.Н. (1982). *Словарь иностранных слов*. 9-е изд. Москва.
- Унукович, Е.А. (2010). *Телеграмма соболезнования как сжатый политический текст*. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 2(189), s. 98–105.
- Strona internetowa (dostęp: 19.11.2012)
<http://www.nekrolog.pro/pishem-nekrolog/570-sovety-kak-pravilno-napisat-nekrolog-ili-soboleznovaniya>

Summary

Russian Online Condolence Entries (part 1)

The core of the analysis constitutes an online obituary as a literary genre. The material subject to analysis will be presented in two articles. This article is the first part. It is an attempt to study Russian condolence entries addressed to Poles after the state president's plane crash on 10th April 2010. The material has been excerpted from contemporary Russian electronic media. There have been specified composition and genre features of obituaries and their basic functions. There have also been presented the formal structure and obligatory elements of online condolences such as opening formulas or identification of addressees. Further composition elements of the genre in question will be discussed in the following article.

Katarzyna Kuligowska

Instytut Filologii Rosyjskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

KATEGORIA SŁOWOTWÓRCZA W STRUKTURALIZMIE I W JĘZYKOZNAWSTWIE KOGNITYWNYM (NA PRZYKŁADZIE KATEGORII *NOMINA ATTRIBUTIVA* I *NOMINA INSTRUMENTI*)

Key words: derivational category, classical categorization theory, prototype category, *nomina attributiva*, *nomina instrumenti*

Pojęcie kategorii słowotwórczej, choć od dawna uznawane za jedno z kluczowych terminów derywatologii, dopiero w kilku ostatnich dekadach znajduje się w centrum zainteresowania językoznawców. W badaniach strukturalistów znacznie więcej uwagi poświęcono pojęciom sposobu słowotwórczego, gniazda słowotwórczego, typu słowotwórczego oraz charakterystyce wzajemnych relacji konkretnych typów słowotwórczych. W wielu najbardziej istotnych dla słowotwórstwa słowiańskiego opracowaniach pojęcie kategorii słowotwórczej nawet się nie pojawia. Wspomnieć wystarczy choćby rosyjską gramatykę akademicką [Шведова 1980], słownik słowotwórczy Aleksandra Tichonowa [Тихонов 1985] czy monografie Alberta Bartoszewicza [Bartoszewicz 1970; Bartoszewicz 1972]. Nie oznacza to oczywiście całkowitego braku zainteresowania lingwistów tym zagadnieniem w XX wieku – zagadnieniem, które jednak nie zostało dogłębnie zanalizowane i jednoznacznie opisane. Schyłek XX wieku i początek wieku XXI to okres intensywnego rozwoju językoznawstwa kognitywnego, które wywarło bardzo duży wpływ również na sposoby opisu i badania zjawisk słowotwórczych. To właśnie postulaty kognitywizmu, między innymi zwrócenie uwagi na nierozzerwalny związek kategorii myślowych z kategoriami języka, wpłynęły na wzrost zainteresowania kategoriami słowotwórczymi i ich funkcjonowaniem w systemie językowym.

W naukowym piśmiennictwie polskim z czasów językoznawstwa strukturalnego zagadnienie kategorii słowotwórczej pojawia się między innymi za sprawą Witolda Doroszewskiego, Marii Brodowskiej-Honowskiej i Renaty Grzegorzczkowej.

Witold Doroszewski dokonuje klasyfikacji derywatów, biorąc pod uwagę wyłącznie element strukturalny i akcentuje: „nie możemy opierać słowotwórczego podziału wyrazów na ich znaczeniu realnym, lecz musimy skupić uwagę na ich budowie” [Doroszewski 1963a: 275]. Dalej czytamy: „Znaczenia właściwe wyrazom jako całościom, jako jednolitym znakom przedmiotów myśli, przenoszą nas w świat rzeczy, zadaniem zaś naszym jest klasyfikacja wyrazów, nie zaś ich desygnatów” [Doroszewski 1963a: 282]. Za podstawowe kryterium wydzielania kategorii słowotwórczych badacz przyjmuje gramatyczny charakter wyrazu fundującego, a następnie relację formantu do podstawy słowotwórczej, z którą się łączy [Doroszewski 1962: 205–222]. Na tej podstawie wyróżnia w ramach grup derywatów odczasownikowych i odprzymiotnikowych formacje podmiotowe i orzeczeniowe. O nazwach narzędzi mówi: „*nomina instrumenti* o tyle tylko można traktować jako kategorię słowotwórczą, o ile zinterpretuje się ten typ nazw jako nieosobowe *nomina agentis*” [Doroszewski 1963b: 75]. Do kategorii *nomina attributiva* natomiast zalicza odprzymiotnikowe formacje podmiotowe, które jego zdaniem są nazwami o znaczeniu uintensywnionym, charakteryzującymi desygnat w sposób bardziej kategoriyczny w porównaniu z motywującymi je przymiotnikami, np. *leniwiec* vs. *leniwy* [Doroszewski 1963a: 302].

Maria Brodowska-Honowska w swoich badaniach przyjmuje kategorię słowotwórczą za nadrzędną jednostkę klasyfikacyjną, która w przeciwieństwie do kategorii onomazjologicznej nie jest całkowicie wyabstrahowana od materiału leksykalnego oraz w przeciwieństwie do typu słowotwórczego nie jest zbyt sformalizowana [Brodowska-Honowska 1967: 21]. Badaczka dokonuje podziału derywatów na kategorie, poczynając od wyodrębnienia trzech podstawowych części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik), a następnie wydzielenia w ich obrębie derywatów mutacyjnych (autorka nazywa je derywatami o funkcji strukturalnej) i modyfikacyjnych [Brodowska-Honowska 1967: 10–20]. Kolejny etap klasyfikacji polega na podziale derywatów na te, które pełnią funkcję wyłącznie syntaktyczną, np. *dobro*, *szarzyć*, i te o funkcji syntaktyczno-semantycznej, np. *chudzielec* [Brodowska-Honowska 1967: 10–20]. U podstaw podziału na kategorie słowotwórcze znajdują się, zdaniem autorki, gramatyczny charakter derywatu oraz gramatyczny charakter podstawy, czego konsekwencją jest klasyfikacja derywatów na mutacyjne i modyfikacyjne rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki odczasownikowe, odprzymiotnikowe oraz odrzeczownikowe [Brodowska-Honowska 1967: 21–31]. Kategorie słowotwórcze „formalnie są nacechowane kategorialną wartością sufiksu (jako części mowy) i kategorialną wartością podstawy (jako części mowy); semantycznie opierają się na znaczeniach, które można by nazwać gramatycznymi o tyle, że znajdują w danym języku swój formalnie zadokumentowany wyraz zarówno w słowotwórstwie, jak i w składni” [Brodowska-Honowska 1967: 23–24]. Do kategorii *nomina instrumenti* M. Brodowska-Honowska zalicza więc wyłącznie derywaty odczasownikowe, zaś kategorię *nomina attributiva* tworzą, jej zdaniem, wyłącznie derywaty odprzymiotnikowe. Rzeczowniki odrzeczownikowe badaczka zalicza do formacji granicznych, które pod względem funkcyjnym są pokrewne z derywatami rzeczownikowymi o funkcji semantyczno-syntaktycznej, natomiast pod względem formalnym zbliżają się do derywatów modyfikacyjnych [Brodowska-Honowska 1967: 17–25].

Renata Grzegorzczkova kategorię słowotwórczą definiuje jako „klasę wyrazów mających tę samą wartość kategoriałną”, która wynika z obecności formantów o tej samej funkcji, a co za tym idzie – z posiadania pewnego wspólnego elementu znaczeniowego [Grzegorzczkova 1981: 23–24]. Wartość kategoriałna jest tu rozumiana jako uogólnione znaczenie słowotwórcze derywatu, przy czym określenie poziomu tego uogólnienia może stwarzać badaczom pewne trudności. W zestawie kategorii słowotwórczych derywatów polskich kategoria nazw narzędziowych (nazw środków czynności) pojawia się zarówno w obrębie derywatów odczasownikowych, jak i odrzeczownikowych. Podobnie zresztą zostały potraktowane nazwy nosicieli cech, które widnieją w zestawie derywatów odprzymiotnikowych i derywatów odrzeczownikowych [Grzegorzczkova, Laskowski, Wróbel 1984: 333–335]. Kategoria *nomina instrumenti* została ujęta przez R. Grzegorzczkovą szeroko, zaliczono bowiem do niej proste narzędzia, urządzenia i maszyny, jak i substancje służące do wykonywania czynności. Badaczka zwraca uwagę na liczne wypadki neutralizacji różnicy między nazwami wykonawców czynności i nazwami narzędzi, co dotyczy przede wszystkim nazw skomplikowanych urządzeń, które mogą działać samodzielnie bez udziału człowieka, np. *spychacz*, *uszczelniacz*, *izolator* [Grzegorzczkova, Laskowski, Wróbel 1984: 335, 352–353]. Nazwy o charakterze granicznym występują także w kategorii *nomina attributiva*, a należą do nich takie odrzeczownikowe derywaty, których podstawy słowotwórcze nazywają stany. Jednak w omawianej klasyfikacji nie występuje grupa odczasownikowych nazw subiektów cech, do których można by zaliczyć takie rzeczowniki jak: *potakiwacz*, *krzykacz*, *donosiciel*. Trudność sprawia ponadto wytyczenie ostrej granicy między odrzeczownikowymi nazwami zwolenników idei, poglądów itp. a nazwami nosicieli cech, kiedy motywujący rzeczownik nie nazywa kierunku czy zespołu poglądów, a określoną postawę życiową, np. *optymista*, *cynik* [Grzegorzczkova, Laskowski, Wróbel 1984: 380]. Czyż nie podobnie ma się rzecz z nazwami amatorów i niektórymi nazwami posiadaczy, jak choćby *dyskotekowicz*, *teatroman*, *koniarz*, *psiarcz*?

Swoje wątpliwości dotyczące przedstawionego sposobu klasyfikacji derywatów wyraża Wacław Cockiewicz. Proponuje on zastosowanie klasycznej metody analizy składnikowej znaczenia do analizy nazw agentywnych i nazw nosicieli cech [Cockiewicz 2001: 53–62]. Formuluje następujące kryterium odróżnienia obu grup derywatów: „jeżeli w strukturze znaczenia kategoriałnego derywatu argument, będący semantycznym korelatem formantu słowotwórczego, nie wchodzi w bezpośredni stosunek z predykatem stanowiącym korelat podstawy słowotwórczej [jak w przypadku nazw typu *pisarz* – ‘ten, kto pisze’], lecz ten ostatni zdominowany jest przez inny (modalny) predykat, niemający w strukturze formalnej wyrazu osobnego korelatu, to taki derywat nie należy do kategorii *nomina agentis*, lecz do kategorii *nomina attributiva*” [np. *łgarz* – ‘ten, kto **ma** *zwyczaj* łgać’; *schlebiacz* – ‘ten, kto **lubi** *schlebiać*’]. Badacz podkreśla jednocześnie, że o przynależności dewerbalnego derywatu do kategorii *nomina agentis* bądź *nomina attributiva* często decyduje aktualne znaczenie kontekstowe [Cockiewicz 2001: 59–61].

Niezmiernie istotny wkład w XX-wieczne badania systemów słowotwórczych wniosła monografia Miłocha Dokuliła [Dokulił 1979]. Badacz ten definiuje pojęcie kategorii

słowotwórczej poprzez odniesienie do definicji typu słowotwórczego, który cechuje określona ogólna struktura onomazjologiczno-semantyczna, ogólna formalna struktura słowotwórcza oraz określony formant. Kategoria słowotwórcza natomiast abstrahuje od określonych środków derywacyjnych. Określają ją dwie pierwsze z wymienionych cech konstytutywnych. Autor *Teorii derywacji* wyraźnie różnicuje pojęcia kategorii słowotwórczej i kategorii onomazjologicznej. Ta ostatnia charakteryzuje się wyższym stopniem uogólnienia i opiera się wyłącznie na onomazjologiczno-semantycznej strukturze nazwy [Dokulil 1979: 107–108]. Zatem, zgodnie z założeniami teorii M. Dokulila, nazwy narzędzi oraz nazwy nosicieli cech znajdują się na płaszczyźnie kategorii onomazjologicznej, kategorie słowotwórcze natomiast tworzą klasy derywatów charakteryzujące się jednością leksykalno-gramatycznego charakteru podstawy, czyli przykładowo odprzymiotnikowe *nomina attributiva* lub odczasownikowe *nomina instrumenti* [Dokulil 1979: 104–106].

Definicja zawarta w *Encyklopedii językoznawstwa ogólnego* zawiera trzy cechy konstytuujące kategorię słowotwórczą: gramatyczna charakterystyka podstawy słowotwórczej, charakter relacji między wyrazem motywującym i motywowanym oraz określony zespół środków słowotwórczych, jednak jej autorzy podkreślają, że „brak jednoznacznych kryteriów określających dopuszczalną zmienność funkcjonalnych i strukturalnych właściwości jednostek leksykalnych w ramach jednej k. s. sprawia, iż w praktyce istnieje znaczna dowolność w sposobach klasyfikacji zasobu słownikowego na k. s.” [Polański 1999: 292].

Szczegółowego przeglądu stanowisk radzieckich i rosyjskich językoznawców w sprawie kategorii słowotwórczej dokonały dwie rosyjskie badaczki – Galina Bieliakowa oraz Wiera Kosowa [zob. Белякова 2007; Косова 2010: 199–212]. Obie zgodnie podkreślają, że zagadnienie kategorii słowotwórczej nurtowało badaczy już na początkowych etapach rozwoju słowotwórstwa i wskazują na prace Wiktora Winogradowa, w których wyraźnie zostały podkreślone związki kategorii słowotwórczych z gramatyką oraz wpływ kategorii gramatycznych i leksykalnych na kategorie słowotwórcze. O najwcześniejszych użyciach terminu „kategoria słowotwórcza” w naukowym piśmiennictwie rosyjskim pisze G. Bieliakowa, wymieniając prace Mikołaja Kruszewskiego, Wasilija Bogorodickiego, Ołeksandra Potebni, Michaiła Pokrowskiego, i jednocześnie wyraźnie zaznaczając, że badacze ci stosowali ten termin w sposób niejednoznaczny [Белякова 2008: 71].

Ważny wkład w badania mające na celu określenie miejsca kategorii słowotwórczej w systemie języka wniosła monografia Olgi Rewziny poświęcona rzeczownikom sufiksalnym w językach słowiańskich. W swej pracy autorka posługuje się określeniem „pole słowotwórcze” [Ревзина 1969]. Termin ten jest rozumiany jako zestaw sufiksów przekazujących derywatowi to samo uogólnione znaczenie słowotwórcze oraz wiązkę znaczeń określonych kategoriami gramatycznych, to jest kategoriami liczby i kategorii żywotności [Ревзина 1969: 10]. W grupie rzeczowników można zatem wyodrębnić pole działacza, obejmujące swoim zakresem rzeczowniki żywotne z nazwami zwierząt włącznie, pole czynności i stanu, obejmujące *nomina abstracta* i *nomina actionis*, oraz pole przedmiotowe, w którym można wyodrębnić dwa subpola – wyrazy ze znaczeniem miejsca i narzędzia czynności [Ревзина 1969: 11].

Autorami innych znaczących dla rosyjskiej derywatologii lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku prac są między innymi Igor Ułuchanow, Elena Ziemskaja, Elena Kubriakowa, Ruben S. Manuczarian i Julija Azarch [zob. Белякова 2008; Косова 2010]. Przegląd poglądów naukowych dotyczących teorii kategorii słotwórczej pozwala na wskazanie punktów spornych oraz zagadnień, które do dzisiaj są przedmiotem dyskusji językoznawców, a mianowicie:

- zagadnienie przynależności podstaw słotwórczych derywatów do tej samej części mowy,
- poziom uogólnienia znaczenia słotwórczego derywatów,
- możliwość rozpatrywania w ramach jednej kategorii słotwórczej derywatów powstałych różnymi sposobami,
- zagadnienie adekwatności samego terminu „kategoria słotwórcza” [Белякова 2007: 29–34].

Niektórzy badacze są zdania, że derywaty należące do jednej kategorii powinny być tworzone tym samym sposobem słotwórczym (między innymi M. Dokulil, I. Ułuchanow), inni natomiast zgadzają się, by do jednej kategorii włączyć derywaty tworzone różnymi sposobami słotwórczymi (R. Manuczarian, Z. Wołockaja, E. Ziemskaja). Bieliakowa nie zgadza się z tym drugim stanowiskiem, argumentując, że zaliczenie do kategorii słotwórczej jedynie derywatów powstałych tym samym sposobem słotwórczym pozwala na dokładniejszą analizę materiału językowego [Белякова 2007: 29]. Jednocześnie dla klasy wyrazów obejmującej derywaty o wspólnym znaczeniu słotwórczym, a powstałych różnymi sposobami, proponuje termin „hiperkategoria” (np. klasa nazw o znaczeniu lokatywnym powstałych sposobem sufiksalnym, prefiksalnym, prefiksarno-sufiksalnym itd.), zaś grupę derywatów o różnym poziomie uogólnienia znaczenia słotwórczego nazywa superkategorią (np. superkategoria „przedmiot”, która obejmuje między innymi kategorie nazw lokatywnych oraz nazw narzędzi [Белякова 2007: 31–32]. Za najbardziej udany termin oznaczający klasę derywatów podrzędną w stosunku do kategorii słotwórczej Bieliakowa uznaje termin „subkategoria”, który może wskazywać na strukturę formalną danej klasy wyrazów (formalna subkategoria derywatów tworzonych od tej samej części mowy, np. odadiektywne *nomina attributiva*) lub identyczność uogólnionego znaczenia słotwórczego derywatów (subkategoria semantyczna, np. nieosobowe *nomina agentis*) [Белякова 2007: 34].

Na schyłek XX wieku i początek XXI wieku przypada intensywny rozwój językoznawstwa kognitywnego, który, jak pisze Krystyna Waszakowa, „z centralnym dla tego kierunku zadaniem opisu sposobów kategoryzacji świata przez umysł poznający, pozwalającej dotrzeć do struktury pojęciowej, leżącej u podstaw procesów poznawczych umysłu, stworzył także nowe perspektywy dla interpretacji zjawisk słotwórczych” [Waszakowa 1996: 286]. Potwierdzają to liczne w ostatnich dekadach publikacje z zakresu derywatologii, w których coraz częściej podejmowane jest zagadnienie zapomnianej na jakiś czas przez lingwistów kategorii słotwórczej.

Jednym z podstawowych założeń językoznawstwa kognitywnego jest teoria prototypowości, którą Dirk Geeraerts nazywa „kamieniem węgielnym” (*cornerstone*) tego

kierunku [Geeraerts 1989: 591]. Badacz jest zdania, że teoria ta rozwiązuje szereg problemów, które były pomijane przez strukturalistów, ale podkreśla także trudność zdefiniowania prototypowości, która sama w sobie jest conceptem prototypowym [Geeraerts 1989: 592]. Do najistotniejszych elementów definicji prototypowości należą następujące założenia:

- kategorie prototypowe nie są definiowane poprzez zestaw cech wystarczających i koniecznych;
- kategorie mają strukturę radialną, na którą składają się powiązane ze sobą i pokrywające się znaczenia, pozostające w relacji podobieństwa rodzinnego (*family resemblance*);
- przynależność elementów do kategorii prototypowej może być stopniowalna;
- kategorie prototypowe nie mają ostrych granic, są kategoriami rozmytymi [Geeraerts 1989: 592].

Teoria kategorii prototypowych została wykorzystana również w badaniach derywatologów. Opinie wielu zachodnich językoznawców na temat granic kategorii słowotwórczych w świetle językoznawstwa kognitywnego zaprezentowano w publikacji Aleksandry Kalagi, pracy dotyczącej podejmowanego wielokrotnie przez lingwistów zagadnienia rozgraniczenia kategorii *nomina agentis* i *nomina instrumenti* [Kalaga 2007: 51–59].

Próbę wyznaczenia kryteriów przynależności rzeczowników do kategorii nazw agentywnych podejmuje także Izchak M. Schlesinger, który konfrontuje gramatykę przypadku Charlesa J. Fillmore’a z własnymi przemyśleniami, badając status leksemów w kontekście zdaniowym [Schlesinger 1989: 189–210]. Schlesinger nie zgadza się, by nazwy przedmiotów automatycznie włączać do kategorii narzędzi i stwierdza, że jeśli w zdaniu nie pojawia się wykonawca czynności lub jeśli uwaga nie jest skierowana na wykonawcę czynności, nazwa narzędzia może być traktowana jak nazwa agentywna, np.:

The stick hit the horse.

The World War II mine wounded him when he stepped on it.

[Schlesinger 1989: 189–192].

Badacz podkreśla, że przyjęcie tezy o stopniowalnej przynależności elementów do danej kategorii pozwala na włączenie wielu nazw instrumentalnych do kategorii *nomina agentis*, w której to kategorii zajmują one miejsce peryferyjne. Analiza nazw środków czynności pokazuje, że lepszymi przykładami nazw agentywnych są nazwy skomplikowanych maszyn i mechanizmów w odróżnieniu od nazw narzędzi prostych, ponieważ skupiają one uwagę bardziej na sobie niż na działaczu, który je obsługuje, np.:

The crane picks up the crate.

The fork picks up the potato,

a im bardziej skomplikowane jest dane urządzenie, tym bliższe zajmuje miejsce w relacji do prototypowego centrum kategorii. Co więcej, Schlesinger uważa, że cecha żywotność/nieżywotność nie jest właściwym kryterium rozgraniczenia obu problematycznych kategorii, bowiem do *nomina instrumenti* można niekiedy zaliczyć rzeczowniki żywotne, jak w następujących przykładach:

They used fraternity boys to get the building painted.

Nixon used Agnew to promote his own view.

[Schlesinger 1989: 193–194]

Na gruncie polskim najbardziej znaczącymi pracami z dziedziny derywatologii w ujęciu kognitywnym są prace wspomnianej już Renaty Grzegorzczukowej, Bogdana Szymanka [Grzegorzczukowa, Szymanek 1993; Szymanek 1988], Krystyny Waszakowej [Waszakowa 1996; Waszakowa 1998] i Jadwigi Puzyniny [Puzynina 1994].

Szymanek i Grzegorzczukowa podkreślają, że dla kognitywistów kategorie słowotwórcze to podstawowe pojęcia, za pomocą których człowiek ujmuje świat, wyrażane w sposób nieregularny i nieobligatoryjny, ale za pomocą określonych wykładników, w odróżnieniu od kategorii gramatycznych, wyrażanych w sposób regularny i obowiązkowy [Grzegorzczukowa, Szymanek 1993: 463]. Rozważając zagadnienie określenia zakresu kategorii słowotwórczych, badacze postulują zastosowanie ujęcia uogólniającego. Waszakowa zauważa, że przy zastosowaniu kognitywnego podejścia w badaniach słowotwórczych znika problem nieostrości granic między wieloma kategoriami, między innymi znajdującymi się w centrum naszego zainteresowania kategoriami *nomina attributiva* i *nomina agentis*, a także *nomina instrumenti* i *nomina agentis*, który „tu daje się wytłumaczyć jako rezultat odmiennego wyprofilowania tej samej bazy kognitywnej na różnych »poziomach« opisu języka” [Waszakowa 1996: 291].

W monografii B. Szymanka tezę o największej wadze dla współczesnej derywatologii jest przekonanie, że kategorie leksykalno-słowotwórcze są zakorzenione w podstawowych conceptach poznawczych, czyli tak zwanych *cognitive grounding conditions* [Szymanek 1988: 93]. Badacz przedstawia zestaw 25 najważniejszych kategorii kognitywnych, do których zalicza między innymi obiekt, substancję, osobę, liczbę, działacza oraz narzędzie, zaznaczając jednocześnie, że przynależność do wspomnianego zestawu dwóch ostatnich kategorii jest dla wielu sprawą dyskusyjną [Szymanek 1988: 92].

Szymanek podejmuje próbę zdefiniowania prototypowej kategorii słowotwórczej, wykorzystując do tego cechy dwójakiego charakteru: ogólne, niezależne od języka oraz *stricte* językowe, powiązane ze składniowymi, semantycznymi, leksykalnymi i morfologicznymi właściwościami danego systemu językowego [Szymanek 1988: 115–116]. Za najważniejszą cechę prototypowej kategorii słowotwórczej badacz uznaje zakorzenienie w koncepcie kognitywnym i podkreśla, że w restrykcyjnej wersji teorii prototypu jest to cecha konieczna w odróżnieniu od pozostałych cech. Przyjęcie bardziej liberalnej wersji teorii prototypu dopuszcza sytuację, w której warunek zakorzenienia w koncepcie kognitywnym nie jest spełniony, ale badana kategoria słowotwórcza posiada szereg pozostałych prototypowych atrybutów. Przykładem takiej kategorii mogą być nazwy istot młodych [Szymanek 1988: 116–118]. Pozostałe cechy, którymi powinna charakteryzować się prototypowa kategoria słowotwórcza, są konsekwencją wskazanej podstawowej właściwości. Są to:

- odniesienie do rzeczywistości psychologicznej,
- ogólność konceptu kognitywnego,
- semantyczna jednolitość i regularność derywatów,

- produktywność,
- mutacyjna funkcja derywatów danej kategorii,
- taka sama charakterystyka gramatyczna wyrazów motywujących.

Cechy morfologiczne można podzielić na wewnątrzkategorialne, czyli liczebność kategorii oraz ilość wykładników formalnych, i zewnętrzne, czyli charakter relacji pomiędzy poszczególnymi kategoriami [Szymanek 1988: 115–116]. Należy pamiętać, że przedstawione cechy konstytuują prototyp kategorii słowotwórczej i nie każda kategoria musi posiadać cały ich zestaw. Biorąc pod uwagę prototypowe atrybuty kategorii słowotwórczej zaproponowane przez Szymanka, można uznać, że kategorie *nomina attributiva* i *nomina instrumenti* są kategoriami w dużym stopniu prototypowymi, bowiem spełniają zdecydowaną większość opisanych warunków.

Na nowe perspektywy, które pojawiły się w związku z kognitywnym sposobem interpretacji zagadnień słowotwórczych, nie pozostali obojętni również językoznawcy rosyjscy. Pojęcie kategorii słowotwórczej stało się obiektem zainteresowania wielu współczesnych derywatologów, o czym świadczą liczne publikacje i rozprawy na ten temat, jak choćby wspomniane prace Bieliakowej i Kosowej, jak również Wioletty Griażnowej [Грязнова 1993], Tatiany Borisowej [Борисова 2000], Natalii Tołstowej [Толстова 2006], oraz konferencje poświęcone wspomnianym zagadnieniom, o których pisze Kosowa [Косова 2010: 205–206].

Będącą w centrum naszego zainteresowania kategorią *nomina instrumenti* zajmuje się w swej monografii Natalia Tołstowa [Толстова 2006]. W obrębie danej kategorii autorka analizuje sufiksalne derywaty o znaczeniu instrumentalnym, motywowane czasownikami oraz rzeczownikami. Stosując analizę komponentową, Tołstowa w ramach badanej kategorii wyodrębnia subkategorie nazw narzędzi rolniczych, nazw narzędzi codziennego użytku oraz nazw narzędzi stosowanych w przemyśle, a wymienione subkategorie dzieli na grupy leksykalno-semantyczne, przykładowo ręczne narzędzia rolnicze i maszyny rolnicze. Przyjęta zostaje tu zatem taka koncepcja kategorii, której komponenty należą do niej w mniejszym lub większym stopniu; akceptuje się także pochodzenie derywatów należących do jednej kategorii od podstaw słowotwórczych o różnym charakterze gramatycznym, choć autorka pomija w swym badaniu nazwy narzędzi tworzone od przymiotników lub związków wyrazowych (uniwerбаты), typu: *karuzelówka* ('tokarka karuzelowa'), *stalówka* ('elastyczna linijka stalowa'), *взрывчатка* ('взрывчатое вещество'), *врубовка* ('врубовая машина').

Rozważania derywatologów na temat pojęcia kategorii słowotwórczej, przedstawione w niniejszym artykule jedynie w zarysie, pokazują, że jest to zagadnienie złożone, z którym wciąż wiąże się wiele kwestii spornych. Jedną z najważniejszych jest ustalenie zakresu tego pojęcia. W świetle językoznawstwa strukturalnego warunkiem istnienia samodzielnej kategorii słowotwórczej było posiadanie przez nią określonych wyspecjalizowanych wykładników formalnych oraz uogólnione znaczenie słowotwórcze derywatów czy też podobne relacje między pojęciami ogólnymi, typu: czynność, subiekt, cecha, okoliczność [Waszakowa 1996: 287]. Kryterium formalne z czasem zastąpił czynnik semantyczny, który, jak podkreśla Krystyna Kleszczowa, wystarcza dla wyodrębnienia

samodzielnej kategorii słowotwórczej, przy założeniu, że „kategoria słowotwórcza to zespół jednostek, których identyczność funkcji niekoniecznie musi (choć może) przejawiać się poprzez strukturalne wykładniki, lecz może być weryfikowana na innym poziomie języka, np. w planie syntaktyczno-semantycznym” [Kleszczowa 1981: 23]. Językoznawstwo kognitywne pozwala na ujęcie kategorii słowotwórczych jako „klasy zjawisk wywodzonych od podstawowych kategorii pojęciowych, w których są zakorzenione” [Waszakowa 1996: 287], a zastosowanie propagowanej przez kognitywistów teorii prototypu sprawia, że kategorie przestają być definiowane za pomocą cech koniecznych i wystarczających, lecz są charakteryzowane poprzez pryzmat posiadania mniejszej lub większej liczby atrybutów. W związku z powyższym do kategorii nazw narzędzi można zaliczyć derywaty odprzymiotnikowe, a do nazw atrybutywnych – derywaty dewerbalne, przy założeniu, że zajmują one peryferyjne miejsca tych kategorii. Jednocześnie badacze zgodnie podkreślają, że dokonania strukturalistów znacząco ułatwiają opis zestawu kategorii słowotwórczych poszczególnych języków, a nowa interpretacja zjawisk słowotwórczych nie przekreśla i nie podważa dotychczasowego dorobku derywatologów. Jak pisał Doroszewski jeszcze w 1962 roku, „bez uporządkowanego słowotwórstwa nie ma uporządkowanej semantyki” [Doroszewski 1962: 210].

Bibliografia

- Bartoszewicz, A. (1970). *Суффиксальное словообразование существительных в русском языке новейшей эпохи (на материале новообразований после 1940 года)*. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
- Bartoszewicz, A. (1972). *История суффиксальной отсубстантивной деривации существительных в русском литературном языке (nomina concreta ot nomina concreta)*. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
- Brodowska-Honowska, M. (1967). *Zarys klasyfikacji polskich derywatów*. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.
- Cockiewicz, W. (2001). *Jak odróżnić działacza od nosiciela cechy?* W: *Studia językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej*. Kraków: Universitas, s. 53–62.
- Dokulil, M. (1979). *Teoria derywacji*. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Doroszewski, W. (1962). *Kategorie słowotwórcze*. W: *Studia i szkice językoznawcze*. Warszawa: PWN, s. 205–222.
- Doroszewski, W. (1963a). *Podstawy gramatyki polskiej. Część I*. Warszawa: PWN.
- Doroszewski, W. (1963b). *Syntaktyczne podstawy słowotwórstwa*. Z polskich studiów slawistycznych. Seria 2. Językoznawstwo. Warszawa.
- Geeraerts, D. (1989). *Introduction: Prospects and problems of prototype theory*. *Linguistics* 29, s. 587–612.
- Grzegorzczkova, R. (1981). *Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe*. Wyd. 4 popr. Warszawa: PWN.
- Grzegorzczkova, R., Laskowski, R., Wróbel, H. (1984). *Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia*. Warszawa: PWN.
- Grzegorzczkova, R., Szymanek, B. (1993). *Kategorie słowotwórcze w perspektywie kognitywnej*. W: J. Bartmiński (red.). *Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2: Współczesny język polski*. Wrocław: Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, s. 459–474.

- Kalaga, A. (2007). *Nomina agentis and nomina instrumenti in the Light of Categorization Theory: A Case for Prototype-semantics Approach*. Linguistics. Academic Papers of College of Foreign Languages 4, s. 51–59.
- Kleszczowa, K. (1981). *Ograniczenia semantyczne w procesie derywacji nazw narzędzi*. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
- Polański, K. (1999). *Encyklopedia językoznawstwa ogólnego*. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Puzynina, J. (1994). *Kategoria derywatów słowotwórczych w świetle lingwistyki kognitywnej*. W: *En Slavist I Humanismens Tegn. Festskrift til Kristine Heltberg*. København: Reitzel, s. 79–85.
- Schlesinger, I.M. (1989). *Instruments as Agents: On the Nature of Semantic Relations*. Linguistics 25, s. 189–210.
- Szymanek, B. (1988). *Categories and Categorization in Morphology*. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
- Waszakowa, K. (1996). *Kategorie słowotwórcze z perspektywy semantyki kognitywnej (Zarys problematyki)*. W: R. Grzegorzczakowa, A. Pajdzińska (red.). *Językowa kategoryzacja świata*. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 285–295.
- Waszakowa, K. (1998). *Słowotwórczy aspekt procesów profilowania*. W: J. Bartmiński, R. Tokarski (red.). *Profilowanie w języku i w tekście*. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 105–116.
- Белякова, Г.В. (2007). *Словообразовательная категория суффиксальных локативных существительных в современном русском языке*. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет».
- Белякова, Г.В. (2008). *Словообразовательная категория как дериватологическая проблема (на материале словообразовательной категории суффиксальных локативных существительных в современном русском языке)*. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 59.
- Борисова, Т.Г. (2000). *Словообразовательная категория суффиксальных вещественных имен существительных с мутационным значением в современном русском языке*. Автореферат дис. ... канд. филол. Наук. Ставрополь.
- Грязнова, В.М. (1993). *Словообразовательная категория личных существительных мужского рода в русском литературном языке XIX в.* Автореферат дис. ... канд. филол. Наук. Санкт-Петербург.
- Косова, В.А. (2010). *Словообразовательная категория: формирование понятия и основные направления исследования*. Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки 152, кн. 6, s. 199–212.
- Ревзина, О.Г. (1969). *Структура словообразовательных полей в славянских языках*. Москва: Издательство Московского университета.
- Тихонов, А.Н. (1985). *Словообразовательный словарь*. Москва: Русский язык.
- Толстова, Н.А. (2006). *Словообразовательная категория названий орудий труда в современном русском литературном языке*. Дис. ... канд. филол. Наук. Ставрополь.
- Шведова, Н.Ю. (1980). *Русская грамматика*. Москва: Издательство „Наука”.

Summary

Derivational Category in Structural and Cognitive Linguistics (Illustrated by the Example of *nomina attributiva* and *nomina instrumenti*)

The aim of the article is to present the notion “derivation category” in the light of structural and cognitive linguistics. The mentioned question is described on the basis of the example of Polish and Russian categories: *nomina attributiva* and *nomina instrumenti*. The author also touches upon the question of classical categorization theory and the concept of prototype categories which has significantly influenced the way of perception of the question under discussion.

Małgorzata Kurianowicz

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uniwersytet w Białymstoku

MODERNIZACJA FORM IMPERATIVU NA PRZYKŁADZIE CERKIEWNOSŁOWIAŃSKICH DRUKOWANYCH TEKSTÓW EWANGELICZNYCH¹

Key words: Church Slavonic language Russian recension, old printed editions of Gospels, the imperative

Przedmiotem niniejszej analizy porównawczej są cerkiewnosłowiańskie formacje imperatywne, wyekscerpowane z dwóch starodruków ewangelicznych². Poddane analizie teksty powstały w ciągu dwóch stuleci i należą do jednej, ruskiej redakcji. Pierwszy to *Biblia Ostrogska*³ z 1581 roku, z terenu państwa polsko-litewskiego – jedno z najwcześniejszych wydań drukowanych wszystkich ksiąg Pisma Świętego, a drugi to synodalny *Ewangeliarz Jabłeczynski*⁴ z 1771 roku – wyszedł on spod prasy mnichów Kijowsko-Pieczerskiej Ławry.

Patrząc z perspektywy czasu na historię rozwoju języków słowiańskich, można zauważyć, że język cerkiewnosłowiański (cs.) redakcji ruskiej stanowi pomost między językiem staro-cerkiewno-słowiańskim (scs.) a współczesnym językiem rosyjskim. Z tego względu cerkiewszczyzna w wydaniu ruskim, tkwiąc korzeniami w staro-cerkiewno-słowiańskim wzorcu, swoimi gałęziami sięgała i czerpała początkowo z języka staroruskiego, a obecnie z języka rosyjskiego. Efekt tych relacji został zarejestrowany między innymi w sposobie tworzenia form imperativu.

¹ Niniejsza publikacja powstała ze środków MNiSW na naukę, w ramach grantu promotorskiego nr N N104 0577438 pt. „Biblia Ostrogska i XVIII-wieczna Ewangelia klasztoru w Jabłecznej – cerkiewnosłowiańskie zabytki redakcji ruskiej”.

² O historii powstania i wydaniach pierwszych drukowanych tekstów biblijnych na obszarze wschodniej słowiańszczyzny zob. M. Kurianowicz [2012: 27–35].

³ *Biblia Ostrogska* (dalej: BO). Zob. mikrofilm Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 16 235 na podstawie egzemplarza o sygn. 612.105. Historię powstania BO przedstawia między innymi Я.Д. Исаевич [1990: 3–17].

⁴ *Ewangeliarz Jabłeczynski* (dalej: EJ) znajduje się obecnie w stauropigialnym Prawosławnym Klasztorze św. Onufrego w Jabłecznej (woj. lubelskie).

Tryb rozkazujący w języku scs. tworzony był za pomocą sufiksu **-и-** dla czasowników singularis (sg.) klasy I, II, III i IV oraz pluralis (pl.) klasy III i IV, lub też za pomocą sufiksu **-ѣ-** dla czasowników pluralis i dualis (du.) klasy I, II i części V (**быти**). Czasowniki atematyczne (klasy V), tworząc rozkaznik liczby pojedynczej, przybierały sufiks ***-ѣ-**, wywołujący jednocześnie alternacje spółgłoskowe. W pozostałych formach fleksje poprzedzone były sufiksem **-и-**.

Materiał egzemplifikacyjny reprezentują w większości formy 2 os. sg., 1 os. pl., 2 os. pl. oraz 2 os. du. W BO w ogólnych zarysach pozostają one wierne scs. wzorcom. Co się zaś tyczy języka EJ, to korektorzy dokonali w tym względzie jego konsekwentnej modernizacji.

W przytoczonym poniżej materiale uwidacznia się wzajemny wpływ różnych form imperativu (tab. 1).

Tabela 1

Wzajemny wpływ różnych form imperativu

	Klasa	Temat	Scs.	BO	EJ
2 os. sg.	I, II	-o-/-e-; -no-/-ne-	-и	-и	-и
	III	-jo-/-je-	-и	-и/-й	-й
	IV	-i-	-и, -ѣ	-и, -ѣ	-и, -ѣ
	V	-ø-	-ѣ	-ѣ/-ѣ/-и/-й	-ѣ/-й

W starodrukach w większości przypadków utrzymały się formy imperativu 2 os. sg. ze scs. fleksją **-и**, por. (BO => EJ): **гради** => **гради** (J 1:44), **ведеи** (Mt 6:13), **иди** => **иди** (Mt 9:6), **възми** => **возми** (Mt 9:6), **изыди** (Mk 5:8), **востани** (Mt 9:6), **плачи** (Łk 7:13), **помажи** (Mt 6:17), **покажи** (Łk 14:8), **бѣжи** (Mt 2:13), **сѣтвори** => **сотвори** (Łk 7:8), **помолиса** (Mt 6:6), **покажиса** (Łk 1:44). Jednak w BO czasowniki klasy III, których temat zakończony jest na samogłoskę, obok typowych form dla scs. imperativu z końcówką **-и**, por. **радѣиса** => **радѣиса** (J 19:3), posiadają również wariantywną fleksję **-й**⁵, por.: **вѣрѣи** (Łk 8:50) oraz **вѣрѣи** => **вѣрѣи** (Mk 5:36); **помиаѣи** (Łk 18:39) oraz **помиаѣи** => **помиаѣи** (Mt 9:27); **не бойса** (Łk 12:32; J 12:15) oraz **не бойса** => **не бойса** (Mk 5:36), która dla EJ stanowi językową normę.

Czasowniki atematyczne **вѣдѣти** oraz **ѣсти** nie zostały poświadczane w żadnym ze starodruków, a **имѣти** (2 użycia: Łk 14:18, Łk 14:19) tworzy imperativus 2 os. sg. na wzór czasowników tematycznych, np.: **имѣи** => **имѣи** (Łk 14:19) lub też wariantywnie w BO **имѣи** (Łk 14:18). W związku z tym, że imperativus czasownika **быти** tworzony był nie od tematu praesentis, a od futurum, jego formy zostaną scharakteryzowane poniżej.

Na uwagę zasługuje 2 os. sg. imperativu czasownika atematycznego **дати**, który w BO poświadczony został w formie zarówno zgodnej ze scs. wzorcem, por.: **дажѣи** => **дажѣи** (J 4:10, 4:15) – odnotowano 17 użyć, co stanowi 68%, jak i nowiej, z dyspalatną spółgłoską **д**, por.: **даждѣи** => **даждѣи** (Mt 6:11, Łk 14:9), **въздаждѣи** => **воздаждѣи** (Łk 16:2), **дажѣи** => **даждѣи** (J 4:7, 9:24) – odnotowano 5 użyć, co stanowi 20%. EJ pod

⁵ Szerzej na temat grafemu **й** zobacz 2 os. pl. oraz przypis 9.

tym względem zachowuje pełną zgodność ze scs. paradygmatem koniugacyjnym. Dodatkowo, zarówno w BO, jak i EJ poświadczone zostały 3 formy (około 12%) typu дай => дай (Mt 5:42), раздай => роздай (Łk 18:22), дай (Łk 6:30) będące rezultatem wpływu imperativu czasowników III klasy. Jak stwierdza B.B. Иванов, forma дай odnotowana została w zabytkach religijnych bardzo wcześnie. Jej ślady odnaleźć można w *Ewangeliarzu Ostromira* (1056–1057)⁶. Na wzór scs. czasowników atematycznych typu дати rozkaznik 2 os. sg. tworzony był przez czasownik klasy IV z tematem -i-: виждь (Mk 11:21).

Tabela 2

	Temat	Scs.	BO/EJ
3 os. sg.	I, II III IV V	-и -и -и, -ь -ь	да + verbum

W związku z tym, że imperativus dla 3 os. sg. (tab. 2) był tożsamy z 2 os. sg.⁷ zaistniała potrzeba rozróżnienia homonimicznych form [Иванов 1983: 357]. Dlatego też rozkaznik 3 os. został zastąpiony przez formy opisowe składające się z czasu teraźniejszego/przyszłego czasownika i poprzedzającej go partykuły да, por: да пойметъ => да пойметъ (Mk 12:19), да не почитетъ => да не почититъ (Mt 15:6), да слышитъ (Mk 4:9), да прїидетъ [...] и піетъ (J 7:37), да дастъ (Mt 5:31), да [...] никтоже плода снѣсть (Mk 11:14). Wyjątek stanowi czasownik быти (por. niżej) oraz jeden zapis zarejestrowany przez starodruki w scs. formie вързи => верзи: иже есть вѣзъ грѣха вѣ васъ, прежде верзи камень на ню (EJ, J 8:7).

Tabela 3

	Klasa	Temat	Scs.	BO/EJ
1 os. pl.	I III/IV V	-o-/-e- -jo-/-je-; -i- -ø-	-ѣ-мъ -и-мъ -и-мъ	-ѣ-мъ -и-мъ —

Zaobserwowane zmiany w stosunku do scs. wzorca dotyczą czasowników klasy I, które pod wpływem 3 os. sg. indicativu [Кузнецов 1953: 280] utworzyły formę imperativu wyłącznie za pomocą sufiksu -ѣ⁸, por.: идемъ (Mk 1:38), преидемъ => преидемъ (Łk 8:22, 2:15), оубїемъ (Mt 21:38, Mk 12:7). W związku z tym, wyodrębnienie rozkaznika możliwe jest wyłącznie na podstawie kontekstu. Nieliczne formy 1 os. pl. (tab. 3) pozostają wierne scs. wzorcom, por.: веселимъ (Łk 15:23), сътворимъ => сотворимъ

⁶ Co więcej, w wielu czasownikach klasy IV forma ta była zbieżna z formą aorystu.

⁷ K.B. Горшкова uważa, że forma 3 sg. z końcówką -и pojawiała się w tekstach wyłącznie w sytuacji, kiedy w funkcji podmiotu występował rzeczownik oznaczający „boską siłę”: Господь, Богъ [Горшкова, Хабыраев 1981: 313].

⁸ Różnicy w momencie powstawania starodruków między ѣ i е już nie było: ѣ wymawiano jak е [Изотов 2007: 72]. Zapis ten można więc traktować jako zmianę graficzną, a nie gramatyczną.

(Mk 9:5), **видимъ** (Łk 2:15). Czasowniki atematyczne w 1 os. pl. imperativu nie znalazły poświadczenia w starodrukach. Jednak najczęściej, jak rejestrują to poddane analizie teksty ewangeliczne, forma 1 os. pl. imperativu tworzona była w sposób opisowy, por.: **да оумремъ** (J 11:16), **да вна видемъ** => **да въ на видемъ** (Mk 5:12), **да не съблазнимъ** => **да не соблазнимъ** (Mt 17:27), **да видимъ** (J 6:30).

Tabela 4

	Klasa	Temat	Scs.	BO	EJ
2 os. pl.	I, II	-o-/-e-	-ѣ-те	-ѣ-те	-и-те/-ы-те
	III	-jo-/-je-	-и-те	-и-те/-й-те, -ѣ-те	-и-те/-й-те
	IV	-i-	-и-те	-и-те	-и-те
	V	-ø-	-и-те	-и-те	-и-те/-й-те

Imperativus 2 os. pl. (tab. 4) czasowników I i II klasy utworzony został w BO według scs. wzorca – tylko za pomocą sufiksu **-ѣ-**, natomiast w EJ wykorzystany został sufiks **-и-**, będący efektem procesu wyrównawczego, który nastąpił w obrębie czasowników klasy III/IV oraz I/II, por.: **приведѣте** => **приведите** (Mk 9:20), **съверѣте** => **соверите** (Mt 13:30), **идѣте** => **идите** (Mt 8:32), **прїидѣте** => **прїидите** (J 21:12), **внидѣте** => **внидите** (Mt 7:13), **принесѣте** => **принесите** (J 2:8), **вверсѣте** => **вверзите** (Mt 22:13), **призовѣте** => **призовите** (Mt 22:9), **възмѣте** => **возмите** (Mt 11:29), **ѡрасѣте** => **ѡрасите** (Mt 10:14), **блюдѣтеса** => **блюдитеса** (Mk 12:38); **ѡстанѣте** => **востаните** (Mt 26:46). Jak odnotowuje B.B. Иванов [1983: 357], proces ten można zaobserwować już w XIII-wiecznych zabytkach. Analogiczne wyrównanie między koniugacjami, jednak tym razem zastąpienie końcówki **-и-те** końcówką **-ѣ-те**, poświadczone zostało w BO w zapisie imperativu czasowników klasy III (por. niżej).

W czasownikach klasy I, w których temat zakończony był na tylnojęzykowe *k* w wyniku II palatalizacji nastąpiła alternacja spółgłoskowa *k* => *c'* (w BO) i *k* => *c* (w EJ), por.: **руѣте** => **ручите** (Mk 16:7) (ps. **rek-tei*), **не пеѣтеса** => **не пецитеса** (Mt 6:31) (**pek-tei*), **таѣѣте** => **толците** (Łk 11:9) (**telk-tei*), **облеѣте** => **облеците** (Łk 15:22) (**vlek-tei*). Również w zapisie tych czasowników zauważalny jest wpływ końcówek klasy III: scs. sufiks **-ѣ-те** został zastąpiony początkowo przez sufiks **-и-те**, który w wyniku stwardnienia **ц**⁹ w XVIII-wiecznym EJ pojawił się w formie **-ы-те**.

Czasowniki klasy III w BO zostały poświadczone zarówno ze scs. końcówką **-и-те**, np.: **не плачитеса** (Łk 8:52), **сѡажите** (Mt 13:30), **стѡажите** (Mt 10:9), **ищите** (Łk 12:31), **покажите** (Mt 22:19), jak i **-ѣ-те**, będącą efektem wpływu form czasowników klasy I/II. EJ konsekwentnie zachowuje we wszystkich formach scs. końcówkę **-и-те**, por.: **ищѣте** => **ищите** (Mt 7:7), **вънемѣте** => **внеманите** (Mt 6:1), **почрѣпѣте** => **почерпите** (J 2:8). Na uwagę zasługuje czasownik **искати**, który w BO zaświadczony został również w formie **ищате** => **ищите** (Łk 11:9) (**skj* => *šč* => *št*) z sufiksem **-а-** na miejscu scs. **-и-**. Sufiks **-а-** powstał z **-ѣ-** [ě], które po spółgłoskach palatalnych mogło przejść w **а** [’ā]. Natomiast pojawienie się sufiksu **-ѣ-** na miejscu **-и-** w czasowniku klasy III jest wynikiem

⁹ Proces ten zakończył się najprawdopodobniej w XVI wieku [np. Галинская 2009: 120].

wpływu form fleksyjnych czasowników klasy I/II. Zapisy imperativu czasowników III klasy z sufiksem *-а-* były odnotowywane już w tekstach scs. z XI wieku [Селищев 1952: 179–180].

BO obok powszechnie występujących scs. końcówek *-и-те* w czasownikach III klasy, por.: *вѣгаи́те* => *вѣгаи́те* (Mt 10:23), *покаи́теса* => *покаи́теса* (Mk 1:15), *не о҃жасани́теса* => *не о҃жасани́теса* (Mk 16:6), *почиваи́те* => *почиваи́те* (Mt 26:45), *обѣдаи́те* => *обѣдаи́те* (J 21:12), *разгма́и́те* => *разгма́и́те* (Mt 15:10) *деи́те* => *деи́те* (Łk 19:13, J 12:7), *не бои́теса* => *не бои́теса* (Mt 17:7), *не о҃бойтеса* => *не о҃бойтеса* (Mt 10:28), odnotowuje 5 pojedynczych zapisów, w których sufiks *-и-* został zastąpiony przez literę ze znakiem diakrytycznym *-й-*: *не ос҃жаи́те* => *не ос҃жаи́те* (Łk 6:37), *не помѣтаи́те* (Mt 7:6), *подвижаи́теса* (Łk 13:24), *поминаи́те* (J 15:20), *сѣблюдаи́те* => *сѣблюдаи́те* (Mt 23:3) oraz 4 wariantywne zapisy z sufiksem *-и-* lub *-й-*. W EJ konsekwentnie występuje *-й-*, por.: *вѣржаи́те* (J 12:36), ale też *вѣржаи́те* => *вѣржаи́те* (J 10:38); *дрѣжаи́те* => *дрѣжаи́те* (J 16:33) oraz *дрѣжаи́те* => *дрѣжаи́те* (Mt 14:27); *не бои́теса* (J 6:20) oraz *не о҃бойтеса* => *не о҃бойтеса* (Mk 6:50); *не о҃бойтеса* (Łk 12:4) oraz *не о҃бойтеса* => *не о҃бойтеса* (Łk 21:9). Powyższą niejednorodność zapisów można tłumaczyć tym, że w XVI wieku grafem *й* nie wszedł jeszcze na stałe do systemu graficznego języka cs. ruskiej redakcji¹⁰, a tym samym nie stanowił językowej normy, jak ma to już miejsce w XVIII-wiecznym EJ.

Formy 2 os. pl. czasowników klasy IV w obu starodrukach pozostały wierne wzorcom scs., por.: *види́те* (J 4:29), *нао҃читеса* => *нао҃читеса* (Mt 11:29), *зако́лите* (Łk 15:23), *проси́те* (Mt 7:7), *исправи́те* (J 1:23), *твори́те* (Łk 3:4), *не с҃дите* (J 7:1), *любите* (Łk 6:35), *вди́те* (Mk 13:33), *слыши́те* (Mt 15:10).

Również czasowniki atematyczne w 2 os. pl. zachowują scs. formy, por.: *и́дите* (Mk 14:22), *сѣди́те* (Mt 26:36), *вѣди́те* (Łk 22:31). Różnica dotyczy czasownika *имѣти*, a dokładniej zamiany *и* na *й* w EJ. W BO czasownik ten na wzór czasowników tematycznych występuje wyłącznie z sufiksem *-и-*, por.: *имѣи́те* => *имѣи́те* (Mk 9:50), w odróżnieniu od 2 os. sg., której forma pojawiała się wariantywnie *-и/-й* (por. wyżej). Obok scs. form *дади́те* (Mt 16:28), *въздади́те* => *воздади́те* (Mt 22:21) w BO i EJ pojawia się nowszy zapis w formie *даи́те* (Łk 6:35), *даи́те* => *даи́те*¹¹ (Łk 6:38), wprowadzony najprawdopodobniej w celu nadania mu podniosłości, uroczystego brzmienia, jak też użyskania rytmizacji, płynności tekstu pod wpływem wcześniej użytych form z sufiksem *-й-*, por.: *не ос҃жаи́те* => *не ос҃жаи́те* oraz *ѿп҃сцаи́те* => *ѿп҃сцаи́те*. И не с҃дите, и не с҃даѡ́тъ вамъ: и не ос҃жаи́те, да не ос҃ж҃дени б҃дете: ѿп҃сцаи́те, и ѿп҃сстаѡ́тъ вамъ. Даи́те, и дастса́ вамъ (EJ, Łk 6:37–38).

Staro-cerkiewno-słowiańska syntetyczna forma 1 os. du. trybu rozkazującego nie została poświadczona w starodrukach. Jej miejsce zajmuje forma opisowa: partykuła *да* w połączeniu z czasownikiem w 1 os. du. trybu oznajmującego (tab. 5). Różnica między

¹⁰ Grafem *й* znalazł się w powszechnym użyciu dopiero w XVII wieku, w wyniku reform przeprowadzonych przez patriarchę Nikona (1652–1658) [Hegedüs 2005: 29–54]. Szerzej o historii *й* w zachodnioruskiej tradycji piśmienniczej pisze A. Булыка [1970: 53–56].

¹¹ Formy te powstały pod wpływem czasowników klasy III (z tematem na *-jō/-jě-* typu *знаи, читаи*) [Иванов 1983: 359].

Tabela 5

	Klasa	Temat	Scs.	BO	EJ
1 os. du.	I III, IV V	-o-/-e-, -jo-/-je-, i- -ø-	-ѣ-вѣ -и-вѣ -и-вѣ	да + verbum -ѣ-вѣ —	да + verbum -ѣ-ва —

starodrukami polega na tym, że w EJ verbum występuje z nową końcówką cs. -ва, a BO kontynuuje scs. fleksję -вѣ, por.: да сѡдѣвѣ => да сѡдѣва (Mk 10:37). Pojawienie się а na miejscu ѣ w formach trybu oznajmującego można zapewne tłumaczyć zakorzenionym już w religijnym języku XVIII wieku podziałem fleksji w zależności od rodzaju: -ва dla rodzaju męskiego, а -вѣ dla żeńskiego oraz nijakiego [Изофов 2007: 62]. W przytoczonym przykładzie mowa jest o Jakubie i Janie, czyli osobach płci męskiej, którzy proszą Jezusa, aby zasiedli w Jego chwale, „jeden po prawej, а drugi po lewej stronie” (Mk 10:37). Z kolei zamiana scs. sufiksu -ѣ- na -ѣ- jest wynikiem zastąpienia trybu rozkazującego formą trybu oznajmującego, co miało miejsce również w przypadku 1 os. pl. (por. wyżej).

Tabela 6

	Klasa	Temat	Scs.	BO	EJ
2 os. du.	I III, IV V	-o-/-e- -jo-/-je-, i- -ø-	-ѣ-та -и-та -и-та	-ѣ-та -ѣ-та —	-и-та -и-та/-ѣ-та —

Język BO i EJ dokumentuje następujące użycia dualisu w 2 os. (tab. 6): klasa I при-вѣдѣта => приведита (Mk 11:2); градѣта => градита (Mt 4:19); блудѣта => блудита (Mt 9:30); приидѣта => приидита (J 1:39); идѣта => идита (Mt 14:13, Mk 11:2) oraz идѣта (Łk 22:10), идита (Mt 21:2); рцѣта => рцита (Mk 11:3) oraz рцѣта (Łk 22:11); klasa III/IV оуготованѣта => оуготовайта (Łk 22:12), видѣта => видита (J 1:39).

W EJ imperativus 2 os. du. tworzony jest za wyjątkiem dwóch przykładów (идѣта, рцѣта) z wykorzystaniem nowego sufiksu -и-/-ѣ-, doprowadzając tym samym do unifikacji form bez zróżnicowania na klasy, podczas gdy w BO zachowuje on scs. formę – odstępstwo stanowi pojedynczy przypadek идита. Czasowniki atematyczne вѣдѣти, іасти, дати, имѣти nie znalazły poświadczenia w poddanym analizie materiale.

Wśród zachowanych w starodrukach form dualisu na uwagę zasługuje między innymi pojedynczy zapis, w którym na miejscu opisowej formy trybu rozkazującego złożonej z partykuły да oraz oczekiwanej 3 os. du. czasownika czasu teraźniejszego/przyszłego ze scs. końcówką -ѣ-тѣ, w BO występuje partykuła да, wprowadzając w połączeniu z czasownikiem w 3 os. du., jednak z wariantywną końcówką -ѣ-та¹². W EJ forma praesentis została zapisana nie z scs. fleksją -тѣ, а -тѣ: да ѿверзетасѣ очи => да ѿверзѣтѣсѣ очи

¹² Zjawisko zastępowania końcówki 3 os. du. -тѣ przez końcówkę -та znane jest z najstarszych zabytków scs. W *Kodeksie Supraskim* (XI wiek) i *Księdze Sawy* (XI wiek) formy z -тѣ nie występują w ogóle [Ремнева 2004: 245, Елкина 1960: 159]. А. Меѣ [2001: 261] stwierdza, że końcówka -тѣ była używana przede wszystkim przez pierwszych tłumaczy scs. tekstów, natomiast zakończenie -та zostało wprowadzone przez kopistów przepisujących *Kodeks zografski* (X–XI wiek) oraz *Kodeks Assemaniego*

(Mt 20:33). Zastąpienie w EJ końcówki *-тѣ* fleksją *-тѣ* związane jest, jak to miało miejsce w formach 1 os. du. *-ва* => *-вѣ* (por. wyżej), z podziałem fleksji ze względu na rodzaj: *-тѣ* dla rodzaju męskiego oraz *-тѣ* dla rodzaju żeńskiego i nijakiego.

Kolejny warty odnotowania zapis imperativu pojawiający się w BO i EJ dotyczy słów Jezusa wypowiedzianych do dwóch uczniów z użyciem czasownika *речѣта*: *И аще вама кто речѣтъ что, речѣта, яко гдѣ ею требѣтъ* (Mt 21:3). W przytoczonym przykładzie na miejscu oczekiwanej formy imperativu *рѣцѣта* (2 du.) pojawia się czasownik w 2 os. du., jednak czasu teraźniejszego/przyszłego.

Te nieliczne użycia form dualisu nieznanujące już odzwierciedlenia w języku potocznym sprawiły, że zarówno BO, jak i w EJ odnaleźć można liczne przykłady ich zamiany przez 2 os. pl., por.: słowa anioła skierowane do Marii Magdaleny i Marii, które przyszły na grób Jezusa: zamiast scs. *не вѣстасѣ* występuje *не вѣстасѣ* => *не вѣстасѣ* (Mt 28:5), na miejscu scs. *прѣидѣтъ* występuje *прѣидѣте* => *прѣидѣте* (Mt 28:6), zamiast scs. *видѣта* pojawia się *видѣте* (Mt 28:6), na miejscu scs. *рѣцѣта* odnotowujemy *рѣцѣте* => *рѣцѣте* (Mt 28:7); słowa Jezusa wypowiedziane do dwóch uczniów: scs. *идѣта* zastąpione zostaje formą *идѣте* => *идѣте* (Łk 19:30).

Starodruki odnotowują również pojedynczy przypadek, w którym korektorzy EJ usuwają agramatyzm polegający na błędnym użyciu w BO liczby mnogiej na miejscu oczekiwanej liczby podwójnej. W słowach Jezusa skierowanych do Piotra i Jana nieprawidłowo pojawiająca się w BO forma imperativu liczby mnogiej zostaje zastąpiona w EJ przez imperativus w 2 os. du.: *оуготованте* => *оуготовайте* (Łk 22:8). W tym wypadku można mówić o rewizji tekstu, mającej na celu wprowadzenie poprawności gramatycznej.

Czasownik atematyczny *выти*, w języku scs. jako jedyny posiadający wszystkie formy osobowe trybu rozkazującego, tworzył je nie za pomocą charakterystycznego sufiksu, a od tematu *futurum* (tab. 7):

Czasownik *выти* pomimo tworzenia 2 i 3 os. sg. w sposób tradycyjny (9 użyć), por.: *бѣди тамо дондеже рѣкѣ ти* => *бѣди тамъ дондеже рѣкѣ ти* (Mt 2:13), *бѣди вола твоѣ* => *бѣди вола твоѣ* (Mt 26:42), *якоже вѣроваѣ бѣди тебѣ* (Mt 8:13), *бѣди миѣ по глѣ твоѣмѣ* (Łk 1:38), *бѣди тебѣ якоже хоцѣши* (Mt 15:28), tworzy imperativus również opisowo, por.: *да бѣдетъ вола твоѣ* (Mt 6:10, Łk 11:2), *да бѣдетъ и внѣшнее има чисто* (Mt 23:26). Frekwencja użycia form tradycyjnych w odniesieniu do peryfrastycznych jest trzy razy większa.

W starodrukach formy dualne czasownika *выти* nie zostały zarejestrowane. Ich miejsce zajęły formacje pluralne, por.: *по вѣрѣ ваю бѣди вама* (Mt 9:29) – dualis został zamieniony przez pluralis w odniesieniu do dwóch ślepców.

Zarejestrowane w BO tradycyjne dla 2 os. pl. formy z sufiksem *-ѣ* zostały zastąpione w EJ przez zapis z sufiksem *-и*, będący efektem wyrównania między koniugacjami (między czasownikami klasy III/IV i I/II, zob. imperativus 2 os. pl.), por.: *бѣдѣте готови* => *бѣдите готови* (Mt 25:16), *не бѣдѣте* => *бѣдите* *якоже лицемѣри* (Mt 6:16). BO rejestruje również 2 zapisy typu *бѣдѣте* => *бѣдите* (Mt 6:16), *прѣбѣдѣте* => *прѣбѣдите*

(XI wiek). Co więcej, w języku cs. formy 2 i 3 os. du. trybu oznajmującego zaczęły mieć tożsame fleksje [Изотов 2007: 62].

Co więcej, forma opisowa imperativu, używana przede wszystkim do tworzenia 1 os. sg. oraz 3 os. pl. została rozszerzona również na inne formy osobowe czasowników tematycznych i atematycznych, które tworzyły tryb rozkazujący w sposób tradycyjny, za pomocą sufiksów, por.: 3 sg. да творить (Łk 3:11), да сѣтица има твоє (Łk 11:2), да явится (J 1:31), да не погибнетъ (J 6:12), да прїидетъ (J 7:37), да нѣчто дастъ => да нѣчто дастъ (J 13:29), да подасть => да подасть (Łk 3:11), да дастъ (Mt 5:31), да не оумѣсть (Mt 6:3), да просвѣтитца (Mt 5:16), да оумрет => да оумретъ (Mt 15:4).

да не разлѣчаетъ (Mk 10:9); 2 pl. да вѣржете (J 6:29); 2 du. да ѡверзетася очи => да ѡверзетѣся очи (Mt 20:33), да оумлѣчитъ => да оумолчитъ (Mt 20:31).

Analiza porównawcza form rozkaznika wyekscerpowanych z dwóch cerkiewnosłowiańskich tekstów ewangelicznych wykazała, że pomimo ich przynależności do jednej, ruskiej redakcji piśmienniczej sposób tworzenia imperativu nie zawsze pozostaje jednakowy. Efektem odnotowanych zmian jest przede wszystkim unifikacja fleksji (w szczególności 2 os. pl. czasowników I/II oraz III/IV klasy), usunięcie wariantowości, charakterystycznej w szczególności dla języka BO, oraz likwidacja kłopotliwego zjawiska homonimii (scs. 2 os. sg. = 3 os. sg.). Wszystkie te zabiegi doprowadziły w konsekwencji do uproszczenia sposobu tworzenia form trybu rozkazującego.

Przez długi czas, będąc pierwszym drukowanym wydaniem słowiańskiego Pisma Świętego, BO była traktowana jako podstawowy, obowiązujący wzorzec dla innych prawosławnych wydawców Pisma Świętego i służyła za podstawę kolejnych cerkiewnosłowiańskich wydań [Алексеев 1990, 48–73]. Jednak upływ czasu, a przede wszystkim otoczenie i rozwój języka mówionego sprawiły, że język cerkiewnosłowiański ruskiej redakcji również ulegał różnego rodzaju transformacjom.

Bibliografia

- Brajerski, T. (1977). *Язык старо-церковно-славянский*. Lublin.
- Hegedüs, I. (2005). *Корректурные экземпляры московских богослужебных книг: орфография*. *Studia Russica* 22, c. 29–54.
- Janda, L.A., Eckhoff, H.M., Nessel, T. (2013). *Being and Becoming in Old Church Slavonic: Grammatical and Constructional Profiles of byti*. [Online] <<http://ansatte.uit.no/laura.janda/mypubs/BYTIsubmission.pdf>>. Dostęp: 3.01.2014.
- Kurianowicz, M. (2012). *Początki drukowanej Biblii słowiańskiej na terenie Rusi Moskiewskiej*. *Acta Polono-Ruthenica* 17, s. 27–35.
- Moszyński, L. (2006). *Wstęp do filologii słowiańskiej*. Warszawa.
- Rieger, J. (1989). *Z dziejów języka rosyjskiego*. Warszawa.
- Алексеев, А.А. (1990). *Место Острожской Библии в истории славянского текста Священного Писания*. W: *Острожская Библия. Сборник статей*. Москва, s. 48–73.
- Булыка, А. (1970). *Розв'язці арфаграфічної сістєми старобеларуської мови*. Мінск.
- Вайан, А. (1952). *Руководство старославянскому языку*. Москва.
- Галинская, Е.А. (2009). *Историческая фонетика русского языка*. Москва.
- Горшкова, К.В., Хабургаев, Г.А. (1981). *Историческая грамматика русского языка*. Москва.
- Елкина, Н.М. (1960). *Старославянский язык*. Москва.
- Иванов, В.В. (1983). *Историческая грамматика русского языка*. Москва.
- Изотов, А.И. (2007). *Старославянский и церковнославянский языки. Грамматика, упражнения, тексты*. Москва.
- Исаевич, Я.Д. (1990). *История создания Острожской Библии*. W: *Острожская Библия. Сборник статей*. Москва, s. 3–17.
- Кузнецов, П.С. (1953). *Историческая грамматика русского языка. Морфология*. Москва.
- Мейе, А. (2001). *Общеславянский язык*. Москва.
- Ремнева М. Л. (2004). *Старославянский язык*. Москва.
- Селищев, А.М. (1952). *Старославянский язык. Часть II*. Москва.

Summary

Modernization of Imperative Forms in Two Church Slavonic Printed Gospels

The aim of the article is the imperative analysis of two Slavonic Gospels: the first complete printed edition of the Church Slavonic Bible – *The Ostrog Bible* (1581) and the 18th century altar Gospel (1771) printed in Kiev Pechersk Lavra but kept in Orthodox monastery in Jabłeczna (south-east Poland).

The comparison of these two texts on linguistic level permits to ascertain, that over two hundred years Church Slavonic imperative forms have changed. While *The Ostrog Bible* is settled in Cyrilo-Methodian writing tradition, the younger Jabłeczyńska Gospel presents modernization of imperative forms toward unification, reduction and avoiding homonymic conflict.

Magdalena Makowska

Katedra Filologii Germańskiej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

POKAŻ MI SVOJE LOGO – LOGO MIAST JAKO PŁASZCZYZNA WIZUALNA

Key words: text linguistics, text-picture relation, multimodal text

Chcąc odpowiedzieć na pytanie o to, w jaki sposób nawiązuje się relacja między człowiekiem a przestrzenią publiczną, w której on żyje, nie można pominąć faktu, że w ciągu ostatnich lat w sposób niezwykle dynamiczny zmienia się to, jak – to znaczy przy użyciu jakich środków (językowych, wizualnych, akustycznych itp.) – owa przestrzeń publiczna jest kształtowana. Współcześnie przestrzeń publiczna przemawia nie tylko dzięki środkom czysto językowym, ale w coraz większym stopniu posługuje się także komunikatami multimodalnymi, a zatem takimi, których twórcy wykraczają poza granice kodu werbalnego i sięgają po zdjęcia, grafiki czy szeroko rozumiany design [por. Antos, Spitzmüller 2007; Bucher 1996]. W efekcie swoistego przełomu wizualnego, określanego też jako *pictorial turn* [Mitchell 1995; Mirzoeff 1998; Sachs-Hombach/Schirra 2003], komunikat pojawiający się w przestrzeni publicznej i kierowany do osób funkcjonujących w tej przestrzeni nabiera cech komunikatu multimodalnego. Treści, których staje się on nośnikiem, są zamknięte tak w warstwie słownej, operującej znakami językowymi, jak i w warstwie obrazowej, wykorzystującej motywy graficzne. Równoczesne wykorzystanie obu modalności sprawia, że kierując się zasadą ekonomizacji percepcji można w sposób bardziej kompleksowy, ale też efektywniejszy i atrakcyjniejszy dla odbiorcy przekazać daną treść – mając też na uwadze to, by nie tylko została ona zapamiętana, ale także wywołała w odbiorcy określone emocje, które temu zapamiętaniu, a przez to także identyfikowaniu się z daną treścią będą sprzyjały.

Ten swoisty dialog multimodalny, w którym uczestniczą tekst i obraz, można zaobserwować w przypadku wielu elementów przestrzeni miejskiej. Dworce, lotniska, hotele czy na przykład punkty informacji turystycznej coraz powszechniej operują komunikatami multimodalnymi, by o swojej ofercie informować w sposób jak najbardziej kompleksowy. Przekonanie o coraz większej popularności i obecności w przestrzeni publicznej tekstów werbalno-ikonicznych skłoniło Hansa-Jürgena Buchera do uznania

multimodalności za uniwersalium, charakterystyczne dla czasów przełomu medialnego [por. Bucher 2010].

Jednym z elementów przestrzeni publicznej, mających cechy komunikatu multimodalnego, z całą pewnością może być logo miasta. Coraz więcej miast tworzy własne logo, które – obok oficjalnego herbu miasta – staje się elementem współtworzącym lokalną tożsamość i wykorzystywanym między innymi w celach promocyjnych. Analiza lingwistyczna współczesnych logo miast, uwzględniająca ich kompozycję oraz sposób ich percepcji/recepcji, koncentruje się na następujących kwestiach:

1. Jakie elementy kompozycyjne składają się na logo miejskie?
2. Jaką rolę w logo miejskim pełnią współtworzące je modalności: tekst – obraz – typografia?
3. Czy logo miejskie może być traktowane jako płaszczyzna wizualna?
4. Jak przebiega percepcja/recepcja tekstu multimodalnego, jakim jest logo miejskie?

Poszukując odpowiedzi na pytanie o to, czy logo miejskie może być traktowane jako przykład relacji tekst-obraz, należy uświadomić sobie fakt, że współcześnie w przestrzeni publicznej coraz rzadziej ma się do czynienia z takimi komunikatami, które operują tylko jednym rodzajem modalności. Zdaniem Hartmuta Stöckla tekst czysto językowy, a zatem taki, w którym sięga się tylko po środki językowe, coraz częściej jest postrzegany w kategoriach wyjątku od reguły, podczas gdy regułą jest posługiwanie się właśnie tekstami multimodalnymi [por. Stöckl 2004a: 7]. Fakt ten należy traktować jako bezpośrednią konsekwencję intensywnego rozwoju nowych technologii informacyjnych. Elementy graficzne pojawiają się obok elementów językowych, a czasem także w ich zastępstwie, by ułatwić odbiór danego komunikatu, uczynić go bardziej uniwersalnym.

Ta zmiana w powszechnym rozumieniu tego, jak sterować przepływem informacji, by zwiększyć ich efektywność i efektowność, stanowi także niemałe wyzwanie dla badań lingwistycznych nad tekstem. U swojego zarania lingwistyka tekstu operowała bowiem takim pojęciem tekstu, które było skoncentrowane na spójnych semantycznie i gramatycznie elementach językowych, stanowiących zamkniętą całość o określonej funkcji. Od tamtego czasu, to znaczy od lat sześćdziesiątych w Europie i siedemdziesiątych w Polsce, pojęcie tekstu ewoluowało [por. Bilut-Homplewicz, Czachur, Smykała 2009]. Współcześnie tekst rozumie się szeroko, holistycznie, w pewnym sensie jako znak, i umiejscawia się go wśród wielu innych modalności, takich jak obraz, dźwięk czy nawet typografia [por. Stöckl 2004b: 6]. Wśród badaczy tekstu, którzy bez wątpienia dostrzegają nie tylko potrzebę, ale wręcz konieczność operowania szerokim pojęciem tekstu, toczy się obecnie dyskusja między innymi nad tym, jaki status należy przypisać obrazowi i czy odchodząc od rozumienia tekstu jedynie jako komunikatu werbalnego, pojęciem *tekst* można objąć także to, co obrazowe. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na dyskusję toczącą się między dwoma badaczami tekstu: Ulrichem Schmitzem i Hartmutem Stöcklem.

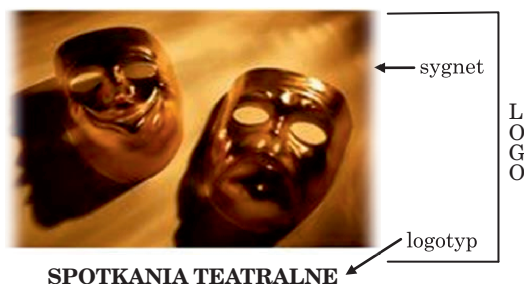
Ulrich Schmitz przekonuje, że nie można dłużej pozostawać „blind für Bilder” – „ślepy na obraz” [Schmitz 2005; tłum. M.M.], dostrzegając tym samym potrzebę objęcia refleksją lingwistyczną nie tylko elementów językowych, ale także współistniejących z nimi elementów obrazowych. Autor wskazuje jednocześnie na to, że w jego rozumieniu

tekst i obraz to ciągle dwie osobne modalności. Stąd też konsekwentnie operuje pojęciem powiązań tekstu i obrazu, określanych jako „Text-Bild-Gefüge” [Schmitz 2003, 2011a], i bezpośrednio nie przypisuje obrazowi statusu tekstowego. Autor dostrzega jednak konieczność traktowania komunikatów multimodalnych w sposób całościowy, będąc przekonany o ich spójności zarówno w warstwie semantycznej, funkcjonalnej, jak i strukturalnej. Stąd postulat, aby tego typu komunikaty, w których synergetycznie współlistnieją ze sobą elementy językowe i obrazowe, traktować jako swoiste „płaszczyzny wizualne”, określane przez U. Schmitza jako „Sehfläche” [Schmitz 2011b]. Składają się na nie teksty i obrazy, które z racji tego, że dzielą pewną wspólną przestrzeń, tworzą – zdaniem tego badacza – spójne jednostki znaczeniowe. Tak rozumiane *płaszczyzny wizualne* stają się swego rodzaju standardem, wynikającym między innymi z faktu, że ich użycie pozwala zarówno szybciej przyciągnąć uwagę odbiorcy, jak i efektywniej przekazać mu dane informacje. W kontekście tak rozumianej relacji tekst-obraz słuszne wydaje się być użyte przez Victora Lim Fei pojęcie „semantycznej multiplikacji” [Lim 2004: 127; tłum. M.M.], odnoszące się do faktu, że sens danego komunikatu, jego pełny przekaz stanowi coś więcej niż tylko sumę znaczeń, których nośnikiem są poszczególne elementy tego komunikatu.

Podzielając przekonanie Schmitza o wadze elementów obrazowych i ich wpływie na tworzenie spójnego przekazu, Hartmut Stöckl idzie w swoich rozważaniach dalej, czyniąc z elementów językowych i obrazowych równoważne elementy składowe tekstu całościowego [por. Stöckl 2005, 2006]. Dlatego też w swoich analizach powiązań elementów werbalnych i obrazowych H. Stöckl konsekwentnie posługuje się pojęciem tekstu językowo-obrazowego – „Sprache-Bild-Text” [Stöckl 2011]. Przekonanie o tym, że nie tylko elementom werbalnym, ale także elementom obrazowym przynależy status tekstu, powoduje, że Stöckl uchodzi współcześnie za jednego z orędowników *Bildlinguistik* [Klemm, Stöckl 2011]. Ta wciąż jeszcze nowa dziedzina badań lingwistycznych nie powinna jednak – w myśl jej propagatorów – ograniczać się tylko i wyłącznie do lingwistycznych badań obrazu, co mogłaby sugerować jej nazwa, ale przedmiotem swoich analiz winna uczynić wszelkie typy relacji, do jakich dochodzi między tym, co językowe, a tym, co obrazowe. Lingwistyka obrazu to zatem przede wszystkim lingwistyka relacji tekst-obraz; przedmiotem zainteresowań badawczych tej dziedziny lingwistyki są więc szeroko rozumiane teksty multimodalne, wykorzystujące elementy językowe i obrazowe.

Wydaje się, że logo miejskie doskonale wpisuje się w ten rodzaj komunikatu, który powstaje dzięki współdziałaniu tekstu i obrazu, i który – używając terminologii zaczerpniętej od Schmitza – można określić mianem *płaszczyzny wizualnej*. We współczesnej przestrzeni miejskiej logo wykorzystywane jest coraz częściej po to, by za jego pomocą zaistnieć w podświadomości mieszkańców miasta i osób je odwiedzających oraz prezentować promowane przez miasto wartości.

Na standardowe logo składają się zwykle dwa rodzaje względnie autonomicznych płaszczyzn: w warstwie czysto obrazowej jest to tak zwany sygnetyk, zaś w warstwie językowej – logotyp, czyli towarzysząca sygnetowi nazwa, przedstawiona za pomocą elementów językowych (rys. 1).



SPOTKANIA TEATRALNE

Rys. 1. Model struktury logo

Źródło: opracowanie własne.

Analiza korpusu, który stanowi 30 logo miast, dowodzi, że oba wspomniane elementy struktury logo tworzą spójną pod względem funkcjonalnym, semantycznym i komunikacyjnym całość. Coraz więcej miast wyposaża swoje logo także w dodatkowy motyw, jakim jest hasło promocyjne, które jest jednak na tyle wkomponowane w strukturę logo, że staje się jego integralnym elementem kompozycyjnym. W prezentowanym artykule zostanie omówionych siedem logo: Wrocławia, Bydgoszczy, Olsztyńska, Olsztyna, Wisły, Warszawy i Poznania.

Analizując logo Wrocławia (rys. 2) w kategoriach *plaszczyny wizualnej*, można zauważyć, że wyraźnie dają się w nim wyróżnić dwie subplaszczyny: subplaszczyna obrazu i umieszczona pod nią subplaszczyna tekstu. Obie subplaszczyny są ze sobą spójne, przy czym spójność tę osiągnięto dzięki temu, że subplaszczyna obrazu przypomina kształtem literę *w*, a zatem nawiązuje do pierwszej litery nazwy promowanego miasta. Spójność obu płaszczyn osiągnięto także dzięki warstwie mikrotypograficznej: subplaszczyna tekstu operuje kolorem czarnym, który powraca w subplaszczynie obrazu w postaci wzoru, nawiązującego do zabytkowego, wrocławskiego ratusza. Warto zwrócić uwagę także na to, że subplaszczynę obrazu charakteryzuje pewien rodzaj dynamizmu, osiągnięty mimo tego, iż logo jest obrazem statycznym. Dynamizm ten jest możliwy dzięki zastosowaniu takich elementów graficznych, które przypominają ślady pozostawione przez malarski pędzel. Przekaz płynący z tego logo jest następujący: Wrocław to miasto dynamiczne, spontaniczne, osadzone jednak w swojej tradycji i pamiętające o historii – czego dowodem jest nawiązanie do gotyckiego ratusza.



Rys. 2. Logo Wrocławia (projekt: Paweł Pawlak)

Źródło: [online] <<http://www.wroclaw.pl/herb-logo-barwy>>, dostęp: 4.01.2014.

W podobnym charakterze co logo Wrocławia utrzymane jest logo Bydgoszczy (rys. 3). Również w tym przypadku można wyróżnić dwie subpłaszczyzny. Subpłaszczyzna obrazu wykorzystuje barwy znane z flagi Bydgoszczy (czerwony, żółty i niebieski) i nawiązuje do tradycji historycznej miasta, ukazując zarys trzech bydgoskich spichrzy. Elementem spajającym obie subpłaszczyzny jest kolor czarny, którym operuje subpłaszczyzna tekstu i przy użyciu którego przywołano zarysy spichrzy. Gdy porówna się logo Wrocławia i Bydgoszczy, widać, że w pierwszym przypadku granica między subpłaszczyzną obrazu i tekstu jest starannie zachowana (w subpłaszczyźnie tekstu występuje pismo drukowane), zaś w przypadku logo Bydgoszczy płaszczyzna tekstu jest stylizowana w taki sposób, by nawiązywała do zarysów spichrzy, tworzących subpłaszczyznę obrazu.



Rys. 3. Logo Bydgoszczy

Źródło: [online] <http://www.transferbydgoszcz.pl/Do_pobrania_dla_mediow,82>, dostęp: 4.01.2014.

Podobnie jak logo Bydgoszczy, także logo Olsztynka (rys. 4) nawiązuje kolorystycznie do barw znanych z flagi miasta (kolory: niebieski, żółty i zielony). Subpłaszczyzna tekstu, na którą – podobnie jak we wcześniejszych przykładach – składa się tylko sam logotyp, operuje tym samym kolorem (niebieskim) co jeden z elementów subpłaszczyzny obrazu. Subpłaszczyznę obrazu tworzy wiatrak, jedna z atrakcji działającego w Olsztynku Muzeum Budownictwa Ludowego.



Rys. 4. Logo Olsztynka

Źródło: [online] <http://mangologo.blogspot.com/2012_01_01_archive.html>, dostęp: 4.01.2014.

Bezpośrednie nawiązanie do walorów miasta można odnaleźć także w logo Olsztyna (rys. 5). W jego prostej, czytelnej formie zawarto informację o tym, że Olsztyn łączy w sobie to, co tradycyjne, z tym, co naturalne. Za element przywołujący tradycję i historię można uznać zarys zamku (kolor ceglasty, nawiązujący do gotyckiego stylu zamku w Olsztynie), położonego w bezpośrednim sąsiedztwie przyrody (kolory zielony jako metaforyczny leksem lasów i niebieski jako leksem jezior). Nad zamkiem, a zatem także nad Olsztynem, góruje słońce (kolor żółty), jako znak optymizmu i radości. Pod względem kolorystycznym subpłaszczyzna obrazu wyraźnie dominuje nad subpłaszczyzną tekstu, którą tworzy prosty w formie i wyrazie (kolor szary) napis OLSZTYN.



Rys. 5. Logo Olsztyna (projekt: Ewa Gadomska)
Źródło: [online] <<http://www.olsztyn.eu/>>, dostęp: 4.01.2014.

Z kolei logo miasta Wisła (rys. 6) przełamuje opisywaną dotychczas autonomię obu subpłaszczyzn. Z uwagi na fakt, że nazwa *Wisła* może odnosić się zarówno do nazwy miasta, jak i nazwy rzeki, w logo dodatkowo pojawia się słowo *miasto*, wskazując jednoznacznie na fakt, że chodzi o logo miasta. Subpłaszczyzna tekstu, której elementem dodatkowym jest wspomniane słowo *miasto*, stylizowana jest w taki sposób, że częściowemu zatarciu ulega granica między nią a płaszczyzną obrazu: oto litera *w* w słowie *Wisła*, mijając graficznie literę *l*, płynnie przechodzi od subpłaszczyzny tekstu do subpłaszczyzny obrazu, stając się jej integralnym elementem, symbolizującym rzekę.



Rys. 6. Logo Wisły (projekt: DayLight)
Źródło: [online] <http://www.wisla.pl/Miasto,2/Barwy_miasta,15>, dostęp: 4.01.2014.

Szczególnie interesujące wydaje się być logo Warszawy (rys. 7). W tym przypadku trudno jednoznacznie wskazać granicę subpłaszczyzny obrazu i subpłaszczyzny tekstu. Tę pierwszą stanowi motyw syrenki, uchodzącej za jeden z nieodłącznych symboli Warszawy. W ten motyw wpisane jest hasło promujące miasto: *Zakochaj się w Warszawie*. W logo Warszawy nie występuje zatem tradycyjnie rozumiany logotyp – jego miejsce zajmuje hasło, którego elementem jest nazwa miasta. Warto zauważyć, że logo to w sposób spójny i nieprzypadkowy operuje kolorem. Nazwa miasta oraz syrenka prezentowane są z użyciem tego samego koloru, czyli niebieskiego, dzięki czemu podkreślona jest nierozzerwalność Warszawy i jej symbolu. Zarys włosów syrenki i trzymana przez nią tarcza są odpowiednio w kolorach żółtym i czerwonym, co stanowi dokładne nawiązanie do barw flagi Warszawy. W warstwie subpłaszczyzny tekstu logo operuje zwrotem *zakochaj się*.



Rys. 7. Logo Warszawy

Źródło: [online] <<http://symbole.um.warszawa.pl/>>, dostęp: 4.01.2014.

Na płaszczyźnie językowej bezpośredniość tego zwrotu została osiągnięta dzięki zastosowaniu formy trybu rozkazującego. Wzmocnieniu tego przekazu w warstwie graficznej służy użycie koloru czerwonego, który należy odczytać jako metaforyczny leksem słowa *miłość*. Logo Warszawy nie tylko nie operuje osobnym logotypem, ale hasło promujące Warszawę czyni integralnym elementem subpłaszczyzny obrazu. Obie subpłaszczyzny dysponują wspólnymi elementami, jakimi są dwie litery *w*: pierwsza to przyimek, druga – litera inicjalna słowa *Warszawie*. Litery te, które z racji bycia elementami językowymi przynależą do subpłaszczyzny tekstu, stają się jednak także integralnym elementem subpłaszczyzny obrazu, symbolizując łuski na syrenim ogonie. Logo Warszawy jest więc znakomitą przykładową tego, jak symbiotycznie potrafią współistnieć ze sobą tekst i obraz, tworząc spójny pod względem funkcjonalnym, semantycznym i komunikacyjnym przekaz, mający cechy płaszczyzny wizualnej.

Logo Poznania ma inny charakter niż dotychczas prezentowane przykłady relacji tekst-obraz (rys. 8). Logo to w sposób niestandardowy operuje subpłaszczyznami obrazu i tekstu, gdyż w tym przypadku logotyp jest stylizowany na sygnet. Za jedyny czysto obrazowy element tego logo można uznać gwiazdkę, która pojawia się nad drugą literą *n*



Rys. 8. Logo Poznania

Źródło: [online] <<http://www.poznan.pl/mim/sport/logo,p,161,17501.html>>,
dostęp: 4.01.2014.

w słowie *POZnań* i imituje tym samym znak zmiękczenia. Owa gwiazdka staje się jednak także znakiem odniesienia, zapowiadającym pojawienie się hasła reklamowego, jakim w przypadku tego logo jest **Miasto know-how*. Pojawienie się gwiazdki w tym logotypie można także interpretować w kategoriach budowania marki Poznania jako miasta z gwiazdką, a zatem symbolu określonej jakości, skuteczności i sukcesu¹. Logo Poznania operuje zatem dwoma elementami: logotypem *POZnań**, który dzięki zastosowanej mikrotypografii pełni jednocześnie funkcję subpłaszczyzny obrazu, oraz hasłem **Miasto know-how*. Elementami spójnościowymi są zarówno element kompozycyjny w postaci gwiazdki, jak i element mikrotypograficzny, jakim jest kolorystyka logo (tak logotyp, jak i hasło reklamowe utrzymane są w zbliżonej, niebieskiej kolorystyce). Przekaz płynący z tego logo jest jednoznaczny: Poznań to miasto nowoczesne i dynamiczne.

Percepcja tekstów multimodalnych, aranżowanych przy użyciu elementów językowych i obrazowych, przebiega w dość charakterystyczny sposób. Jej pierwszym krokiem jest zazwyczaj odbiór subpłaszczyzny obrazu, bo to obraz jest tym elementem, który najcelniej trafia do ludzkiego umysłu [por. Kroeber-Riel 1993: ix]. Nieprzypadkowo centrum każdego spośród analizowanych logo miast stanowi właśnie subpłaszczyzna obrazu. W kontekście tak zwanych infografik tę dominującą rolę elementów graficzno-obrazowych Stöckl tłumaczy tym, że obcowanie z tym, co graficzne, wiąże się z mniejszym wysiłkiem intelektualnym niż to ma miejsce w przypadku tekstów składających się tylko z elementów językowych [por. Stöckl 2012: 171]. Wynika to między innymi z faktu, że odbiorcy pozostawiona jest większa dowolność w sposobie obcowania z elementami składowymi danej płaszczyzny wizualnej. Może on interpretować poszczególne elementy w sposób bardziej elastyczny i zróżnicowany, koncentrując się na tym, co w danym momencie najbardziej go interesuje i najsilniej do niego przemawia. Logo jest zatem odczytywane w sposób selektywny i nielinearny. Stöckl zwraca jednak uwagę na fakt, że w przypadku infografik, które również cechuje nielinearność odbioru, można mówić o swoistej logice odbioru².

Mimo że każde logo miasta z założenia musi być inne, by w sposób jednoznaczny podkreślić unikatowość danego miasta, to sam sposób kreowania logo wydaje się podlegać określonym regułom, dotyczącym przede wszystkim struktury logo. Właśnie

¹ Autorzy kampanii promującej Poznań jako miasto know-how opracowali całą koncepcję wydobywania z przestrzeni miejskiej Poznania tych wszystkich firm i przedsięwzięć, które wiążą się z Poznaniem, współtworząc jego określony wizerunek. Gwiazdka znana z logo Poznania funkcjonuje zatem na co dzień w przestrzeni miejskiej.

² W tym kontekście Stöckl używa pojęcia *Leselogik* [Stöckl 2012: 183].

rozwiązania graficzne zastosowane w logo zdają się sugerować zarówno kolejność odczytywania elementów kompozycyjnych, jak i pewną logikę jego odczytu. Większość analizowanych logo ma strukturę wertykalną: subpłaszczyzna obrazu znajduje się nad subpłaszczyzną tekstu. W ten sposób sugeruje się odbiorcy, by poznając logo rozpoczął właśnie od subpłaszczyzny obrazu (rys. 1–5). Logo Wisły i Warszawy (rys. 6–7) stanowią przykład tego, że subpłaszczyzny obrazu i tekstu mogą być na tyle zintegrowane, że wzajemnie się przenikają, a elementy językowe nabierają cech materiału graficznego. W logo Wisły (rys. 6) uwagę odbiorcy skupia właśnie słowo *Wisła*, w przypadku którego posłużono się bardzo ciekawym rozwiązaniem z zakresu mikrotypografii: zarówno styl zastosowanej czcionki, jak i kolor pisma (niebieski jako metaforyczny leksem wody) przypominają krętą rzekę. Logo to ma wprawdzie strukturę wertykalną, ale tym razem wzrok odbiorcy koncentruje się na słowie *Wisła*, a zatem w dolnej części logo i – podobnie jak rzeka – ‘płyń’ ku górnej części logo. Z kolei w przypadku logo Warszawy (rys. 7) tym, co najsilniej przykuwa wzrok odbiorcy, zdaje się być kolor czerwony, który zastosowano zarówno w jednym z elementów subpłaszczyzny obrazu, jak we współtworzących subpłaszczyznę tekstu słowach *zakochaj się*. Odbiór tego logo przebiega zatem już nie wertykalnie, ale promieniście – wzrok odbiorcy najsilniej przykuje kolor czerwony, zastosowany w centralnej części logo, a dalszy odbiór logo przebiegać już będzie w sposób bardzo zindywidualizowany. Z kolei logo Poznania (rys. 8), które nie operuje tradycyjnie rozumianą subpłaszczyzną obrazu (zawierającą elementy obrazowe), a w jej miejscu wykorzystuje logotyp *POZnan** jako subpłaszczyznę tekstu, wskazuje odbiorcy sposób percepcji logo (od góry do dołu, od prawej do lewej), wykorzystując w tym celu gwiazdkę (*) jako odnośnik i zapowiedź pojawienia się hasła reklamowego.

Zaprezentowane logo miast wskazują, że miasta coraz częściej i w sposób coraz bardziej kreatywny budują swój wizerunek poprzez wymóg użycia określonego logo. Logo w tym sensie staje się elementem przestrzeni miejskiej, że jest wykorzystywane w celach promocyjnych miasta i służy budowaniu miejskiej marki, tak wśród mieszkańców, jak i wśród przyjezdnych. Logo staje się swoistym mikrotekstem [por. Blühdorn 2006], który w sposób niezwykle spójny łączy w sobie elementy językowe i obrazowe, tak by mogły być odbierane w pojedynczym akcie percepcyjnym, co bez wątpienia służy ekonomizacji percepcji, a tym samym lepszemu zapamiętaniu danego logo. Bez wątpienia logo miejskie może być traktowane w kategoriach *płaszczyzny wizualnej*, opisaney przez Schmitza. Wydaje się jednak, że w stosunku do logo zasadne jest także posłużenie się pojęciem *aranżacji przestrzennej*, zaproponowanym przez Buchera [por. Bucher 2010]. Wszystkie trzy modalności składające się na analizowane logo miast wzajemnie się uzupełniają, kontekstualizują, pozostając wobec siebie w relacji semantycznej symbiozy: tekst uzupełnia obraz, a obraz dopełnia tekst, zaś kolor jest elementem spajającym obie subpłaszczyzny i determinującym przekaz logo. W ten sposób powstaje kompleksowa, semiotyczna aranżacja. Jej elementy składowe tworzą spójny, jednorodny semantycznie komunikat: tak jak typografia nie może istnieć bez tekstu, a kolor bez elementu graficznego (przykładowo pisma czy ilustracji), tak *płaszczyzna wizualna* czy *semiotyczna aranżacja* współtworzone są przez określone modalności, z których każda jest istotna

ze względu na sposób komunikacji i interpretacji danego przekazu. Przeprowadzona analiza wykazała więc, że tak ze względu na swoją funkcjonalność, jak i spójność semantyczną czy strukturalną, ale także z racji sposobu, w jaki przebiega odbiór logo miast, zasługują one na to, by traktować je w kategoriach *semiotycznie zaaranżowanych płaszczyzn wizualnych*.

Bibliografia

- Antos, G., Spitzmüller, J. (2007). *Was 'bedeutet' Textdesign?* W: K.S. Roth, J. Spitzmüller (red.). *Textdesign und Textwirkung in der massenmedialen Kommunikation*. Konstanz: UVK, s. 35–48.
- Bilut-Homplewicz, Z., Czachur, W., Smykała, M. (2009). *Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy*. Warszawa: Atut.
- Blühdorn, H. (2006). *Textverstehen und Intertextualität*. W: H. Blühdorn, E. Breindl, U.H. Wassner. *Text-verstehen: Grammatik und darüber hinaus*. Institut für Deutsche Sprache. Berlin, New York: Walter de Gruyter, s. 277–298.
- Bucher, H.-J. (1996). *Textdesign – Zaubermittel der Verständlichkeit? Die Tageszeitung auf dem Weg zum interaktiven Medium*. W: E.W.B. Hess-Lüttich, W. Holly, U. Püschel (red.). *Textstrukturen im Medienwandel*. Frankfurt a. M.: Peter Lang, s. 31–59.
- Bucher, H.-J. (2010). *Multimodalität – eine Universalie des Medienwandels: Problemstellung und Theorien der Multimodalitätsforschung*. W: H.-J. Bucher, T. Gloning, K. Lehnen (RED.). *Neue Medien – neue Formate. Ausdifferenzierung und Konvergenz in der Medienkommunikation*. Frankfurt, New York: Campus Verlag, s. 41–79.
- Klemm, M., Stöckl, H. (2011). *Bildlinguistik – Standortbestimmung, Überblick, Forschungsdesiderate*. W: H. Diekmannshenke, M. Klemm, H. Stöckl (red.). *Bildlinguistik*. Berlin: Erich Schmidt Verlag, s. 7–18.
- Kroeber-Riel, W. (1993). *Bildkommunikation. Imagerystrategien für die Werbung*. München: Franz Vahlen.
- Lim, Fei V. (2004). *Developing an Integrative Multi-semiotic Model*. W: K.L. O'Halloran (red.). *Multimodal Discourse Analysis. Systemic Functional Perspectives*, London, New York: Continuum, s. 220–246.
- Mirzoeff, N. (red.) (1998). *The Visual Culture Reader*. London, New York: Routledge.
- Mitchell, W.J.T. (1995). *Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation*. Chicago et al.: University of Chicago Press.
- Sachs-Hombach, K./Schirra, J.R.J. (2003). *Das Bild als kommunikatives Medium. Elemente einer allgemeinen Bildwissenschaft*. Köln: Herbert von Halem Verlag.
- Schmitz, U. (2003). *Lesebilder im Internet. Neue Koalitionen und Metamorphosen zwischen Text und Bild*. Zeitschrift für Germanistik. Neue Folgen 13, z. 3, s. 605–628.
- Schmitz, U. (2005). *Blind für Bilder. Warum sogar Sprachwissenschaftler auch Bilder betrachten müssen*. W: Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 69, s. 187–227.
- Schmitz, U. (2011a). *Blickfang und Mitteilung. Zur Arbeitsteilung von Design und Grammatik in der Werbekommunikation*. W: Zeitschrift für angewandte Linguistik 54, s. 79–109.
- Schmitz, U. (2011b). *Sehflächenforschung. Eine Einführung*. W: H. Diekmannshenke, M. Klemm, H. Stöckl (red.). *Bildlinguistik*. Berlin: Erich Schmidt Verlag, s. 1–20.
- Stöckl, H. (2004a). *Die Sprache im Bild – das Bild in der Sprache. Zur Verknüpfung von Sprache und Bild im massenmedialen Text. Konzepte, Theorien, Analysemethoden*. New York, Berlin: Walter de Gruyter Verlag.

- Stöckl, H. (2004b). *Typographie: Gewand und Körper des Textes – Linguistische Überlegungen zu typographischer Gestaltung*. W: Zeitschrift für Angewandte Linguistik 41, s. 5–48.
- Stöckl, H. (2005). *Anschauungsorientierung im Text – Zwischen Sprache und Bild*. W: U. Fix et al. (red.). *Zwischen Lexikon und Text – Lexikalische, stilistische und textlinguistische Aspekte*. Stuttgart, Leipzig: S. Hirzel, s. 64–79.
- Stöckl, H. (2006). *Zeichen, Text und Sinn – Theorie und Praxis der multimodalen Textanalyse*. W: E.M. Eckkrammer, G. Held (red.). *Textsemiotik. Studien zu multimodalen Medientexten*. Frankfurt a. M.: Peter Lang, s. 11–26.
- Stöckl, H. (2011). *Sprache-Bild-Texte lesen. Bausteine zur Methodik einer Grundkompetenz*. W: H. Diekmannshenke, M. Klemm, H. Stöckl (red.). *Bildlinguistik*. Berlin: Erich Schmidt Verlag, s. 43–70.
- Stöckl, H. (2012). *Finanzen verbalisieren – Die Text-Bild-Sorte Infographik*. W: OBST Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie. T. 81: *Sprache und Geld*. Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr OHG, s. 177–199.

Strony internetowe (dostęp: 4.01.2014)

http://mangologo.blogspot.com/2012_01_01_archive.html

<http://symbole.um.warszawa.pl>

<http://www.olsztyn.eu/>

<http://www.poznan.pl/mim/sport/logo,p,161,17501.html>

http://www.transferbydgoszcz.pl/Do_pobrania_dla_mediow,82

http://www.wisla.pl/Miasto,2/Barwy_miasta,15

<http://www.wroclaw.pl/herb-logo-barwyhttp://www.olsztyn.eu/>

Summary

Show me your logo – city logos as a visual plane

Public space more and more often makes use of multimodal texts, combining in them both linguistic and graphic-picture elements. The present article constitutes an attempt at a linguistic analysis of multimodal texts described on the example of city logos. The economization of perception as well as the willingness to present a given city in a way that is attractive for the recipient cause that this kind of text that a logo is, evolves continually. Simultaneously, logo still remains a whole which is coherent in functional and semantic terms and that, in turn, entitles it to be treated in terms of a semiotically arranged visual plane.

Tatiana Malinowska

Instytut Filologii Rosyjskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

СУФФИКСАЛЬНЫЕ УНИВЕРБАТЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ

Key words: teenage slang, compressive word-formation, suffixation, univerbization, word-formation synonymy

В словообразовании современного русского языка все чаще наблюдается тенденция, получившая название «языковой экономии» (О. Есперсен) или «закона экономии языковых усилий» (А. Мартине). Яркое выражение этого явления имеет свое место в молодежном сленге. Молодые люди стремятся выразить как можно больше наименьшим количеством слов. Одним из способов сокращения текста без уменьшения его информативности является универбация. Универбация – это один из способов компрессивного словообразования. Как отмечает Е. Калишан, понятие универбации было введено в научный оборот А.В. Исаченко [Kaliszan 1986: 15]. Явление универбации, под синонимическими названиями «включение», «универбализация», «компрессия», «семантическая конденсация», «эллипс», «эллипсис», «формальное стяжение», «синтетическое сжатие», описывалось многими учеными. Теоретической основой нашей работы послужат исследования таких ученых, как Э.А. Балалыкина, Е.А. Земская, Е. Калишан, В.В. Лопатин, Г.А. Николаев, Л.В. Рацибурская, Т.Ю. Редькина, Н.А. Янко-Триницкая.

Как отмечает Л.В. Рацибурская, универбация, или семантическое включение, или же семантическая конденсация, стремится к выражению одним словом комплекса значений, выражаемых сочетаниями слов [Рацибурская 2003: 111]. По мнению Е.А. Земской, универбация – «это способ образования слов на базе словосочетания, при котором в основу производного слова входит лишь основа прилагательного, а существительное заменяется суффиксом» [Земская 1973: 82]. Э.А. Балалыкина и Г.А. Николаев в учебном пособии *Русское словообразование* описывают интересующее нас явление под названием «включение», определяя его как

разновидность аффиксации, когда образование слова происходит на базе словосочетания [...] однако в качестве непосредственной производящей основы используется только основа одного слова [...], которая осложняется определенным аффиксом [...]. Значение другого слова [...] включается в значение производного слова, семантика которого равна семантике целого производящего словосочетания [...] образование производного слова происходит путем эллипсиса (опущения) стержневого слова сочетания [...] и включения его значения в семантику производного [Балалыкина, Николаев 1985: 129–130].

В свою очередь В.В. Лопатин отмечает, что ученые называют описываемый нами способ словообразования «стяжением» либо «сведением», «а иногда и латинским термином ‘универбация’ – буквально ‘образование единого слова’ (латинское *unus* – один, единый, *verbum* – слово)» [Лопатин 1973: 44]. Ученый приводит еще одно название для описываемого нами способа словообразования – «семантическая конденсация». В.В. Лопатин отмечает, что универб образуется на базе словосочетания, «носящего характер устойчивой языковой номинации» [Лопатин 1978: 73]. Е. Калишан описывает этого рода словосочетания как составные наименования – «расчлененные по форме, но семантически монолитные образования, функционально равносильные отдельным словам (существительным)» [Kaliszan 1986: 7]. Универбаты семантически соотносятся с целым составным наименованием и непосредственно мотивируются словом, которое в исходном словосочетании выполняет функцию определения [Kaliszan 1986: 85–88]. Ученый называет четыре вида универбации, выделяя суффиксальные образования, нульсуффиксальные образования, сложносокращенные слова и эллиптические субстантиваты [Kaliszan 1986: 35]. В данной статье мы ограничимся описанием только одной группы, мы рассмотрим лишь суффиксальные универбаты, образованные от основ прилагательных на базе двухсловных словосочетаний «прилагательное» + «существительное». Цель настоящей статьи – описать, при помощи каких суффиксов образуются универбаты в современном русском молодежном сленге. Слова для нашего анализа почерпнуты из *Толкового словаря молодежного сленга* Т.Г. Никитиной. Нами исследовано 151 составное наименование и 180 универбатов.

При универбации суффиксального типа новые слова образуются при помощи различных суффиксов. В нашей картотеке первое место по продуктивности занимает суффикс *-к(а)*, наличествующий в 47 универбатах, например: *белка* (*белая горячка*), *вышка* (*высшая математика*), *вышка* (*высшая лига*), *вышка* (*высшее образование*), *джинсовка* (*джинсовая ткань*), *ездынка* (*проездной билет*), *летучка* (*летучая мышь*), *целёвка* (*целевая аспирантура*).

Вторым по продуктивности является суффикс *-ик*. В анализируемой группе слов 34 универбата с суффиксом *-ик*, например: *аркадник* (*аркадная игра*), *военник* (*военный билет*), *главник* (*главный корпус*), *гормики* (*гормональные препараты*), *двойник* (*двойной альбом*), *кассетник* (*кассетный магнитофон*), *курсовик* (*курсовая работа*), *личник* (*личный телохранитель*), *мобильник* (*мобильный телефон*), *налик* (*наличные деньги*). Существительные с этим суффиксом имеют значение ‘предмет (одушевленный или неодушевленный), характеризующийся признаком, названным мотивирующим словом’ [Шведова 1980: 171].

Следующими по численности являются универбаты с суффиксом *-ак (-як)*, например: *безвыходняк* (*безвыходное положение*), *беляк* (*белое вино*), *крупняк* (*крупная купюра*), *личняк* (*личный зачёт*), *наивняк* (*наивный человек*), *неуставняк* (*неуставные отношения*), *парадняк* (*парадный вход*). Всего в нашей картотеке 25 универбатов с суффиксом *-ак (-як)*. Л.В. Рацибурская отмечает, что «существительные с суффиксом *-ак-*, образованные на базе прилагательных, но содержащие в себе ‘свернутое’ словосочетание (тоже универбаты) [...] маркируют речь представителей различных социальных групп (прежде всего молодежи) [...] придают тону речи грубость и некоторую вульгарность» [Рацибурская 2004: 82].

Также продуктивным является суффикс *-ух(а)*. В нашей картотеке имеется 25 универбатов с суффиксом *-ух(а)*, например: *артуха* (*артиллерийское училище*), *выкидуха* (*выкидной нож*), *гречуха* (*гречневая каша*), *дистуха* (*дистанционное управление*), *древнеруха* (*древнерусская литература*), *заказуха* (*заказное убийство*).

В анализируемой группе слов также:

- 7 дериватов с суффиксом *-ок (-ёк)*: *Курок* (*Курский вокзал*), *медлячок* (*медленный танец*), *медлячок* (*медленная мелодия*), *Совок* (*Советский Союз*), *совок* (*советский человек*), *совок* (*советская литература*), *хорёк* (*хороший человек*);
- по 6 дериватов с формантами:
 - *-ач*: *курсач* (*курсовая работа*), *Строгач* (*Строгановское училище*), *сухач* (*сухое вино*), *танкач* (*танковый комбинезон*), *хромачи* (*хромовые сапоги*), *цинкач* (*цинковый гроб*);
 - *-ушк(а)*, *-ик(а)*, например: *Краснушка* (*Красная площадь*), *кубышка* (*кубанская водка*), *оптушка* (*оптовый рынок*), *психушка* (*психиатрическая больница*), *раскладушка* (*раскладная шпаргалка*), *чекушка* (*чековая книжка*);
- 4 универбата с формантом *-лк(а)*: *выразилка* (*выразительное чтение*), *исправилка* (*исправительно-трудовая колония*), *исправилковка* (*исправительно-трудовая колония*), *начерталка* (*начертательная геометрия*);
- по 3 деривата с формантом:
 - *-ер*: *ночер* (*ночная смена*), *физер* (*физическое воспитание*), *штабер* (*штабной работник*);
 - *-очк(а)*: *белочка* (*белая горячка*), *Белочка* (*Белорусский вокзал*), *немочка* (*немецкая марка*);
 - *-яг(а)*: *абстыага* (*абстинентный синдром*), *беляга* (*белый хлеб*), *черняга* (*чёрный хлеб*);
- по 2 деривата с суффиксом:
 - *-арь*: *сухарь* (*сухое вино*), *технарь* (*высокотехнический музыкант*);
 - *-ист*: *активист* (*активный гомосексуалист*), *глупист* (*глупый человек*);
 - *-j(o)*: *мачьё* (*маковые головки*), *мачьё* (*маковое поле*).
- 1 дериват с суффиксом:
 - *-ан*: *курсан* (*курсовая работа*);
 - *-арн(я)*: *психарня* (*психиатрическая больница*);
 - *-ах(а)*: *демонстраха* (*демонстрационная запись*);

- *-ень*: *курень* (курительная комната);
- *-ин(а)*: *рванина* (рваная одежда);
- *-ман*: *наличман* (наличные деньги);
- *-ол*: *солидол* (солидный человек);
- *-от(а)*: *краснота* (красное вино);
- *-яжск*: *трудожска* (трудовая книжка);
- *-ятин(а)*: *тяжелятина* (тяжелый рок);
- 1 универбат с интерфиксом *-уш-* и суффиксом *-ник*: *выкидушник* (выкидной нож);
- 1 универбат с интерфиксом *-уш-* и суффиксом *-ниц(а)*: *выкидушница* (выкидной нож).

В нашей картотеке не обнаружено примеров с «географическим» суффиксом *-цин(а)/-чин(а)*, а также с морфами *-анк(а)*, *-ичк(а)*, *-овк(а)*.

Как отмечает Е. Калишан, в процессе объединения составных наименований в цельные лексемы основы мотивирующих слов, оканчивающиеся стечением согласных, утрачивают некоторые суффиксы [Kaliszan 1986: 38]. В нашем материале имеются примеры усечения суффикса:

- *-альн-*, например: *материалка* (материальная помощь), *нейтралка* (нейтральные воды), *нейтралка* (нейтральная полоса), *персоналка* (персональный компьютер), *произволка* (произвольная программа), *самоволка* (самовольная отлучка), *эпохалка* (эпохальное произведение).
- *-ическ-*, например: *академка* (академический отпуск), *акустка* (акустическая гитара), *венерка* (венерическая болезнь);
- *-ичн-*, например: *загранка* (заграничная командировка), *пишёнка* (пшеничная водка);
- *-н-*, например: *административка* (административное право), *античка* (античная литература), *военка* (военная кафедра), *военка* (военная подготовка), *домашка* (домашняя работа), *зарубежка* (зарубежная литература), *Краска* (Красная площадь), *линейка* (линейная алгебра), *магазинка* (магазинная винтовка), *межсессионка* (межсессионная аттестация), *обманка* (обманное движение), *сменка* (сменная обувь), *современка* (современная литература), *уголовка* (уголовное право);
- *-ов-*, например: *наложка* (налоговая инспекция);
- *-очн-*, например: *марка* (марочное вино);
- *-ск-*, например: *афганка* (афганская конопля), *материнка* (материнская плата);

По мнению Е. Калишана, в некоторых случаях при суффиксальной универбации имеет место удаление части корневой морфемы или устранение наряду с суффиксом прилагательного деривационной морфемы предшествующей, доадъективной ступени деривации [Kaliszan 1986: 39]. В нашей картотеке зафиксировано 6 примеров: *Белка* (Белорусский вокзал), *Васька* (Васильевский остров), *демка* (демонстрационная запись), *немка* (немецкая марка), *отечка* (отечественная история), *цветалка* (цветомузыкальная установка).

Некоторые из вышеописанных универбатов имеют омонимы. По мнению А. Маркунаса в молодежном сленге присутствуют примеры внешней омонимии (со словами литературного языка) и внутренней омонимии (между словами самого жаргона) [Markunas 2002: 94]. В нашей картотеке зафиксированы примеры как внешней, так и внутренней омонимии. Например, употребляемое в молодежном сленге слово *линейка*, образованное путем универбации от словосочетания *линейная алгебра*, имеет стилистически сниженную окраску, а слово *линейка* (предмет для измерения длины), употребляемое в литературном языке, стилистически нейтрально. В нашей картотеке зафиксировано 27 универбатов, имеющих омонимы в литературном языке: *активист*, *белка*, *белочка*, *беляк*, *Васька*, *веник*, *военка*, *вышка*, *двойник*, *Краска*, *краснота*, *Краснуха*, *кулёк*, *Курок*, *линейка*, *личник*, *марка*, *немка*, *немочка*, *Павлик*, *пищёнка*, *раскладушка*, *совок*, *совочек*, *сухарь*, *хорёк*, *цветник*.

В собранном для анализа материале наблюдаются также примеры внутренней омонимии. Среди универбатов почерпнутых из *Толкового словаря молодежного сленга* Т.Г. Никитиной зафиксировано 14 пар и две группы, состоящие из трех дериватов, являющихся примерами внутренней омонимии:

- *белка* (*белая горячка*) и *Белка* (*Белорусский вокзал*);
- *белочка* (*белая горячка*) и *Белочка* (*Белорусский вокзал*);
- *веник* (*венерический больной*) и *веник* (*кожно-венерологический диспансер*);
- *военка* (*военная кафедра*) и *военка* (*военная подготовка*);
- *вышка* (*высшая математика*), *вышка* (*высшая лига*) и *вышка* (*высшее образование*);
- *групповуха* (*групповое преступление*) и *групповуха* (*групповой секс*);
- *крупняк* (*крупная купюра*) и *крупняк* (*крупнокалиберный пулемёт*);
- *кулёк* (*кулинарный колледж*) и *кулёк* (*кулинарное училище*);
- *мачьё* (*маковые головки*) и *мачьё* (*маковое поле*);
- *медляк* (*медленная мелодия*) и *медляк* (*медленный танец*);
- *медлячок* (*медленная мелодия*) и *медлячок* (*медленный танец*);
- *медуха* (*медицинское училище*) и *медуха* (*медицинский колледж*);
- *нейтралка* (*нейтральные воды*) и *нейтралка* (*нейтральная полоса*);
- *ручник* (*ручной пулемёт*) и *ручник* (*ручной тормоз*);
- *Совок* (*советский Союз*), *совок* (*советский человек*) и *совок* (*советская литература*);
- *сольник* (*сольная запись*) и *сольник* (*сольный концерт*).

В собранном для анализа материале присутствуют примеры словообразовательных синонимов. Словообразовательная синонимия – это «идентичность или близость лексического значения двух или более производных, образованных [...] на базе одних и тех же лексем с помощью разных словообразовательных средств (формантов)» [Калишан 1999: 33]. В нашей картотеке наблюдаются примеры, в которых от одного составного наименования образовано несколько универбатов при помощи разных суффиксов. Например, составное наименование *абстинентный синдром* имеет два синонимичных универбата: *абстыга* и *абстык*, словосочетание

белая горячка также имеет два синонимических универбата: *белка* и *белочка*. Всего среди 151 исследуемого нами составного наименования 16 имеют по два синонимических универбата; 4 имеют по три синонимических универбата (например, от составного наименования *выкидной нож* происходят универбаты *выкидуха*, *выкидушник* и *выкидушница*; от составного наименования *сухое вино* образованы универбаты *сухарь*, *сухач* и *сушняк*); 2 составных наименования имеют четыре синонимических универбата (например, от словосочетания *курсовая работа* образованы универбаты *курсан*, *курсач*, *курсовик* и *курсовуха*).

Итак, в настоящей работе была предпринята попытка описать на примере молодежного сленга один из наиболее активных процессов в русском словообразовании – суффиксальную универбацию. На основании проведенного анализа можно сделать ряд выводов. Анализ показал, что наибольшей продуктивностью обладает суффикс *-к(а)*, наличествующий в 48 универбатах, вторым по продуктивности является суффикс *-ик*, наличествующий в 34 универбатах, третьим по продуктивности является суффикс *-ух(а)*, присутствующий в 25 универбатах и суффикс *-ак (-як)*, также присутствующий в 25 универбатах. Меньшей продуктивностью при образовании суффиксальных универбатов в молодежном сленге обладают форманты *-ок (-ёк)* (7 универбатов), *-ушк(а)*, *-шк(а)* (6 универбатов), *-ач* (6 универбатов), *-лк(а)* (3 универбата), *-очк* (3 универбата), *-яг(а)* (3 универбата), *-ер* (3 универбата), *-ист* (2 универбата), *-арь* (2 универбата), *-j(o)* (2 универбата), *-ин(а)* (1 универбат), *-от(а)* (1 универбат), *-ман* (1 универбат), *-ень* (1 универбат), *-яжк* (1 универбат), *-ол* (1 универбат), *-ан* (1 универбат), *-ах* (1 универбат), *-арн(я)* (1 универбат), *-ятин(а)* (1 универбат), *-ах(а)* (1 универбат), с интерфиксом *-уш* и суффиксом *-ник* (1 универбат), а также с интерфиксом *-уш* и суффиксом *-ница* (1 универбат). Среди суффиксальных универбатов молодежного сленга обнаружены примеры словообразовательной синонимии, а также внешней и внутренней омонимии.

Библиография

- Балалыкина, Э.А., Николаев, Г.А. (1985). *Русское словообразование*. Казань.
- Земская, Е.А. (1973). *Современный русский язык. Словообразование*. Москва.
- Калишан, Е. (1999). *Словообразовательная синонимия в сфере наименований лиц в русском и польском языках*. В: *Русистика и современность. Языкознание*. Rzeszów.
- Лопатин, В.В. (1973). *Рождение слова: Неологизмы и окказиональные образования*. Москва.
- Лопатин, В.В. (1978). *Суффиксальная универбация и смежные явления в сфере образования новых слов*. В: *Новые слова и словари новых слов*. Ленинград.
- Рацибурская, Л.В. (2003). *Особенности новообразований в современных средствах массовой информации*. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Филология. Вып. 1. Нижний Новгород..
- Рацибурская, Л.В. (2004). *Современная жаргонная речь на страницах газет*. Русский язык в школе 2.
- Шведова, Н.Ю. (ред.) (1980). *Русская грамматика*. Т. 1. Москва.
- Kaliszan, J. (1986). *Семантико-конденсационная универбация составных наименований в современном русском языке*. Poznań.
- Markunas, A. (2002). *Пособие по русскому молодежному жаргону. Хрестоматия*. Poznań.

Summary

Suffixal Univerbisms in Modern Russian Teenage Slang

In the article the analysis of the word-formation of the suffixal univerbisms in Modern Russian teenage slang is considered. The author has described the suffixes with which the new units are formed. The article also deals with the phenomenon of homonymy between the univerbisms in Modern Russian teenage slang, the phenomenon of homonymy between the univerbisms of Modern Russian teenage slang and the words of literary language and with the phenomenon of word-formation synonymy of univerbisms in Modern Russian teenage slang.

Anna RomanikInstytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytet w Białymstoku

PRZYMIOTNIKI WARTOŚCIUJĄCE W REKLAMIE (NA MATERIALE ROSYJSKIEJ PRASY KOBIECEJ)

Key words: advertising, evaluative adjective, language manipulation, lexicology, valuation

Reklama komercyjna, wszechobecne zjawisko w życiu współczesnego człowieka, jest zauważalna niemalże na każdym kroku. Ogłoszenia promujące różnorodne produkty oraz usługi można spotkać w zasadzie wszędzie: na przyciągających uwagę billboardach w centrach miast, na autobusach komunikacji miejskiej, czasami za samochodową wycieraczką lub w skrzynce pocztowej. Niemniej jednak najpopularniejszym pośrednikiem pomiędzy potencjalnym odbiorcą komunikatu reklamowego a przedsiębiorcą składającym ofertę handlową są środki masowego przekazu. Powszechnie zwane mass mediami, są one nasycone reklamami, a można by nawet zaryzykować stwierdzenie – przesyczone nimi. Wielkość tego zjawiska przyczyniła się do pojawienia się odrębnych, charakterystycznych kodów językowych używanych w tych specyficznego rodzaju tekstach, co w konsekwencji pozwoliło wyodrębnić dyskurs języka reklamy, który z lingwistycznego punktu widzenia jest ciekawym obszarem badań.

Język, jakim posługują się twórcy reklam, znajduje się w interdyscyplinarnej przestrzeni zainteresowań badawczych językoznawstwa, socjologii, teorii komunikacji czy marketingu. Stąd też bierze się szerokie spektrum publikacji dotyczących reklamy, która okazuje się wieloaspektowym przedmiotem analiz. Liczne prace tej tematyce poświęcili między innymi Jerzy Bralczyk, Marek Kochan, Piotr H. Lewiński, Anna Lusińska, Ewa Szczesna [zob. np. Bralczyk 2004; Kochan 2005; Lewiński 2008; Lusińska 2007; Szczesna 2003]. Równie duże zainteresowanie językiem mediów prezentują rosyjscy badacze, na przykład E.L. Gołowlowa, E.W. Miedwediewa, J.W. Szatin [zob. np. Головлёва 2002; Медведева 2008; Шатин 2003].

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację oraz uzupełnienie obserwacji na temat współczesnego języka reklamy. Powstało już bowiem wiele cennych prac z tego zakresu tematycznego, jednak ze względu na aktualność tematyki, nieustanny rozwój reklamodawstwa oraz innowacyjność w sferze językowych środków perswazji dodatkowy komentarz wydaje się wręcz niezbędny.

Obiektem analizy w prezentowanej publikacji są przymiotniki wartościujące, funkcjonujące w reklamach zamieszczonych w rosyjskich czasopismach kobiecych. Głównym zamierzeniem autorki opracowania jest próba klasyfikacji form adjektywnych oraz wskazanie ich funkcji, które pełnią w składzie sloganów promocyjnych. Istotną kwestią w kontekście danego tematu jest również zjawisko wartościowania w języku, któremu w niniejszych badaniach poświęca się także szczególną uwagę.

Materiał leksykalny, stanowiący bazę badawczą, został wyselekcjonowany z rosyjskich żurnali kobiecych opublikowanych w latach 2010–2013. Wśród periodyków będących źródłem ekscerpcji znalazły się rosyjskie wydania „Cosmopolitan”, „Elle”, „Glamour”, „Mini” oraz rodzima prasa: „Добрые советы”, „Женский журнал”, „Красота и здоровье”, „Натали”.

We wstępie warto wyjaśnić, czym jest wartościowanie i jaką rolę spełnia ono w tekstach reklamowych. Zjawisko wartościowania w języku nie jest jednoznacznie zdefiniowane przez lingwistów, dlatego też na forum naukowym trwa nieustająca polemika dotycząca interpretacji tego fenomenu. Zgodnie z rozumieniem Jadwigi Puzyriny, prekursorki badań z zakresu językoznawstwa aksjologicznego w Polsce, wartościowanie jest to umiejscowienie danego obiektu (przedmiotu, zjawiska, pojęcia) na skali wartości, czyli przypisanie mu określonej cechy o pozytywnym lub negatywnym charakterze. Najogólniej mówiąc, wartościowanie eksplikowane jest jako ocena, definiowanie rzeczywistości w kategoriach dobry – zły [por. Puzyrina 1992: 85].

Wartościowanie jest dostrzegalne także w reklamach prasowych, które w celach aksjologicznych wykorzystują najbardziej skuteczny środek, jakim jest słowo wyróżniające się bogatym emocjonalnym potencjałem. Copywriterzy, mając do dyspozycji bogaty inwentarz leksykalny, wiedzą, że jednym z najbardziej efektywnych środków językowych, jeśli chodzi o perswazyjność wartości, jest właśnie przymiotnik, ponieważ to część mowy, która wprost wskazuje na cechę przedmiotu i za jej pośrednictwem łatwo przekazać emocjonalny stosunek wobec opisywanego obiektu. Zatem obecność słów o pozytywnej waloryzacji w ogłoszeniach promocyjnych jest gwarantem sukcesu komercyjnego reklamy, która z założenia ma zwrócić uwagę (werbalnie i wizualnie) potencjalnego klienta i zachęcić go do nabycia danego produktu poprzez jego zachwalanie.

Należy również podkreślić, że słowa o znaczeniu oceniającym nie pojawiają się w sloganach przypadkowo, a są przemyślanym rezultatem marketingowego działania, uwzględniającego oczekiwania nabywców. Komunikat językowy w reklamie jest uzależniony od różnych kryteriów segmentacji rynku konsumenckiego, w tym wieku, płci oraz preferencji. Nie bez znaczenia jest także fakt, w jakim czasopiśmie pojawia się dana reklama. Jak zauważa Wojciech Budzyński, zdecydowanie większą popularnością wśród reklamodawców cieszą się magazyny niż prasa codzienna. Wynika to między innymi z faktu, że magazyny są czytane głównie przez odbiorców o wyższych dochodach, wymaganiach, wykształceniu i prestiżu społecznym, co ma kluczowe znaczenie w tworzeniu komunikatu językowego reklamy i tym samym doborze adekwatnego słownictwa [Budzyński 1999: 68]. Z tego powodu to właśnie żurnale i magazyny kobiece wybrano jako obiekt badań.

Rosyjskie czasopisma kobiece, stanowiące bazę materiałową niniejszej analizy, zawierają przede wszystkim reklamy, w których obiektem promocji w zdecydowanej większości są kosmetyki (perfumy, kremy, farby do włosów, produkty do makijażu, itd.), jak również nowości technologiczne (telefony komórkowe, laptopy, tablety, prostownice do włosów, depilatory), samochody, biżuteria, wyroby tytoniowe i alkoholowe. Ograniczenia obszarów badawczych ze względu na tematykę poruszaną w wybranych magazynach mają oczywiście odzwierciedlenie w języku i tym samym w wyborze przymiotników, będących obiektem zainteresowania.

Dokonując klasyfikacji przymiotników wartościujących używanych w reklamach zamieszczanych w czasopismach można uwzględnić różne kryteria, przykładowo semantykę form adjektywnych, frekwencję ich użycia w tekstach reklamowych, stopień nacechowania emocjonalnego towarzyszącego wartościowaniu oraz gramatyczny (morfologiczny lub składniowy) wykładnik wartości.

Uwzględniając pierwsze kryterium klasyfikacji zgromadzonego materiału leksykalnego, czyli semantykę przymiotników, można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy przymiotniki. Pierwszą grupę tworzą przymiotniki o zminimalizowanej funkcji deskryptywnej, których głównym celem jest uplasowanie danego produktu na skali wartości. Są to głównie słowa zawierające duży ładunek emocjonalny i odnoszące się do subiektywnych odczuć odbiorcy. To jednostki, w których element oceniający zdecydowanie przeważa nad elementem przedstawieniowym. Leksemy tej grupy są synonimicznymi określeniami dominanty „dobry”; rzecz jasna, charakteryzują się zróżnicowanym stopniem oceny i zabarwienia emocjonalnego. W polskiej literaturze przedmiotu tego typu słowa określa się jako czysto wartościujące [zob. Bartmiński 2003: 67], natomiast w rosyjskiej nomenklaturze używa się określenia *общеоценочные* (ogólnie wartościujące) [Арутюнова 1988: 75]. Zdaniem N.D. Arutiunowej, takie przymiotniki charakteryzują się pustką znaczeniową, ponieważ w ich strukturze semantycznej dominuje jeden komponent, czyli sem oceny [Арутюнова 1988: 75]. Za przykład mogą posłużyć następujące egzemplifikacje: *безупречный, великолепный, идеальный, наилучший, отличный, превосходный, прекрасный, совершенный*.

Budzyński zauważa, że tego typu zwroty zachwalające towar charakteryzują się dużym pierwiastkiem przesady, jednak ze względu na pewne przyzwyczajenia odbiorców do specyfiki języka perswazji są stałym elementem kodu reklamowego [Budzyński 1999: 14].

Drugi zbiór przymiotników wartościujących składa się z jednostek deskryptywnych (informacyjnych) o różnym przekazie semantycznym, zawierających ocenę wybranego aspektu reklamowanego obiektu. Dane jednostki nominatywne, oprócz treści emotywnych, zawierają zatem również elementy przedstawieniowe o danym desygnacie. Można tu przytoczyć następujące przymiotniki wartościujące:

- świadczące o prestiżu produktu reklamy, np. *изысканный, стильный, ультрагламурный, эксклюзивный, элегантный*;
- wskazujące na unikatowość, wyjątkowość produktu, np. *исключительный, уникальный, необычный, оригинальный*;

- zabarwione kontekstem seksualnym, np. *искушающий, соблазнительный, сексуальный*;
- zawierające intrygujący pierwiastek tajemnicy i magii, np. *гипнотический, загадочный, магический, очаровательный*;
- informujące o nowości produktu, np. *инновационный, новейший, новый*;
- wskazujące na indywidualną cechę obiektu, która w powszechnym odbiorze konsumenta jest uważana za pożądany walor reklamowanego towaru, np. *интенсивный, самый стойкий, суперлёгкий, ультраблестящий, ультратонкий, экспрессивный*;
- określające emocje wzbudzane poprzez pojawienie się produktu na rynku (sensację i przełom), np. *потрясающий, революционный, сенсационный*;
- nazywające emocje wzbudzane poprzez dany produkt lub będące reakcją na efekt jego stosowania, np. *головокружительный, пленительный, сногшибательный*.

Użycie powyższych przymiotników wartościująco-informacyjnych w reklamie jest zabiegiem uwzględniającym potrzeby rynku konsumenckiego. Komunikat skierowany do odbiorcy ogłoszenia promocyjnego, czyli w tym przypadku do współczesnej kobiety, powinien zawierać skondensowany przekaz, który przyciągnie jej uwagę, zaintryguje, podziała na jej wyobraźnię i wrażliwość, a także sprawi, że poprzez nabycie danego towaru poczuje się wyjątkowa i kobieca. Stąd też w tekstach reklamowych zauważalna jest sensualizacja języka, granicząca nawet z erotyzacją, a także nawiązanie do skrajnie pozytywnych uczuć o charakterze magii i tajemnicy. Nie bez znaczenia jest również popularność przymiotników określających wysoki prestiż i stylowość konkretnych produktów, ponieważ czytelniczki już poprzez sam wybór konkretnego „prestiżowego” magazynu określają swoje preferencje.

Uwzględniając kolejne kryterium klasyfikacji, to znaczy frekwencję użycia przymiotników wartościujących w tekstach reklam, umownie można je podzielić na dwie zasadnicze grupy, czyli takie jednostki, które mają charakter uniwersalny i często pojawiają się w różnorodnych kontekstach niezależnie od reklamowanego produktu, oraz formy przymiotnikowe, które rzadziej odnotowuje się w reklamach, ponieważ sfera ich użycia jest ograniczona semantyką, a także specyfiką promowanej cechy produktu.

Po pierwsze, adjektywne formy wartościujące, odznaczające się szeroką łączliwością i tym samym dużym stopniem popularności użycia, należy uznać za uniwersalne, ponieważ pojawiają się one bardzo często w testach reklamowych, niezależnie od promowanego obiektu. W zgromadzonym zbiorze jednostek leksykalnych stanowią one dość liczną grupę. Przykładem tego typu określeń są następujące egzemplifikacje: *необычный, новый, новейший, исключительный, уникальный, идеальный, совершенный, безупречный, превосходный, красивый*.

Na przykład leksem **уникальный** pod względem częstotliwości występowania w sloganach plasuje się na samej górze. Ten konkretny przymiotnik, wskazujący na unikatowość, czyli innymi słowy oryginalność, wyjątkowość określanego obiektu, wykazuje nieograniczoną semantycznie łączliwość z różnymi rzeczownikami. Z dokonanego przeglądu ogłoszeń wynika, że przymiotnik ten używany jest w przede wszystkim w reklamach kosmetyków, np.:

- (1) Восковые полоски Veet – **уникальные** как ваша кожа;
- (2) **Уникальная** формула с экстрактом ромашки;
- (3) **Уникальный** лак с микровключениями алмаза;
- (4) Благодаря Вашему **уникальному** вибрирующему механизму щётка совершает 100 движений в секунду. Как никогда раньше. Maybelline New York;
- (5) **Уникальная** сила редких минералов Термальной Воды Vichy.

Wysokim stopniem popularności odznaczają się także przymiotniki **новый** i **инновационный**, które z aksjologicznego punktu widzenia в ситуации izolowanej są neutralne i nie posiadają żadnego ładunku emocjonalnego. Niemniej jednak chętnie są używane przez twórców reklam в целях promocyjnych, ponieważ в конкретном контекście otrzymują konotacje oceniające в sposób melioratywny. Zastosowanie tych leksemów в składzie sloganu intryguje potencjalnego konsumenta, pobudza jego wyobrażenie о produkcie. W powszechnym odbiorze wszystko, co nowe на rynku, kojarzy się на ogół z czymś, co może pozytywnie zaskoczyć. Jednak ze względu на słaby ładunek ekspresji przymiotnik **новый** najczęściej odnotowuje się в рекламных renomowanych firm, które poprzez wieloletnią obecność на rynku konsumenckim wypracowały sobie на tyle wysoką i stabilną pozycję, że już sama nazwa marki skupia uwagę czytelnika reklamy, а прzymiotnik informujący о nowości jedynie zaintryguje i namówи do wypróbowania. Z przeprowadzonych analiz wynika, że określenie **новый** jest używane najczęściej в рекламных perfum, в коротких skondensowanych komunikatach, затем в данym przypadku wartościowanie за pośrednictwem przymiotników ma charakter jedynie kontekstualny, np.:

- (6) **Новый** аромат;
- (7) **Новый** аромат для неё;
- (8) **Новый** аромат для мужчин.

Z drugiej zaś strony, в корпусе прzymiotников wartościujących znalazły się również takie, których użycie jest ściśle zależне от контексту, dlatego też niektóre з nich pojawiają się в текście reklamowym jednorazowo. Są to przymiotniki bezpośrednio wskazujące на индивидуальную cechę charakterystyczną dla danego produktu. Ze względu на deskryptywną funkcję oraz maksymalnie ograniczoną łączliwość tego typu predykaty funkcjonują в określonym kontekście i tym samym częstotliwość их występowania в текście reklamowym nie jest wysoka. За pośrednictwem takich leksemów akcentowany jest в sloganie najistotniejszy walor obiektu, który ma kluczowe znaczenie dla konsumenta в podjęciu decyzji о jego zakupie. Komunikant, doskonale orientując się в потребках rynku i oczekiwaniach klientów, używa słów, które bezpośrednio wskażą на cechę produktu świadczącą о jego wyższości в konfrontacji з innymi konkurencyjnymi produktami. Przymiotniki opisowo-wartościujące о niskiej frekwencji odnotowano в następujących sloganach:

- (9) **Ультратонкие** тени для век;
- (10) **Ультрачёрные** ресницы – **соблазнительный** изгиб ILLUSIONIST Intense;
- (11) **Эксклюзивная** линия парфюмерии с лепестками 22-каратного золота;
- (12) **Ультра блестящая** губная помада, интенсивный цвет. PUPA MAKE-UP;

- (13) *Эффективное средство от потовыделения;*
- (14) *Сверхактивный увлажняющий крем BIENFAIT MULTI-VITAL;*
- (15) *Ультралёгкая текстура, которая наполняет Ваши губы объёмом;*
- (16) *Сверхлёгкое микрораспыление – лак мгновенно фиксирует причёску и моментально высыхает;*
- (17) *Olay – мой секрет идеально увлажнённой кожи в течение всего дня.*

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że przymiotniki wartościujące używane w ogłoszeniach prasowych różnią się ładunkiem emocjonalnym. Aby komunikat reklamy był skuteczny i przykuł uwagę odbiorcy, musi wyróżniać się i zaprezentować dany produkt z najatrakcyjniejszej strony. Jak wiadomo, samo znaczenie słowa jest w stanie wyrażać ocenę nazywanego desygnatu, jednak nadawca reklamy szuka jeszcze innych możliwości podkreślenia walorów promowanego towaru. W tym celu twórcy reklam stosują wszelkie werbalne sposoby zintensyfikowania przekazu sloganu poprzez wykorzystanie morfologicznych oraz składniowych możliwości języka. Osiągnąć taki efekt można stosując różne triki językowe, przykładowo użycie stopnia najwyższego przymiotnika, zestawienie przymiotnika z przysłówkiem wartościującym, czy też zastosowanie „wyliczanki” wielu atrybutów produktu.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można stwierdzić, że jednym z najpopularniejszych sposobów wzmocnienia efektu wartościowania jest derywowanie przymiotników z zapożyczonymi prefiksami *супер-*, *ультра-* oraz rodzimym *сверх-*, które łącząc się z przymiotnikami różnych kategorii, przekształcają je w formy superlatywne, np.

- (18) *сверхактивный крем;*
- (19) *суперлёгкий уход;*
- (20) *суперсочетающаяся пудра;*
- (21) *ультра блестящая губная помада;*
- (22) *ультрагламурный взгляд;*
- (23) *ультратонкие тени для век;*
- (24) *ультра-стойкий цвет волос¹.*

Przytoczone powyżej egzemplifikacje wskazują na najwyższy poziom określanego desygnatu i dzięki tego rodzaju językowym wabikom reklamowany produkt wyróżnia się, a wręcz deklasuje wszystkich swoich konkurentów i na skali wartości plasuje się na samym szczycie.

Popularność prefiksów jest zauważalna również w słowotwórstwie polskiej reklamy. Paralelne zjawisko, charakterystyczne również dla języka polskiego, jest wyrazem mody językowej. Bralczyk dostrzega w nim jednak pewne zagrożenia dotyczące poprawności

¹ W przytoczonych przykładach zachowano oryginalną pisownię. Zgodnie z zasadami gramatyki rosyjskiej prefiksy *супер-*, *ультра-* pisze się łącznie. Zróżnicowanie zapisu ortograficznego zapożyczonych prefiksów (łączy, rozdzielny, z dywizem) w tekstach reklamowych wynika z różnych przyczyn. Można domyślać się, że jest to wynik chwytu marketingowego, polegającego na podkreśleniu ważności treści zawartych w danym elemencie poprzez jego wyodrębnienie ze struktury przymiotnika. Prawdopodobne jest również przypuszczenie, że niestabilna pisownia analizowanych przymiotników jest rezultatem zapożyczenia (kalkowania struktur złożonych) i związanej z nim adaptacji przymiotników przejmowanych z oryginalnych anglojęzycznych reklam, które stanowią bazę tłumaczeniową dla rosyjskich reklam. W języku angielskim omawiane elementy w składzie kompozytów zapisuje się z łącznikiem, np. *super-thin*, *ultra-light*.

ortograficznej i zasadności użycia powyższych elementów wzmacniających ocenę obiektu [Bralczyk 2004: 76].

Intensyfikacja wartości jest również realizowana poprzez używanie stopnia najwyższego przymiotnika, tworzonego zgodnie z zasadami gramatyki rosyjskiej, np.:

- (25) *высший пилотаж чистоты*;
- (26) *новейший гаджет*;
- (27) *самая стойкая крем-краска*.

Tego typu formy w tekstach reklamowych są raczej sporadycznie odnotowywane, ponieważ w konfrontacji z zapożyczonymi przymiotnikami z elementami *супер-*, *ультра-* wypadają dość nieatrakcyjnie, a tym samym zawierają mniejszy ładunek ekspresji.

Poza tym, w zgromadzonym materiale zarejestrowano także konstrukcje składniowe, w których przymiotnik wartościujący poprzedzony jest przysłówkiem, pełniącym funkcję wykładnika aksjologicznego; ma on podkreślić wysoki stopień intensywności jakości lub cechy wyrażonej przymiotnikiem, np.:

- (28) *идеально увлажненная кожа*;
- (29) *потрясающе роскошная губная помада*.

Kolejnym sposobem na wzmocnienie ekspresji komunikatu reklamowego jest tworzenie konstrukcji składniowych nasyconych kilkoma przymiotnikami wartościującymi. Z marketingowego punktu widzenia jest to efektowna metoda dawkowania (maksymalne zaaplikowanie) odbiorcy informacji o danym produkcie, w aspekcie aksjologicznym maksymalnie wykorzystująca możliwości języka. Przykładem sloganów obrazujących takie zjawisko są następujące cytaty:

- (30) *Сексуальный, загадочный, сенсационный MAX FACTOR. Гипнотический, магический взгляд*;
- (31) *Ультра-стойкий, экспрессивный, исключительный яркий цвет. Garnier*;
- (32) *Сенсация от Shantui! Невероятный объём – сногшибательный эффект!*;
- (33) *Живой стойкий цвет, пленительный блеск, превосходное закрашивание седины. Schwarzkopf*;
- (34) *Новый умный выпрямитель Vitality от Roventa*;
- (35) *Для тех кому нужна абсолютная нежность, великолепная управляемость, превосходный дизайн. Для всех – Toyota Corolla*.

Przegląd przymiotników wyekscerpowanych z tekstów reklamowych opublikowanych w rosyjskich czasopismach kobiecych wykazał, że jest to część mowy charakteryzująca się dużymi możliwościami aksjologicznymi. Ułatwiają one reklamodawcom tworzenie skutecznego komunikatu, mającego na celu przekonanie potencjalnego klienta do zakupu towaru. Zgromadzony materiał badawczy ilustruje różne werbalne sposoby wyrażania oceny. Najważniejszym wykładnikiem wartościowania jest samo znaczenie danego leksemu, zawierające zróżnicowane treści przedstawieniowe oraz emotywne. Niemniej jednak twórcy tekstów promocyjnych sięgają po inne sposoby zintensyfikowania stopnia oceny wyrażonej przymiotnikiem, na przykład poprzez wykorzystanie możliwości morfologicznych i składniowych języka. Okazuje się, że wartościowanie werbalne

w reklamie, jako jeden z elementów manipulacji językowej, jest nieodzownym czynnikiem promocji. Ocena rzeczywistości zawarta w przymiotnikach wyraża subiektywną opinię komunikanta odczytującego oczekiwania adresata.

Bibliografia

- Bartmiński, J. (2003). *Miejsce wartości w językowym obrazie świata*. W: J. Bartmiński (red.). *Język w kręgu wartości. Studia semantyczne*. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 59–86.
- Bralczyk, J. (2004). *Język na sprzedaż*. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- Budzyński, W. (1999). *Reklama – techniki skutecznej perswazji*. Warszawa: Wydawnictwo „Poltext”.
- Kochan, M. (2005). *Slogany w reklamie i polityce*. Warszawa: Wydawnictwo „Trio”.
- Lewiński, P.H. (2008). *Retoryka reklamy*. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Lusińska, A. (2007). *Reklama a frazeologia: teksty reklamowe jako źródło nowych frazeologizmów*. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
- Puzynina, J. (1992). *Język wartości*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Szczęsna, E. (2003). *Poetyka reklamy*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Арутюнова, Д.Н. (1988). *Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт*. Москва: Изд. Наука.
- Головлёва, Е.Л. (2002). *Основы рекламы*. Москва: Изд. Социум.
- Медведева, Е.В. (2008). *Рекламная коммуникация*. Москва: Изд. ЛКИ.
- Шатин, Ю.В. (2003). *Построение рекламного текста*. Москва: Изд. Бератор-Пресс.

Summary

The Evaluative Adjectives in Press Advertising (on Russian Women's Magazines)

The author of the paper deals with evaluative adjectives used on press advertising. The researched lexemes were excerpted from Russian women's magazines, published in 2010–2013. The main purpose of this article was to classify selected lexicon by few criteria, such as, semantic meaning, frequency of their usage and morphological and syntactical methods of valuation. Research has shown that verbal valuation in advertising, which is a result of language manipulation, guarantees commercial success for communicant.

Robert Szymula

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytet w Białymstoku

ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА (НА ПРИМЕРЕ ИНАУГУРАЦИОННОЙ РЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА, 2012 ГОД)

Key words: discourse, political discourse, inaugural speech

Политический дискурс представляет собой сложное речевое образование, которое не имеет еще полной научной рефлексии в лингвистической литературе. Политическим дискурсом интересуются как профессионалы (политики, спич-райтеры, специалисты по созданию имиджа политиков, политологи, журналисты), так и широкие массы населения. Это явление, с которым сталкиваемся ежедневно. Значимость этой сферы все время возрастает, так как в условиях демократии вопросы, связанные с властью, обсуждаются шире и более открыто, чем в условиях социалистического государства. Проблемы политического дискурса являются междисциплинарными и рассматриваются многими специалистами: политологами, социологами, культурологами, а также лингвистами.

Среди ученых нет единого общепринятого определения понятия «политический дискурс». Кроме того, в большинстве работ параллельно употребляются понятия «политический дискурс», «язык политики», «общественно-политическая речь», «агитационно-политическая речь», «политическая коммуникация». Этот факт является свидетельством неустойчивой терминологической практики, но также многоаспектности изучения этого феномена. В.З. Демьянков выделяет в этой связи четыре подхода: политологический, чисто филологический, социопсихолингвистический и индивидуально-герменевтический [Демьянков 2002: 32–43].

Ученые понимают «политический дискурс» по-разному. А.Н. Баранов и Е.Г. Казакевич считают, что «политический язык – это особая знаковая система, предназначенная именно для политической коммуникации: для выработки общественного консенсуса, принятия и обоснования политических и социально-

-политических решений» [Баранов, Казакевич 1991: 6]. Н.А. Герасименко дает следующую дефиницию:

Политический дискурс – это сумма речевых произведений в определенном паралингвистическом контексте – контексте политической деятельности, политических взглядов и убеждений, включая негативные ее проявления (уклонение от политической деятельности, отсутствие политических убеждений) [Герасименко 1998: 22].

Довольно узкое определение дает Т. ван Дейк, который утверждает, что политический дискурс – это класс жанров, ограниченный особой социальной сферой, а именно политикой [Дейк 1989].

Кроме неоднозначности самого понятия, следет сказать, что нет однозначных ответов таке на вопрос о том, какие речевые жанры включаются в сферу политического дискурса. Т.В. Шмелева выделяет жанры предъявления политика обществу, жанры предъявления обществу принятых решений, жанры обсуждения принятых решений, жанры публичных массовых действий [Шмелева 1994: 55–57]. Н.Н. Кохтев причисляет к политическому дискурсу дипломатические, политические, военно-патриотические, митинговые, агитаторские, парламентские речи, отчетные доклады на съездах, собраниях и конференциях, а также разного рода выступления на социально-политические, политико-экономические, социально-культурные, этико-нравственные темы [Кохтев 2000: 98]. Наиболее системную типологию жанров политического дискурса представляет Е.И. Шейгал [Шейгал 2000: 307–325]. Ученая разделяет жанры этого вида дискурса в рависимости от ряда параметров:

1. Дифференциация по степени институциональности: разговоры о политике в семье, с друзьями, разговоры с незнакомыми людьми в очереди, со случайными попутчиками и т.д., анекдоты, слухи; самиздатовские листовки и граффити; телеграммы и письма граждан в знак поддержки или протеста; политический скандал; пресс-конференции; публичные политические дискуссии; публичные выступления, речи политических лидеров; законы, указы и прочие политические документы; международные переговоры, официальные встречи руководителей государств.

2. Дифференциация по субъектно-адресным отношениям: жанры, характерные для общественно-институциональной коммуникации: постановления правительства, декреты, законы, призывы, лозунги, плакаты, публичная речь, радиообращение, указ президента; жанры, характерные для коммуникации между институтом и гражданином: петиции, обращения, листовки, указы избирателей, выступления на митингах, телеграммы и письма граждан, обращенные к политикам и институтам непосредственно или через масс-медиа; жанры, характерные для коммуникации между агентами в институтах: служебная переписка, кулуарное обсуждение, закрытое заседание, переговоры, встречи политических деятелей, парламентские дискуссии, круглый стол, послание президента конгрессу, выступление премьер-министра на заседании Думы, доклад на съезде, партийная программа, программная речь на съезде партии).

3. Социокультурная дифференциация: политические социолекты, основанные на идеологической ориентации, образованные как эффект неоднородности групповых субъектов политики. Дифференциальными признаками разных политических социолектов являются: специфический набор парольных лозунговых слов, отражающих ценностные доминанты данной группы; различия в характере вербальной агрессии (степень косвенности и предпочитаемый набор инвектив); разный удельный вес речевых стереотипов и штампов; разный удельный вес эмотивно-маркированной лексики (в частности, полярные различия в оценочных коннотациях политических антропонимов); специфический набор цитат, аллюзий и прочих отсылок к прецедентным текстам, отражающим ценностные предпочтения той или иной группы.

4. Дифференциация по событийной локализации: дифференциация, основанная на разделении событий политической жизни на ритуальные (выборы и предшествующая им предвыборная кампания, церемония инаугурации, завершающая очередной выборный цикл; очередные съезды партии, церемонии патриотических праздников, ежегодное выступление президента с посланием Федеральному собранию), календарные (встречи депутатов с избирателями, парламентские слушания, визиты политических деятелей, переговоры) и спонтанные (митинги, пикеты и демонстрации, политические кампании (протеста или поддержки), акции гражданского неповиновения, политические скандалы, референдумы). Следует отметить, что в большинстве случаев коммуникативные политические события являются сложными и включают несколько речевых жанров (например, встречи депутатов с избирателями связаны с такими жанрами, как объявление, выступление депутата, ответы на вопросы, указы избирателей), существуют также жанры, непосредственно не являющиеся составной частью конкретного события, например, граффити.

5. Дифференциация по степени прототипности-маргинальности: прототипные жанры (парламентские дебаты, публичная речь политика, лозунг); периферийные жанры (интервью, мемуары политиков, аналитические статьи, письма читателей, разговоры о политике, смеховые жанры).

Е.И. Шейгал дифференцирует также жанры политического дискурса по характеру ведущей интенции, выделяя ритуальные жанры (инаугурационная речь, юбилейная речь, традиционное радиообращение), ориентационные жанры (партийная программа, манифест, конституция, послание президента о положении в стране, отчетный доклад, указ, соглашение), агональные жанры (лозунг, рекламная речь, предвыборные дебаты, парламентские дебаты).

Функциональная специфика политического дискурса по отношению к другим типам дискурса проявляется в его базовой инструментальной функции (борьба за власть, овладение властью, ее сохранение, осуществление, стабилизация или перераспределение). Однако данная функция настолько глобальна, что в ее рамках можно выделить следующие аспекты ее проявления: функция социального контроля (манипуляция общественным сознанием), функция легитимизации власти (объяснение и оправдание решений относительно распределения власти), функция

воспроизводства власти (укрепление приверженности системе, в частности, через ритуальное использование символов), функция ориентации (формирование картины политической реальности в сознании социума через формулирование целей и проблем), функция социальной солидарности (интеграция в рамках всего социума или отдельных социальных групп), функция социальной дифференциации (отчуждение социальных групп), агональная функция (инициирование и разрешение социального конфликта), акциональная функция (активизация и организация сторонников, а также умиротворение и отвлечение внимания) [Smith, Smith 1990: 225–254]. К перечисленным можно добавить еще функции, названные Д. Грейбер: распространение информации, «определение повестки дня» (*agenda setting*; выдвижение определенных вопросов в центр общественного внимания), проекция в будущее и прошлое (апелляция к образцам и свидетельствам положительного или отрицательного опыта, использованная как аргументативный прием) [Graber 1981: 198].

Целью настоящего исследования является анализ черт русского политического дискурса на примере характерных черт одного из важных жанров политического дискурса – инаугурационной речи президента. Ее традиция сложилась в США, там сформировались ее нормы и выработались принципы функционирования этого жанра. Традиционно инаугурационная речь относится к эпидейктической риторике, это хвалебная речь по торжественному случаю, которая использует высокий литературный стиль, усиление и преувеличение.

Исследователи подчеркивают высокую степень ритуальности этого жанра, преобладание в ней фатик над информативностью [Шейгал 2000: 69]. Вследствие отсутствия новизны в сообщении, внимание аудитории сосредотачивается на других элементах высказывания. Важным становится не содержание речи, а факт ее произнесения. Уникальная особенность инаугурационной речи состоит в том, что она является не только речевым действием, но также политическим действием, так как ее произнесение – это одновременно акт формального введения президента в его должность.

Для русского политического дискурса инаугурационная речь является новым дискурсивным типом. Принципы функционирования этого жанра в жанровой системе политического дискурса и принципы организации этого политического события еще формируются. В российской истории инаугурация президента проводилась только несколько раз, так что традиция произнесения инаугурационных речей насчитывает меньше двух десятилетий. Первый президент России, Б.Н. Ельцин, 11 июля 1996 г. выступил с телевизионным обращением, которое условно можно назвать первой в истории страны инаугурационной речью (следует подчеркнуть, что уже раньше можно выделить характерные элементы, связанные с инаугурацией президента: Б.Н. Ельцин 10 июня 1991 г. на съезде народных депутатов РСФСР принес присягу народу, а 9 августа 1996 г. имела место первая торжественная церемония вступления в должность избранного на второй срок президента Б.Н. Ельцина). Следующие инаугурационные речи принадлежат В.В. Путину (7 мая 2000 г., 7 мая 2004 г., 7 мая 2012 г.) и Д.А. Медведеву (7 мая 2008 г.).

В качестве материала для нашего исследования была выбрана инаугурационная речь, произнесенная В.В. Путиным 7 мая 2012 г., размещенная на официальном сайте Президента РФ¹. Данная инаугурационная речь по объему значительно меньше всех предыдущих, в ней 463 лексемы (ср.: 661 – в 2000 г.; 585 – в 2004 г.; 548 – в 2008 г.). С точки зрения композиции, она построена традиционно. В ней можно выделить вступление, главную часть и заключение. Каждая из частей условно делится на блоки, определяемые содержанием, назначением и спецификой жанра. Вступление включает в себя приветствие и демонстрацию понимания обязанностей президента России. Основная часть посвящена определению политического курса президента. Заключительная часть – это обращение к гражданам, подчеркивающее уверенность в том, что политический курс президента правильный и позволит достичь намеченные цели.

Неотъемлемой частью любой инаугурационной речи, но также любого официального выступления президента, является приветствие. В случае анализируемой инаугурационной речи оно соответствует классической структуре данного жанра:

(1) *Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!*

Оно идентично во всех инаугурационных речах В.В. Путина. Следует обратить внимание на обращение *друзья*, которое, несомненно, служит средством сближения с аудиторией и положительного расположения ей к говорящему.

Характерным элементом вступления является демонстрация понимания долга президента, его ответственности перед народом. Это единственный фрагмент текста (кроме одного предложения в заключительной части), в котором используются глаголы в форме первого лица единственного числа:

(2) *Понимаю* всю свою ответственность перед Родиной.

(3) *Сделаю* все, чтобы оправдать доверие миллионов наших граждан.

(4) *Считаю* смыслом всей своей жизни и своим долгом служение Отечеству.

Лексическим приемом, который, так как использование глаголов в форме первого лица единственного числа, акцентирует внимание аудитории на президенте, является также употребление местоимения «я»:

(5) *Ее интересы, безопасность, благополучие граждан страны всегда были и всегда останутся для **меня** превыше всего.*

Традиционным элементом вступительной части инаугурационной речи является обращение вступающего в должность президента к тем, кто голосовал за него (в речи из 2000 г. В.В. Путин обратился также к своим противникам). Выражение благодарности за поддержку подчеркивает уважение политика к гражданам, готовность опереться на них в будущем, а также является проявлением интегративной функции (объединение народа) инаугурационной речи. На внимание заслуживает факт, что в речи В.В. Путина из 2012 г. эта традиционная часть отсутствует

¹ Электронный ресурс, режим доступа: <<http://news.kremlin.ru/transcripts/15224>>, дата доступа: 6.03.2013.

(можно предполагать, что это последствие протестов россиян во время предвыборной кампании).

Основная часть анализируемой инаугурационной речи посвящена определению политического курса вступающего в должность президента. В.В. Путин кратко излагает приоритетные задачи, которые предопределяют будущее страны:

- (6) *жизнь будущих поколений, историческая перспектива государства и нашей нации зависят сегодня именно от нас, от реальных успехов в **создании новой экономики и современных стандартов жизни**, от наших усилий по **сбережению народа и поддержке российских семей**, от нашей настойчивости в обустройстве огромных российских пространств от Балтики до Тихого океана, от нашей способности **стать лидерами и центром притяжения всей Евразии**.*

Характерным элементом основной части инаугурационной речи является всегда обращение к предшественнику президенту (исключением являются речи президентов, выбранных на второй срок):

- (7) *Я вижу в этом большую заслугу **Дмитрия Анатольевича Медведева**. [...] Впереди у него сложные и очень ответственные задачи. Я желаю ему успехов.*

Новый президент подчеркивает, что будет продолжать успешную программу развития страны предыдущего срока:

- (8) *Его президентство обеспечило **преемственность и устойчивость** развития страны.*

Президент, определяя свой политический курс, не только подчеркивает значение прошлого (деятельность предыдущего президента), но говорит также о нынешнем дне и обращается к будущему:

- (9) *Сегодня у нас есть всё для движения вперед, для созидания [...].*
(10) *Сегодня мы вступаем в новый этап национального развития [...].*
(11) *И мы все должны понимать, что жизнь будущих поколений, историческая перспектива государства и нашей нации зависят сегодня именно от нас [...].*
(12) *Ближайшие годы будут определяющими для судьбы России на десятилетия вперед.*

В заключительной части вступающий в должность президент уверяет граждан в том, что его политический курс позволит достичь намеченные цели:

- (13) *Мы **добьемся наших целей** [...].*
(14) *Мы **обязательно добьемся успеха** [...].*
(15) *Мы **хотим и будем жить** в успешной России.*
(16) *Я **верю** в силу наших общих целей и идеалов.*

В.В. Путин сосредотачивает внимание слушателей на приоритетных задачах, стоящих перед государством, подчеркивая перспективы развития страны:

- (17) *Мы добьемся наших целей, если будем [...] **укреплять российскую демократию, конституционные права и свободы, расширять участие граждан в управлении***

страной, [...] чтобы стремление каждого к лучшей жизни было воплощено в совместной работе для процветания всей страны.

(18) *Мы хотим и будем жить в демократической стране, где у каждого есть свобода и простор для приложения таланта и труда, своих сил.*

(19) *Я верю [...] в наше общее стремление к свободе, к правде, к справедливости.*

Следует отметить, что в конце речи, в заключительной части преобладает обращение к будущему. Это объясняется, во-первых, тем, что логическая структура выступления опирается на переходе от прошлого через нынешний день до будущего, во-вторых, тем, что с точки зрения возможностей воздействия на слушателей наиболее важными являются начало и конец речи. Это именно в последней части инаугурационной речи говорящий пытается создать и закрепить в памяти аудитории представление о предстоящем светлом будущем, что является попыткой убедить граждан в правильности их выбора и правильности излагаемого новым президентом политического курса. Преобладание обращения к будущему над обращением к настоящему и прошлому выражается не только лексически, но и грамматически: в последнем абзаце речи В.В. Путина 63,16% глаголов в форме будущего времени, 26,31% глаголов в форме настоящего времени и 10,53% глаголов в форме прошедшего времени (сравним: во всем выступлении в целом 36,585% глаголов будущего времени, 39,025% глаголов настоящего времени и 24,39% глаголов прошедшего времени).

Хотя в заключительной части преобладает обращение к будущему, В.В. Путин подчеркивает еще раз значение прошлого, обращается к традиции и истории:

(20) *Мы обязательно добьемся успеха, если будем опираться на прочный фундамент культурных и духовных традиций нашего многонационального народа, на нашу тысячелетнюю историю, на те ценности, которые всегда составляли нравственную основу нашей жизни.*

(21) *У России великая история и не менее великое будущее.*

В заключительной части речи видны также призыв вступающего в должность президента к единству народа, подчеркивание взаимных обязательств народа и президента:

(22) *Мы добьемся наших целей, если будем единым, сплоченным народом, если будем дорожить нашим Отечеством [...], чтобы стремление каждого к лучшей жизни было воплощено в совместной работе для процветания всей страны.*

(23) *Я верю в силу наших общих целей и идеалов, [...] в силу объединенных действий граждан, в наше общее стремление к свободе, к правде, к справедливости.*

В.В. Путин заканчивает речь обычной стандартной формулой выражения благодарности и признательности: *Спасибо!*

Речь В.В. Путина реализует все основные функции инаугурационных речей, выделенные Е.И. Шейгал (при анализе американских инаугурационных речей) [Шейгал 2000: 69–77]: интегративную, инспиративную, декларативную и перформативную.

Интегративная функция инаугурационной речи заключается в призыве к единству народа. Эта функция реализуется во всех частях речи В.В. Путина с помощью следующих лексических средств:

- 1) употребление местоимения *мы* (13 словоупотреблений);
- 2) употребление притяжательного местоимения *наш* (16 словоупотреблений);
- 3) употребление местоимения *весь*, указывающего на совокупность (9 словоупотреблений);
- 4) употребление лексем *общий* (3 словоупотребления), *совместный* (1 словоупотребление), *сплоченный* (1 словоупотребление), *единый* (1 словоупотребление), *объединенный* (1 словоупотребление);
- 5) употребление наречия *вместе* (1 словоупотребление);
- 6) употребление наименований людей со значением собирательности: *граждане* (5 словоупотреблений), *народ* (5 словоупотреблений), *нация* (2 словоупотребления), *друзья* (1 словоупотребление), *общество* (1 словоупотребление).

Инспиративная функция инаугурационной речи заключается в прославлении традиционных ценностей и воодушевлении нации на предстоящие великие дела. Вступающий в должность президент вселяет в слушающих надежду на светлое будущее, веру в успех своего политического курса, подтверждает, что он является продолжателем традиции своего предшественника. В анализируемом выступлении эта функция реализуется в основной и заключительной частях. В.В. Путин представляет задачи, которые стоят перед Россией, уверяет россиян в том, что его политический курс приведет их к намеченным целям, обращается также к своему предшественнику, Д.А. Медведеву. Формированию представления аудитории о светлом будущем служат разного рода лексические единицы, которые создают в сознании слушателей положительное впечатление и образ успеха:

- (24) *возрожденная Россия;*
- (25) *дееспособное и развивающееся государство;*
- (26) *прочная экономическая и социальная база;*
- (27) *активное и ответственное гражданское общество;*
- (28) *новый этап национального развития;*
- (29) *успешная Россия;*
- (30) *процветание всей страны;*
- (31) *надежный, открытый, честный и предсказуемый партнер;*
- (32) *великое будущее;*
- (33) *мы добьемся наших целей;*
- (34) *мы обязательно добьемся успеха.*

Эта функция реализуется при помощи характерных топосов:

- 1) топоса опоры на прошлое:

- (35) *будем опираться на прочный фундамент культурных и духовных традиций нашего многонационального народа, на нашу тысячелетнюю историю, на те ценности, которые всегда составляли нравственную основу нашей жизни;*
- (36) *у России великая история;*
- (37) *бращение к предшественнику;*

2) топоса обновления:

- (38) *мир увидел возрожденную Россию;*
- (39) *модернизация всех сторон нашей жизни;*
- (40) *новый этап национального развития;*
- (41) *создание новой экономики и современных стандартов жизни;*

3) топоса величия нации:

- (42) *великая нация;*
- (43) *огромные российские пространства от Балтики до Тихого океана;*
- (44) *способность стать лидерами и центром притяжения всей Евразии;*
- (45) *у России великая история и не менее великое будущее.*

Декларативная функция заключается в провозглашении вступающим в должность президентом принципов своего политического курса. Декларация принципов не служит призывом к действию, а только предлагается для размышления. Эта функция реализуется через:

1) топос долга:

- (46) *понимаю всю свою ответственность перед Родиной;*
- (47) *Ее интересы, безопасность, благополучие граждан страны всегда были и всегда останутся для меня превыше всего;*
- (48) *Считаю смыслом всей своей жизни и своим долгом служение Отечеству, служение нашему народу;*

2) топос работы:

- (49) *Сделаю все, чтобы оправдать доверие миллионов наших граждан;*
- (50) *мы будем работать с верой в душе, с искренними и чистыми помыслами.*

Характерным топосом, служащим средством выражения декларативной функции в инаугурационных речах американских президентов, является также топос насущных проблем дня. Однако в речи В.В. Путина он отсутствует в открытом виде. Президент не говорит о конкретных проблемах, с которыми борется Россия, подчеркивает однако, что:

- (51) *ближайшие годы будут определяющими для судьбы России на десятилетия вперед;*
- (52) *создании новой экономики и современных стандартов жизни;*
- (53) *сбережении народа и поддержке российских семей;*
- (54) *настойчивости в обустройстве огромных российских пространств.*

Перформативная функция заключается в демонстрации президентом своей готовности и способности выступить в качестве лидера нации, в демонстрации понимания своей ответственности и признания ограничений, накладываемых на исполнительную власть. Характерными топосами этой функции являются топос вступления в должность, топос законопослушности и топос достойного лидера.

Топос вступления в должность заключается в том, что вступающий в должность президент констатирует, что принимает на себя бремя лидерства:

(55) *Вступая в должность Президента Российской Федерации, понимаю всю свою ответственность перед Родиной;*

топос законопослушности заключается в том, что новый президент заверяет граждан в том, что будет безусловно следовать букве и духу закона, не будет стремиться к узурпации власти, осознает и уважает конституционные ограничения своей должности, демонстрирует смирение и покорность перед лицом народа:

(56) *Мы добьемся наших целей, [...] если будем [...] дорожить нашим Отечеством, укреплять российскую демократию, конституционные права и свободы;*

(57) *мы будем работать [...] с искренними и чистыми помыслами;*

(58) *Считаю смыслом всей своей жизни и своим долгом служение Отечеству, служение нашему народу.*

Топос достойного лидера заключается в убеждении аудитории в том, что лидер обладает необходимым знанием, мудростью и видением перспективы, достаточными для того, чтобы успешно вести нацию в будущее:

(59) *Сделаю все, чтобы оправдать доверие миллионов наших граждан;*

(60) *Мы добьемся наших целей;*

(61) *Мы обязательно добьемся успеха;*

(62) *Мы хотим и будем жить в успешной России;*

(63) *Я верю в силу наших общих целей и идеалов, в силу нашей решимости преобразить страну.*

Целью данного исследования был анализ особенностей современного русского политического дискурса на примере выступления вступающего в должность президента России В.В. Путина из 2012 г. Инаугурационная речь (обращение нового президента к избирателям) занимает особое место в системе политической коммуникации. Это классический, имеющий большие традиции в США, однако новый для России дискурсивный тип. Инаугурационная речь реализует основные функции политического дискурса (функция легитимизации власти, функция воспроизводства власти, функция ориентации, функция социального контроля). Она выполняет прагматическую функцию консолидации слушателей как народа, ее цель – это также формирование связи общества с президентом. Анализируемое выступление имеет типичную для данного жанра структуру (вступление, главная часть и заключение, условно разделенные на блоки, определяемые содержанием). Оно реализует основные функции инаугурационных речей (интегративную, инспиративную, декларативную и перформативную) при помощи характерных топосов. Следует заметить, что в данном выступлении лексические единицы используются таким образом, чтобы сфокусировать внимание аудитории на положительных, нежели отрицательных, сторонах (светлое будущее страны, президент – сильный надежный лидер). Это является, несомненно, наиболее характерной чертой данного жанра политического дискурса и одной из характерных черт политического дискурса в целом.

Библиография

- Баранов, А.Н., Казакевич, Е.Г. (1991). *Парламентские дебаты: традиции и новации*. Москва.
- Герасименко, Н.А. (1998). *Информация и фасцинация в политическом дискурсе*. В: *Политический дискурс в России. Материалы рабочего заседания*. Москва.
- Дейк, Т. ван (1989). *Язык. Познание. Коммуникация*. Пер. с англ. и сост. В.В. Петров. Ред. В.И. Герасимов. Вступ. ст. Ю.Н. Караулов и В.В. Петров. Москва.
- Демьянков, В.З. (2002). *Политический дискурс как предмет политологической филологии*. Политическая наука. Политический дискурс: история и современные исследования 3, с. 32–43.
- Кохтев, Н.Н. (2000). *Культура ораторской речи*. В: *Культура русской речи*. Москва, с. 98–148.
- Шейгал, Е.И. (2000). *Семиотика политического дискурса*. Волгоград.
- Шмелева, Т.В. (1994). *Жанровая система политического общения*. В: *Политическое поведение и политические коммуникации: Психологические, социологические и филологические аспекты*. Красноярск, с. 55–57.
- Graber, D. (1981). *Political Languages*. In: *Handbook of Political Communication*. London.
- Smith, C.A., Smith, K.B. (1990). *The Rhetoric of Political Institutions*. In: *New Directions in Political Communication. A Resource Book*. Newbury Park, p. 225–254.

Электронный ресурс:

<http://news.kremlin.ru/transcripts/15224>, дата доступа: 6.03.2013.

Summary

Distinctive Features of Russian Political Discourse (Based on President Putin's Inaugural Speech, 2012)

The political discourse is a complex linguistic phenomenon which has no unequivocal perception in linguistic literature. The inaugural speech of president elect is one of the most important types of this discourse. The tradition of this genre was formed many years ago in the United States of America. It is a new genre in Russia, but it is becoming more and more important. Thanks to the intention of speech (unification of the nation), its emotional saturation, the conformity of its content with citizens' expectations, the inaugural speech is an effective instrument of political activity.

The material for the research was president Putin's inaugural speech in 2012. The author analyzed the composition of speech, its themes and linguistic features. The research proved that the examined speech complies with all functions of the genre and it also contains almost all elements typical for it.

LITERATUROZNAWSTWO I PRZEKŁADOZNAWSTWO

Людмила Бабенко

Кафедра современного русского языка и прикладной лингвистики

Уральский федеральный университет им. первого Президента России

Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНО-
-ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНЦЕПТА «ТОСКА»
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ
АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ БАРКОВОЙ)*

Key words: the concept of poetic discourse, sadness, melancholy, Anna Barkova

В русской концептологии традиционно различаются языковой и литературно-художественный концепты, которые при этом изучаются в сопоставлении с целью выявления общего и специфического в структурной организации их ментальных пространств, способах вербализации, а также с целью обнаружения более полного объема совокупности самих когнитивных признаков, свойственных данным концептам. Ментальное пространство концепта определенным образом структурировано. В нашем понимании¹ эту структуру формируют следующие типы когнитивных признаков: 1) основные, среди которых выделяются ядерные (базовые) и приядерные (конкретизирующие); 2) сопряженные (включенные); 3) прагматические ассоциативно-образные, среди которых разграничиваются метафорически-образные (основаны на внутрисловных ассоциациях) и культурологические (основаны на внешних ассоциациях); 4) модально-оценочные. В соответствии с этим выделяются слои концепта: ядро концепта – основной понятийный признак, приядерная зона – совокупность конкретизирующих когнитивных признаков, существенных для понимания концепта, зона ближней (сопряженные когнитивные признаки) и дальней (прагматические и модально-оценочные признаки) периферии.

* Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект №13-06-00444-а.

¹ Л.Г. Бабенко, *Концепция, структура и основные лексикографические параметры словаря*, в: Л.Г. Бабенко (ред.). *Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации: проспект словаря*, Екатеринбург 2010, с. 11–16.

Структура концепта, с одной стороны, универсальна, она «вообще» отображает в организованном виде разные типы знаний, составляющие ментальную сущность концепта. С другой стороны, наполняемость слоев отдельного концепта, объем и типология его когнитивных признаков уникальны, они специфичны для каждого концепта, что зависит прежде всего от набора и характера репрезентаций концепта в языке и дискурсе, поскольку концепт как ментальная сущность и его репрезентации связаны нерасторжимой связью: концепт репрезентируется различными единицами, которые, в свою очередь, в совокупности формируют определенное его ментальное поле. Каждая естественная категория располагает свойственным ей набором аспектов конкретизации, что обуславливает группу когнитивных конкретизирующих признаков, отображающих знания о ней. Эмотивные концепты, к которым относится и концепт ТОСКА, имеют устойчивый набор когнитивных признаков, регулярно конкретизирующих основной базовый когнитивный признак эмоции в определенных параметрах, таких как «оценочность», «степень интенсивности», «временная длительность», «обусловленность основной базовый когнитивный признак в эмоции», «направленность», «внешняя выраженность» и др., при этом разные эмотивные концепты различаются набором этих признаков, их конкретной репрезентацией.

ТОСКА – специфически русский концепт, который обычно с трудом осознается и осмысливается многими иностранцами. Возможно, одна из причин этого кроется в ментальной структуре этого концепта и особенностях его репрезентации в языке. Анализ репрезентаций этого концепта в разных словарях и обобщение словарных дефиниций показывает, что его ментальный смысл формируется на пересечении ментальных пространств других концептов: ГРУСТИ, ТРЕВОГИ, ТОМИТЕЛЬНОЙ СКУКИ, МУКИ, СКОРБИ и др. эмоций, которые совмещаются в нем по принципу взаимной дополнителности. Это обнаруживает анализ словарных дефиниций – репрезентантов концепта, опорный компонент которых формирующий ядро его ментальной структуры, не однословен, а представлен цепочкой лексических репрезентантов: *тяжелое гнетущее чувство, душевная тревога, уныние, томление души, мучительная скука, сопряженная со скорбью, которым трудно противостоять*. Можно сказать, что данный концепт имеет полиядерную структуру, при этом именно ядерная часть заполняет собой основной объем ментального пространства концепта, она доминирует в ментальном пространстве языкового концепта ТОСКА, представляя собой совокупность эмоций – квантов тоски, а уточняющая информация в приядерной зоне предельно свернута, минимальна и представляет собой оценочные квалификации этого чувства (*тяжелое, гнетущее, мучительное*), указание на его силу и интенсивность (этому чувству *трудно противостоять*). Ближняя и дальняя периферия не развернута.

В языке данный концепт репрезентируется небольшой группой лексем-синонимов (*тоска, уныние*, книжн. *меланхолия*, устар. *ипохондрия*, устар. *сплин*, разг. *хандра*) и их дериватов (*тоскливость, унылость*, книжн. *меланхоличность; тоскливый, меланхолический, унылый; тосковать, скучать, томиться*), которые

имеют минимальные семантические различия и дополняют когнитивные признаки в ментальную сущность концепта, преимущественно в зону его ближайшей периферии. Так, чувство тоски оказывается сопряженным с безразличием к окружающему (лексема *уныние*), с болезненной мнительностью, мрачной подавленностью духа, угнетенным состоянием (лексема *ипохондрия*). Оно может сопровождаться раздражительностью (лексема *хандра*).

Дериваты ключевого слова репрезентируют когнитивный признак, отражающий склонность некоторых людей к состоянию тоски, переживанию этого чувства (лексемы *тоскливость*, *унылость*, *меланхоличность*), а также способность выражать это чувство во взгляде, поведении, жестах (*тоскливый*, *унылый*, *меланхоличный*).

Итак, данный концепт относится к определенной когнитивной области – эмоциональному ментальному пространству. Для него свойствен определенный набор типовых конкретизирующих когнитивных признаков. В отличие от большинства эмотивных концептов в приядерной зоне ментального пространства концепта ТОСКА минимизированы типичные аспекты конкретизации эмоций: есть оценочность, интенсивность, есть единичный случай репрезентации объекта-источника тоски: *ностальгия* – тоска по родине. В целом приядерная зона ментального пространства данного концепта не заполнена когнитивными конкретизирующими признаками в полном объеме, обычно свойственными эмотивным концептам, что, возможно, и затрудняет его осмысление. Эта когнитивная лакуна восполняется лексическими средствами с совмещенной и образной семантикой в литературно-художественном дискурсе, в котором выявляются различные варианты модификации универсальной структуры этого концепта в условиях эстетико-художественной коммуникации и дискурсивные факторы, способствующие расширению объема когнитивных признаков и соответственно – ментального пространства концепта ТОСКА.

Осуществлять анализ литературно-художественного концепта можно по-разному. Во-первых, модель его анализа может быть нацелена на выявление особенностей репрезентации и формирования ментальной сущности какого-либо концепта на материале большого текстового объема – на материале определенного дискурса: поэтического, прозаического, драматургического и др., на материале произведений определенного литературно-художественного направления. Во-вторых, целью исследования может быть выявление индивидуально-авторских представлений о мире, аккумулированных в ментальной сущности концепта того или иного концепта. В этом случае материалом анализа становится все творчество определенного автора или его отдельное произведение, особенно важное в плане репрезентации концепта.

Материалом для анализа литературно-художественного концепта ТОСКА в данной статье является поэзия Анны Александровны Барковой², русской поэтессы

² См.: А. Баркова, *Вечно не та*, Изд-во Фонд Сергея Дубова, Москва 2002, 628 с.; А. Баркова. *Избранное. Из Гулаговского архива*, Иваново 1992, 300 с.

трагической судьбы, которая была неоднократно репрессирована, сидела в советских лагерях более 20 лет во времена всех режимов: при Сталине, Хрущёве, Брежнев. Ее стихи – это важнейшие произведения «лагерной литературы» советского периода. Поэзия этого автора неслучайно избрана для анализа, ибо концепт ТОСКА является одним из главных в концептосфере ее творчества. Если говорить о путях концептуального анализа поэтического наследия А.А. Барковой, то здесь возможны оба вышеуказанных варианта, так как концепт ТОСКА является ключевым для всего ее творчества, а кроме того опубликованы два ее стихотворения, особенно показательные для анализа, названия которых содержат имя ключевого концепта: *Российская тоска* и *Тоска татарская*.

Анализ лексических средств репрезентации концепта ТОСКА в поэзии Барковой показал, что поэтесса из всего набора имеющихся в языке лексем с соответствующей семантикой преимущественно использует ключевую лексику ТОСКА. Встретились единичные случаи использования деривата *тоскливый* и синонима *уныние*:

Только в книгах раскрылось мне странное –
Сквозь российскую серую пыль,
Сквозь уныние окаянное
Мне чужая привиделась быть.
[*Что в крови прижилось, то не минется...*]

Анализ поэтических контекстов, содержащих репрезентации концепта, выявил индивидуально-авторские особенности обогащения его ментальной сущности. В поэтическом дискурсе Барковой ментальная структура этого концепта находит многообразное отражение, при этом наблюдаются различные варианты модификации универсальной структуры концепта в условиях эстетико-художественной коммуникации.

Сумерки холодные. Тоска.
Горько мне от чайного глотка.
Думы об одном и об одном,
И синее что-то за окном.
[...]
Думы об одном и об одном. Синева мрачнеет за окном.
[*Черная синева*]

В данном контексте, с одной стороны, передается свойственная языковому концепту ТОСКА общая эмоциональная окрашенность этого чувства с актуализацией его мучительности, вызываемой им горечи. С другой стороны, расширяется интерпретационное поле концепта за счет когнитивных признаков, наводимых контекстом, в данном случае совмещенных когнитивных признаков, которые передают сопутствующие тоске эмоционально-интеллектуальные состояния: одиночество, переживаемое в холодном мире, интеллектуальная навязчивость чего-либо, «зацикленность» на каких-либо размышлениях, погруженность в это напряженное эмоционально-интеллектуальное состояние.

Восприятие этого чувства как тяжелого, гнетущего, характерное и для языкового концепта, в тексте дополняется изображением его интенсивности, длительности, зачастую оно метафорически ассоциируется с физическим воздействием на лирический субъект:

Оглянусь изумленно: я жила или нет?
Полумертвой втащили меня в этот свет.
Первый крик мой и тело сдавила тоска
И с тех пор отпускала меня лишь слегка.
[Оглянусь изумленно: я жила или нет?]

Подобный комплекс наводимых контекстом когнитивных признаков: интенсивность, длительность, воздействующая физическая сила – характерен в целом для литературно-художественного концепта ТОСКА в поэтическом дискурсе Барковой. Это чувство настолько сильно заполняет собой душу и ум лирической героини, что оставляет ей только ночное пространство с полным одиночеством и короткими дорогами воспоминаний о годах лишений и утрат в прошлом. Например:

Такая тоска навяжется,
Что днем выходить нет мочи.
Все вокруг незнакомым кажется
Глазам близоруким ночью.
[...]
Выйду после заката,
Брожу по коротким дорогам,
Никуда не ведущим, проклятым,
Отнявшим жизни так много.
[Такая тоска навяжется...]

В данном поэтическом контексте к вышеуказанному комплексу когнитивных признаков литературно-художественного концепта ТОСКА добавляются когнитивные признаки трагического одиночества, безнадежности, нежелание восприятия света, дня, предпочтение ночного времени и пространства дневному.

В лирике Барковой показано, что тоска как активная сила, разрушительно действующая на лирического субъекта, доставляет и сильное физическое страдание:

Да будет персть легка.
Уж раздавила грудь
Предсмертная тоска.
[Какая злая лень...]

«Грызущее» свойство тоски, уподобляемой живому существу, предстает у поэтессы обычно в образах гончих собак, волка. Например:

И меня не затравят гончими
Злая страсть и злая тоска.
[Я уж думала: все закончено...]

Сама лирическая героиня в лирике Барковой отождествляет себя с тоскующим волком:

Что, скажите, мне в этом толку,
Что я женщина и поэт?
Я взираю тоскующим волком
В глубину пролетевших лет.

И сгораю от жадности странной
И от странной, от дикой тоски.
А шатры и костры Тамерлана
От меня далеки, далеки.

[В бараке]

Обычно при подобном изображении тоски-живого существа в развернутых метафорических образах передается сложный комплекс свойств и действий, усиливающих представление о негативном разрушительном воздействии этого чувства.

Еще одна особенность концепта ТОСКА в поэзии Барковой – это осмысление его не только как личностного эмотивного концепта, но и как социально обусловленного эпохального концепта, отображающего длительное переживание безысходной тоски множеством людей, связанных одной трагической судьбой:

Белый снег и черные люди,
Чернобелое, злое, косое, упрямое,
Полосатая верстовая тоска.

[Ритм с переборами]

В приведенных поэтических строках описывается состояние тоски людей, несправедливо загнанных в лагеря и вынужденных жить в нечеловеческих условиях. Это чувство изображается скупой, лаконичной и емкой, не прямыми, а косвенными лексическими средствами с символической семантикой. Метонимические эпитеты *полосатая верстовая (тоска)*, которые являются маркерами пространственной-временной и одновременно причинной обусловленности чувства тоски, а также метафорический эпитет *черные (люди)* с характеризующей субъектной семантикой придают описываемому чувству тоски событийный характер. Окасиональный ряд семантически неоднородных прилагательных, не соотносимых в контексте с каким-либо конкретным словом, создает представление о сложном эмоциональном комплексе с его оценочной (*чернобелое, косое*) и включенной эмотивной (*злое, упрямое*) семантикой. Отмеченные выше нехарактерные для языкового концепта ТОСКА социально обусловленные и событийные когнитивные признаки включаются в ментальную структуру литературно-художественного концепта в поэтическом дискурсе Барковой средствами подтекста.

В ментальной структуре и лексических репрезентациях языкового концепта ТОСКА не находит отражение когнитивный характеризующий признак обусловленности этого чувства, он не вербализован. Поэтический дискурс, как видим, восполняет эту неполноту, актуализируя этот характеризующий признак, показывая двойственную природу тоски, которая может быть как беспричинной,

так и обусловленной чем-л. Причины тоски при ее поэтической интерпретации в лирике Барковой могут быть самыми разными: как глубоко личностными, так и социальными, эпохальными.

Наряду с причинной обусловленностью ментальная структура литературно-художественного концепта ТОСКА в поэзии Барковой дополняется когнитивным признаком, репрезентирующим возможные последствия переживания этого чувства, связанные с поиском выхода из этого состояния, избавления от него:

Вы и сами начнете к Богу
В неизбывной тоске прибегать.
Разум требует слишком много,
Но не многое может дать.

[Инквизитор]

В данном поэтическом контексте в форме речевого жанра предсказания утверждается путь к Богу как спасение от тоски, а аргументацией этого служит утверждение о том, что на Разум вряд ли можно рассчитывать как на средство выхода из этого состояния.

Еще один когнитивный признак, наводимый контекстом в ментальную структуру анализируемого концепта, это объект-источник тоски – любимый, возлюбленный, тот, к кому обращается лирический субъект стихотворений Барковой и с кем связана любовная тоска. Поэтические строки, посвященные описанию любовной тоски, также оформляются в различных речевых жанрах. Это может быть жанр признания в любви:

Вся тоска о тебе одном:
Как живешь ты и с кем говорил.

[Переменчивый сыплет снежок...]

В данном поэтическом контексте признание лирической героини, обращенное к любимому, который находится далеко, отражает ее сложное эмоциональное состояние, доминантой которого является любовь-тоска, сопровождаемая болью за любимого и в то же время заинтересованностью в его судьбе, что окрашивает это чувство светлым эмоциональным ореолом. В других стихах любовная тоска может одновременно служить напоминанием лирической героини о себе, быть просьбой, мольбой о памяти:

Сиж, грустя на холме,
А у них – огни.
Тоскующую во тьме,
Мой друг, вспомани!

[Милый враг]

Обычно подобная любовная тоска, которую испытывает лирическая героиня поэзии Барковой, обусловлена трагическими обстоятельствами, тем, что возлюбленные насильно разлучены трагическими обстоятельствами, или могут быть разлучены:

Потесней со мною, Митенька,
Посиди.
Доведет тоска, мой милый,
До греха.
Революция отбила
Жениха.

[Предательница]

Тоска также может быть вызвана и тем, что любовь лирической героини является неразделенной. Например:

Ты никогда меня не спросишь,
Любимый недруг, ни о чем,
Улыбки быстрой мне не бросишь,
Не дрогнешь бровью и плечом.
Но будет память встречи каждой
Тебя печалью томить,
И вот захочешь ты однажды
Свою судьбу переломить.

[Ты никогда не спросишь]

В данном стихотворении признание-предсказание лирической героини обращено к «любимому недругу», в нем, с одной стороны, выражено неверие в его ответные чувства, но, с другой стороны, высказана уверенность в неизбежность предстоящего печального томления «любимого недруга», которое будет вызвано воспоминаниями прошлых встреч и которое, возможно, вызовет желание изменить судьбу.

Интересным в плане изображения несчастной любви, сопряженной с тоскою, является стихотворение *Надрывный романс*, название которого сразу настраивает читателя на восприятие любовной драмы. Действительно, стихотворение выдержано в жанре жестокого («надрывного») романса с ключевыми темами несчастной любви, судьбы, тоски, безысходности. Оно пронизано интертекстуальными связями: просматриваются культурологические ассоциации с темами русских народных романсов (*Окрасился месяц багрянцем*), с Лермонтовскими мотивами (*Выхожу один я на дорогу*), с песенками Александра Николаевича Вертинского: «Оба мы нищие, оба унылые / Счастья нам не дано» (*Пей, моя девочка*) и другими произведениями:

Бродим тихо по снежной дороге,
По вечерней, чуть-чуть голубой,
Дышит все нашим прошлым убогим,
Арестантскою нашей судьбой.

И судьбы этой ход нам не ясен,
Мы давно не считаем утрат.
Белый снег. И оранжево-красен
Сиротливый тоскливый закат.

И закату здесь так одиноко,
Ничего, кроме плоских болот,
Как мы все, осужден он без срока,
Как мы все, никуда не уйдет.

Мы с тобой влюблены и несчастны,
Счастье наше за сотней преград.
Перед нами оранжево-красный
Сиротливый холодный закат.

[Надрывный романс]

В отличие от канонического жанра романса, в котором любовная тоска свойственна в первую очередь неразделенной любви, в данном стихотворении Барковой речь идет о влюбленных, но несчастных влюбленных, связанных трагическим «прошлым убогим» и не менее трагическим настоящим – «арестантской судьбой», лишаящей счастья, прячущей его «за сотней преград».

Избранный поэтессой жанр романса позволил ей создать обобщенный образ несчастных влюбленных, изобразить типичность любовной драмы, свойственной лагерному быту, прежде всего благодаря актуализации вневременного характера изображенного события, лишённого развития и временной конкретизации. Кроме того, большую роль в этом плане играет и символизация олицетворенного пространства, за счет которого психологическое состояние одиночества несчастных влюбленных приобретает в тексте космический характер: им пронизано все пространство, открытое, географическое, центральное место в котором занимает «оранжево-красный сиротливый холодный закат» на фоне «белого снега, плоских болот». Когнитивный признак одиночества репрезентируется неоднократно: дважды повторяемым прилагательным *сиротливый* в функции метафорического эпитета опорного словосочетания «оранжево-красный холодный закат», безлично-предикативным словом *одиноко* в конструкции с семантикой психологического состояния олицетворенного природного объекта («И закату здесь так одиноко»), употреблением генитивной конструкции с семантикой полного отсутствия чего-л. в окружающей среде («Ничего, кроме плоских болот»). Когнитивный смысл безысходности, сиротства, тоски усиливается приобщением объекта природы к судьбе всех несчастных осужденных («Как мы все, осужден он без срока, / Как мы все, никуда не уйдет»). Таким образом, в данном стихотворении ментальная структура концепта ТОСКА наращивается когнитивными признаками, актуализирующими космический характер этого чувства, сопряженного с эмоциями одиночества, безысходности, которые пронизывают природное пространство, заполняют душу несчастных влюбленных и всех осужденных вообще.

Как мы уже отмечали ранее, у Барковой есть два стихотворения, в которых ключевое слово концепта вынесено в заглавие: *Тоска татарская* и *Российская тоска*, – при этом в обоих случаях оно конкретизируется прилагательными с этнокультурной семантикой, акцентирующей национальную специфику осмысления лирическим субъектом данного концепта. Оба стихотворения также написаны

в романсовой (песенной) традиции в соединении с рефлексией, размышлениями, думами лирического субъекта, с вкраплениями в текст его внутреннего аутодиалога. Начинаются эти стихи в обоих случаях с цепочки эпитетов, репрезентирующих представления лирического субъекта о двух этнокультурных вариантах одного эмотивного концепта ТОСКА, при этом параметры когнитивной конкретизации различаются. В первом случае наблюдается конкретизация пространственно-временных параметров:

Волжская тоска моя, татарская,
Давняя и древняя тоска,
Доля моя нищая и царская,
Степь, ковыль, бегущие века.
[Тоска татарская]

Вынесенное в позицию заглавия имя-репрезентант концепта еще дважды повторяется в первых двух строках стихотворения, фокусируя на нем внимание читателя. Лексика с пространственно-временной семантикой, характеризующая имя концепта, неконкретна, она выражает идею вечной тоски («Давняя и древняя тоска [...] бегущие века»), заполняющей собой открытое безмерное пространство («Степь, ковыль»). Тоска лирического субъекта включена в данный пространственно-временной континуум, о чем говорит употребляемая форма притяжательного местоимения («Волжская тоска моя, татарская») и личного местоимения я («По соленой Казахстанской степи / Шла я с непокрытой головой»), поэтому время и пространство антропологизируются, присваиваются лирическим субъектом, а избранный для начальных строк речевой жанр рассуждения усиливает обобщенную семантику вечной тоски.

В последующих строках лирическая героиня повествует о своей судьбе, условно конкретизируя пространственные координаты, которые являются символическими знаками эпохи репрессий, указывая на ее типичные атрибуты («Казахстанская степь» как место ссылки политзаключенных; «колючая преграда» как символ лагерей, «Выцветший красный флаг»). В рассказ о печальной трагической судьбе встраиваются страх, мысли о возможной смерти, об ужасе настоящего:

По соленой Казахстанской степи
Шла я с непокрытой головой.
Жаждающей травы предсмертный лепет,
Ветра и волков угрюмый вой.
[...]
Позади колючая преграда,
Выцветший, когда-то красный флаг
[ibidem]

– которые завершаются категорическим решением идти до конца, не боясь и не смиряясь:

Так идти без дум и без боязни,
Без пути, на волчьих, на огни,

К торжеству, позору или казни,
Тратя силы, не считая дни.
[ibidem]

В то же время утверждается и неопределенность будущего, в котором лирическая героиня осознает для себя два полярных исхода: спасение или гибель:

Впереди – погибель, месть, награда,
Солнце или дикий гневный мрак.
[ibidem]

Эти размышления о собственной судьбе, о возможности гневного мрака перекликаются на историческое прошлое, взгляд лирической героини направляется как бы из космоса вниз, на Европу, на весь мир, в котором она видит картину трагического разрушения и страдания, косвенно связанного с угнетением народов, их порабощением:

Гневный мрак, пылающий кострами,
То горят большие города,
Захлебнувшиеся в гнойном сраме,
В муках подневольного труда.
[ibidem]

Завершает стихотворение аутодиалог лирического субъекта с собой, со своей душой, в котором она успокаивает себя, повторяя вечную истину о том, что все в жизни проходит, исчезает, забывается («Все сгорит, все пеплом поразвееется»), но это самоуспокоение не помогает, наоборот, беспокоит, томит, вызывает тоску, что обнаруживается в вопросе («Отчего ж так больно мне дышать?») и последующем ответе-аргументации:

Крепко ты сроднилась с европейцами,
Темная татарская душа.

Подобный аутоанализ лирического субъекта обнаруживает ее сочувствие, жалость к Европе и подчеркивает родство татарской души с европейской, родство тоски.

Стихотворение *Российская тоска* также начинается цепочкой эпитетов с включением обращенного к тоске высказывания-признания: «Ты нам опять близка». Метафорические эпитеты актуализируют комплекс когнитивных признаков российской тоски: ее интенсивность, безмерность («Широкая, бездонная»), этнокультурную обусловленность («Хмельная, потогонная»), а также такой признак, как принадлежность массовому российскому сознанию, о чем свидетельствует субъектная позиция, репрезентируемая формами местоимений множественного числа (*нам, мы, наши души, нас*), выполняющих разные текстовые функции. Занимая субъектную позицию, местоимение *мы* в сопряжении с событийными предикатами лаконично передает суть советской сталинской эпохи, ключевыми словами которой являются антонимы *строить* и *рушить* и в которой жизнь отдельного человека ничего не стоит, а душа является предметом игры беса, черта:

Хмельная, потогонная,
Ты нам опять близка,
Широкая, бездонная,
Российская тоска.
Мы строили и рушили,
Как малое дитя.
И в карты в наши души
Сам черт играл шутя.

[*Российская тоска*]

В данном лирическом произведении Барковой репрезентируется когнитивный признак социальной обусловленности российской тоски за счет включенности субъекта в историческое прошлое, причастности субъекта к этому прошлому и ответственности за него. Об этом говорит и следующая поэтическая строчка, в которой для оценки массового субъекта используется конструкция тождества с характеризующим оценочным предикатом, семантически связанным с поэтическим предтекстом и развивающим когнитивный признак безбожия, бесовского начала в природе российской тоски тоталитарной эпохи:

Нет, мы не Божьи дети,
И нас не пустят в рай.

[*ibidem*]

Эта поэтическая аргументация, связанная с утратой Бога, обуславливает мрачную пессимистическую картину, в которой лирический субъект узнает в будущем, которое готовят для всех, знаки уже пережитого трагического прошлого, и в котором всех «ждет широкая / Российская тоска»:

Готовят на том свете
Для нас большой сарай.
Там нары кривобокие,
Не в лад с доской доска,
И там нас ждет широкая
Российская тоска.

[*ibidem*]

Стихотворение начинается и заканчивается номинацией имени концепта, которое употребляется в стихотворении трижды: в названии, в первом и последнем четверостишиях.

Итак, «минимализм» ментальной структуры языкового концепта ТОСКА, который заключается в неразработанности его приядерной зоны и зон ближней и дальней периферии, в поэтическом дискурсе Барковой преодолевается. Обогащение ментального пространства этого литературно-художественного концепта в поэзии Барковой происходит за счет актуализации и расширения объема различных конкретизирующих когнитивных признаков, восполняющих текстовыми средствами «минимализм» языкового концепта.

Библиография

- Бабенко, Л.Г. (2010). *Концепция, структура и основные лексикографические параметры словаря*. В: Л.Г. Бабенко (ред.). *Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации: проспект словаря*. Екатеринбург.
- Баркова, А. (1992). *Избранное. Из Гулаговского архива*. Иваново, 300 с.
- Баркова, А. (2002). *Вечно не та*. Изд-во Фонд Сергея Дубова. Москва, 628 с.

Summary

Mechanism of Formation of a Literary and Art Concept MELANCHOLY (on the Material of Poetry of Anna Barkova)

The article deals with a literary and art MELANCHOLY concept's mental entity. Poetry of Anna Barkova is chosen as a material for the study. Various modifications of the concept's universal structure in conditions of the aesthetic and artistic communication are shown, discursive factors promoting these modifications are revealed.

Nel Bielniak

Instytut Neofilologii

Uniwersytet Zielonogórski

ROSYJSKA WIELOKULTUROWOŚĆ W OPOWIADANIACH ALEKSANDRA KUPRINA

Key words: multiculturalism, ethnocentrism, xenophobia, national identity, tradition cultivation

Na początku XX wieku polski czytelnik chętnie sięgał po utwory Aleksandra Kuprina (1870–1938), pisarza obyczajowego, poruszającego między innymi kwestie wynikające z kontaktu różnych kultur, religii i języków na niejednorodnym etnicznie terytorium państwa rosyjskiego. Jako pierwszy przetłumaczony został *Pojedynek* (Поединок), tuż po ukazaniu się w 1905 roku wersji oryginalnej. Początkowo Polacy mogli zapoznać się jedynie z obszernymi fragmentami powieści, lecz już w następnym roku utwór pojawił się w całości. Od tej pory rosyjskiego prozaika regularnie przekładano i publikowano, zarówno w formie oddzielnych opowiadań w periodykach, jak i całych tomów nowel. Popularność i poczytność autora *Jamy*, o czym świadczą liczne wznowienia, były skutkiem łączenia postawy oskarżyciela z wiernym i obiektywnym odtwarzaniem realiów społeczno-politycznych Rosji carskiej przełomu stuleci, których to realiów obserwatorami i uczestnikami, o czym nie należy zapominać, byli wówczas nasi rodacy. Wśród czytelników Kuprina wymienić można Zofię Nałkowską oraz Władysława S. Reymonta. Co warte zauważenia, Jerzy R. Krzyżanowski dostrzega paralele między *Pojedynkiem* a *Marzycielem* (1910) oraz między *Molochem* (Молох, 1896) a *Ziemią obiecaną* (1899)¹.

Twórczość prozaika nie tylko pozostawiła ślad w literaturze polskiej, w niej samej także można odnaleźć sporo poloników. Działo się tak nieprzypadkowo, bowiem w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku Kuprin najpierw stacjonował, później zaś wędrował w poszukiwaniu pracy po terenach zaanektowanych przez rosyjskie imperium.

¹ Zob. F. Sielicki, *Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej*, Slavica Wratislaviensia 1996, t. 88, s. 85–94; J.R. Krzyżanowski, *Marzyciel i Wampir*, w: *Reymont. Z dziejów recepcji twórczości*, wybór tekstów i wstęp B. Kocówna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975, s. 169–172; Z. Nałkowska, *Dzienniki (1909–1917)*, t. 2, oprac., wstęp i komentarz H. Kirchner, Warszawa: Czytelnik 1976, s. 192, 419, 448. Zofia Nałkowska odnotowuje, że czytała następujące utwory Kuprina: w 1911 roku powieść *Jama* (Яма, 1909–1915), w 1916 – opowiadanie *Natałka Dawydówna* (Наталя Давыдовна, 1896) oraz w 1917 – mikropowieść *Olesia* (Олеся, 1898).

Część z nich przed rozbiorami wchodziła w skład Rzeczypospolitej Polskiej. Przebywając na Podolu, Wołyniu, Polesiu lub na Krymie, pisarz chętnie obcował z miejscową ludnością, poznawał jej język, tradycje, mentalność, a zgromadzony w ten sposób bogaty materiał dokumentalny posłużył mu za kanwę wielu utworów. Mimo że nieraz zarzucano Kuprinowi, zwłaszcza w przypadku wczesnych utworów, nadmierny sentymentalizm lub chęć epatowania czytelnika mocnymi scenami, nie można jednocześnie odmówić mu rzetelności w opisach zwyczajów i obyczajów oraz realiów życia danej grupy etnicznej lub społeczności. Jak sam zauważa w rozmowie z Andriejem Siedychem: „Ничего никогда я не выдумывал [...]. Жил я с теми, о ком писал, выпитывал их в себя, барахтался страстно в жизни. Потом все постепенно отстаивалось и нужно было только сесть за стол и взять перо...”².

Polski epizod związany z ówczesną obyczajowością pojawia się w *Junkrach* (Юнкера, 1928–1933). Bazyli Białkożowicz upatruje w tej powieści echa lektury i pewne reminiscencje z Sienkiewiczowskiej *Trylogii*³. Kuprin wplata ponadto polskie wątki w fabułę wielu utworów jako element miejscowych realiów lub pewne charakterystyczne cechy obyczajowe, do których zaliczyć można tytułowanie, ciągle używane zwroty grzecznościowe czy katolickie obrzędy. Ukazuje także różny stosunek Rosjan do Polaków: od przyjaznych wypowiedzi po agresywne obelgi nacjonalistów. Temat ten, na przykładzie utworów *Choraży* (Прапорщик армейский, 1897), *Olesia* (Олеся, 1898), *Słowiańska dusza* (Славянская душа, 1894), *Bransoletka z granatów* (Гранатовый браслет, 1911), *Jak byłem aktorem* (Как я был актером, 1906), *Wesele* (Свадьба, 1908), *Odra* (Корь, 1904), *Uczeń* (Ученик, 1908) oraz *Lazurowe wybrzeża* (Лазурные берега, 1913), zgłębił Zbigniew Barański w artykule *Okruchy polskie w twórczości Aleksandra Kuprina*⁴. Warto dodać tylko, że owe „okruchy” występują również w opowiadaniach *Mięso* (Мясо, 1895), *Z ulicy* (С улицы, 1904), *Milioner* (Миллионер, 1895) oraz *Fiołki* (Фиалки, 1915). W dwóch pierwszych utworach ukazane zostały Polki – piękne, namiętne i żyjące z rozmachem, podobnie jak bogaci ziemianie z *Milionera*, którzy lubią grać w karty na wysokie stawki. Natomiast w *Fiołkach* mowa jest o szlachcicu, panu Pniewskim, niegdyś silnym i urodziwym, teraz biednym i kalekim, który pracuje jako stróż, aby utrzymać liczną rodzinę. Narrator określa Pniewskiego mianem złośliwego służbisty i starego donosiciela.

Polacy nie są jednak jedyną mniejszością narodową, która zaciekała Kuprina. W jego utworach pojawiają się portrety między innymi krymskich Tatarów i Greków, Poleszuków, Ukraińców, Czerkiesów, Gruzinów, Persów, Niemców, Ormian, Rusinów, Karaimów oraz Żydów. Można pokusić się o stwierdzenie, że owo szczególne zainteresowanie innymi niż rosyjska nacjami wynikało z faktu, iż w żyłach pisarza płynęła tatarska krew. Współcześni mu twórcy – Iwan Bunin, Nadieżda Teffi oraz Andriej Siedych – zwracali uwagę na pewne charakterystyczne cechy wyglądu zewnętrznego prozaika.

² А. Седых, А.И. Куприн, [online] <<http://www.a-port.us/gene/story/seduh.htm>>, dostęp: 17.12.2012.

³ B. Białkożowicz, *Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku*, Warszawa: Książka i Wiedza 1971, s. 228.

⁴ Z. Barański, *Okruchy polskie w twórczości Aleksandra Kuprina*, Przegląd Rusycystyczny 1994, z. 1–2, s. 65–69.

Autorka *Kobiety demonicznej* odnotowała w swoich wspomnieniach: „Внешность у Куприна была не совсем обычная. Был он среднего роста, крепкий, плотный, с короткой шеей и татарскими скулами, узкими глазами, перебитым монгольским носом. Ему пошла бы тубетейка, пошла бы трубка”⁵. Bunin podkreślił ponadto, że w pewnym okresie Kuprin wręcz obnosił się ze swoim pochodzeniem⁶. Natomiast Siedych przytaczał następujące słowa prozaika o jego zamilowaniu do koni: „– У меня эта любовь к лошадям в крови, от татарских предков, – вполне серьезно говорил он. – Мать была урожденная княжна Куланчакова. А по-татарски «куланчак» означает – жеребец...”⁷.

Różnorodność etniczna, wyznaniowa i kulturowa imperium rosyjskiego na przełomie XIX i XX wieku nie szła w parze z tolerancją, dlatego pisarz często poruszał takie tematy, jak etnocentryzm, szowinizm, ksenofobia czy nacjonalizm. Hasła te można uznać za swego rodzaju wyróżniki oficjalnej linii politycznej państwa zarówno pod rządami Aleksandra III, jak i jego następcy, Nikołaja II, który podporządkował swoje działania skrajnie nacjonalistycznej i antyinteligentckiej teorii o „prawdziwych Rosjanach” („истинно русских людях”). Teoria ta podsycala atmosferę nienawiści do narodów innych niż rosyjskie oraz wyznań innych niż prawosławne, a także sprzyjała powstawaniu organizacji czarnosecinnnych, które car wspierał i współfinansował (przykładowo Związek Narodu Rosyjskiego), dając tym samym przyzwolenie na dyskryminację ludności nieprawosławnej oraz nagonki na mniejszości narodowe, zwłaszcza społeczność żydowską. Działania te miały między innymi pomóc w walce z obcym kapitałem, rozładować nastroje społecznej frustracji oraz odwrócić uwagę od nieudolnych rządów imperatora, które doprowadziły Rosję na skraj upadku⁸.

Echa wielkoruskiej ideologii, która połowę poddanych imperium umieściła na pozycji wrogów państwa, wybrzmiewają w całym szeregu utworów Kuprina. Kreślił on sylwetki zarówno jej gorliwych wyznawców, jak i ich ofiary. W najtrudniejszym położeniu znajdowali się wówczas wyznawcy judaizmu, ponieważ fobie antysemickie od dziesięcioleci były silnie utrwalane w świadomości rosyjskiego społeczeństwa oraz wykorzystywane przez władzę jako narzędzie intryg politycznych, przybierając nierzadko postać pogromów inicjowanych przez tajną policję carską. Przedstawiciele narodu izraelskiego obwiniano głównie o trudną sytuację gospodarczą, konflikty społeczne czy wzrost nastrojów rewolucyjnych. Takie wątki pojawiają się we wspomnianych już opowiadaniach *Odra*, *Wesele*, *Uczeń*, a także *Gambrinus* (Гамбринус, 1907), *Czarna błyskawica* (Черная молния, 1913), *Utoczkin* (Уточкин, 1916) oraz *Krzywda* (Обида, 1906). Bohater ostatniego utworu obnaża policyjno-czarnosecinny terror po rewolucji 1905 roku oraz prawdziwe cele, jakim mają służyć akty przemocy skierowane przeciwko Żydom:

⁵ Н. Тэффи, *Моя лемонусь*, [online] <http://www.vek-serebra.ru/teffi/moia_letopis.htm>, dostęp: 17.12.2012.

⁶ И. Бунин, *Куприн*, w: idem, *Воспоминания*, Paris: LEV 1981, s. 141–142.

⁷ А. Седых, op. cit.

⁸ Zob. K. Cieślak, J. Smaga, *Kultura Rosji przełomu stuleci (XIX–XX). Życie intelektualne, sztuka, literatura*, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1991, s. 9–11; zob. też [online] <http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_Sotnia>, dostęp: 16.06.2013.

Каждый из нас понимает [...] истинную суть погромов. Каждый раз, после крупной подлости или постыдной неудачи, совершив ли казнь мученика в темном крепостном закоулке, передернув ли на народном доверии, кто-то скрытый, неуловимый пугается народного гнева и отводит его русло на головы неповинных евреев⁹.

Restrykcyjna polityka władz carskich wobec ludności żydowskiej, ograniczająca jej prawa obywatelskie, ekonomiczne i religijne, terytorialna izolacja w „strefach osiedlenia”, zakaz wykonywania niektórych zawodów oraz utrudniony dostęp do wykształcenia sprawiły, że egzystencja większej części rosyjskich wyznawców religii Mojżeszowej naznaczona była poniżeniem, nędzą i głodem. Kuprin, którego pułk stacjonował w pogranicznym żydowskim miasteczku, dobrze poznał ubogie życie jego mieszkańców, a następnie utrwalił je, między innymi, w opowiadaniach *Ku sławie* (*К славе*, 1894), *Tchórz* (*Трус*, 1903), *Żydówka* (*Жидовка*, 1904) i *Milioner*¹⁰.

Podobne środki stosowano wówczas w Rosji wobec innych grup etnicznych. Pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku zaczęto usuwać Ormian z wysokich stanowisk państwowych, następnie zamknięto ormiańskie szkoły, a mienie kościelne skonfiskowano¹¹. Nieprzyjazne nastawienie Rosjan do przedstawicieli tej mniejszości znalazło w twórczości Kuprina wyraz głównie w warstwie językowej. W niektórych utworach, na przykład *Po ciemku* (*Впотьмах*, 1892), *Uczeń i Odra*, bohaterowie używają nacechowanych pejoratywnie etnonimów. Podróżującej samotnie pociągiem młodej kobiecie z mikropowieści *Po ciemku* narzuca się mężczyzna o wschodniej aparycji. Z opresji ratuje Zinę współpasażer, który wyprasza impertynenta z wagonu. Przyglądający się scenie ludzie werbalizują negatywne emocje za pomocą etnofolizmu: „– Что такое? В чем дело? Ишь ты, армяшка проклятый, кишмиш... В чем дело-то, господин? – слышалось с разных сторон”¹².

W szkicu *Obrazki z podróży* (*Путевые картинки*, 1900) prozaik przypomina natomiast niezbyt odległe w czasie wydarzenia historyczne, ukazujące po raz kolejny bezwzględne oblicze samodzierżawia. Bohaterowie utworu opowiadają o tragicznych skutkach złożenia broni przez Czerkiesów 21 maja 1864 roku; wydarzenie to zakończyło trwającą ponad cztery dekady wojnę kaukaską. Dla Rosjan podbój Kaukazu był jedynie kolejnym etapem ekspansji terytorialnej, natomiast dla ludności autochtonicznej oznaczał wygnanie i czystki etniczne. Dziewięćdziesiąt procent czerkieskiej populacji zginęło w rezultacie działań wojennych lub z głodu, lub zostało przesiedlone¹³. Warto przytoczyć słowa duchownego, który wspomnienia dawnych czasów, przed nastaniem Rosjan, gdy Północny Kaukaz był krainą mlekiem i miodem płynącą, konfrontuje z następstwami podboju:

⁹ А.И. Куприн, *Обида*, w: idem, *Собрание сочинений в девяти томах*, t. 4, Москва: Художественная Литература 1970–1973, s. 300.

¹⁰ Więcej na ten temat zob. Z. Barański, *Wątki żydowskie w twórczości Aleksandra Kuprina*, Midrasz 2005, nr 5(97), s. 16–19; N. Bielniak, *Motywy żydowskie w twórczości Aleksandra Kuprina*, w: A. Ksenicz, P. Stasińska (red.), *Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi*, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008, s. 47–57.

¹¹ Zob. [online] <<http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%EC%FF%ED%E5>>, dostęp: 8.06.2013.

¹² А.И. Куприн, *Впотьмах*, w: idem, *Собрание сочинений...*, t. 1, s. 52.

¹³ M. Chudziak, *Być Czerkiesem*, [online] <http://www.new.org.pl/2012-06-25,byc_czerkiesem.html>, dostęp: 9.06.2013; <<http://www.kaukaz.info/gruzja-uznala-ludobojstwo-czerkiesow.html>>, dostęp: 9.06.2013.

Старики и теперь вспоминают, как здесь жилось при черкесах. Вы поглядите-ка в окно. Голо, пусто, хоть шаром покати. А прежде здесь вековые леса росли, фазаны, дикие кабаны, олени водились, поля каналами орошались – мало ли чего не было... Когда после бунта выселились черкесы в Малую Азию, а сюда пришли на их земли неведомые, хищные люди, все пошло, и пошло вверх ногами. Смотреть жалко-с¹⁴.

Kolejny bohater, myśliwy, uzupełnia tę wypowiedź informacjami o tym, jak przebiegała masowa deportacja Adygów do Imperium Osmańskiego. Grecy przewozili nieprzyzwyczajonych do morza północnokaukaskich górali przepełnionymi statkami, w niehumanitarnych warunkach, nie troszcząc się o swoich pasażerów, mimo że wśród nich były kobiety i dzieci. Nieludzkie traktowanie Czerkiesów było rezultatem cichego przyzwolenia władzy oraz specyficznej sytuacji, w jakiej znaleźli się górale:

Да и тут еще, вдобавок, за погибшего черкеса никакой ответственности нельзя было ожидать, потому что, с одной стороны, он от России как бы отрекся, а с другой стороны, не успел еще принять турецкого подданства... Ну вот, и погибли черкесы целыми сотнями на море. Конечно, обирали их раньше... Многие грекосы с тех самых пор поразжились. Теперь миллионеры...¹⁵.

Nielicznym, którym udało się dotrzeć do miejsc przeznaczenia (na przykład do Trapezuntu), wcale nie żyło się lepiej. Nie mieli gdzie mieszkać, nie nadzielano ich ziemią, więc wbrew woli musieli cierpieć biedę i głód. Niektóre rodziny, aby przetrwać choć kilka tygodni, zmuszone były sprzedawać dzieci w niewolę.

Kuprin przedstawia w swojej twórczości sytuację zetknięcia się przedstawicieli różnych kultur, ukazuje złożoność takiego spotkania oraz jego implikacje, między innymi ujawnienie się wyraźnej opozycji „swoi – obcy”. Grupy etniczne są zjawiskiem antropologicznym o charakterze wspólnotowym, co oznacza, że zarówno wyodrębniają się z jakiejś zbiorowości szerszej, jak i jej przeciwstawiają, dzieląc ją na „swoich” i „obcych”. Zjawisko ksenofobii, o nim tu bowiem mowa, jest wręcz, zdaniem niektórych badaczy, w stopniach niższych niezbędne dla istnienia wspólnoty. Dopiero w swych stopniach wyższych staje się cechą groźną¹⁶. Z punktu widzenia socjobiologii, więzi etniczne oraz potrzeba obrony tożsamości zbiorowej mają pierwotne, biologiczne podłoże. Do utożsamiania się z własną grupą oraz do odczuwania odrębności, lęku i niechęci wobec grup obcych skłaniają nas genetyczne dyspozycje gatunku ludzkiego. Jak konstatuje Jan Błuszkowski,

Odróżnianie swoich i obcych sprzyja przetrwaniu populacji, zwiększa jej sprawność w walce i przyspiesza proces ewolucji. W społecznościach ludzkich sposoby i kryteria odróżniania swoich i obcych mają charakter kulturowy. Tworzą one kompleks historycznie ukształtowanych

¹⁴ А.И. Куприн, *Путевые картинки*, w: idem, *Собрание сочинений...*, t. 3, s. 92.

¹⁵ Ibidem, s. 93.

¹⁶ Zdaniem Zbigniewa Musiała i Bogusława Wolniewicza, można wyróżnić co najmniej cztery stopnie ksenofobii. Pierwszym jest ostrożność wobec obcych („obcy, więc może niebezpieczny”); drugim jest niechęć wobec nich jako naruszających nasz obyczaj i nasze kanony moralne lub estetyczne; trzecim jest wrogość, a czwartym – nienawiść. Badacze podkreślają, że wszystkie one mogą mieć dwojakie źródła, które nie wykluczają się nawzajem: może to być strach przed obcym i jego nieznanymi zamiarami – bądź odraza do jego sposobu życia, nazbyt od naszego odbiegającego. Zob. Z. Musiał, B. Wolniewicz, *Ksenofobia i wspólnota*, Kraków: Arcana 2003, s. 27–31, 44.

cech społeczno-kulturowych określających specyfikę danej grupy i wyznaczających symboliczne granice etniczne między swoimi i obcymi¹⁷.

Codzienne obcowanie bohaterów Kuprina z odmiennością etniczną, doświadczanie na przykład religijności „innych”, znajduje wyraz w ich postawach: od skrajnie nacjonalistycznych, przez neutralne, po przyjazne i tolerancyjne. Problem niebezpiecznych form ksenofobii – wrogości i nienawiści – połączonych z szowinizmem został już poruszony na przykładzie dążenia grupy dominującej do asymilacji, akulturacji czy wręcz unicestwienia innych grup narodowych. Należy zwrócić uwagę także na etniczno-kulturowe wyznaczniki obcości. Zamieszkujące Rosję mniejszości narodowe wyróżniały się językiem, wyznaniem, systemem wartości, ubiorem, obyczajami etc. Ich przedstawiciele, aby móc funkcjonować choćby na marginesie rosyjskiego społeczeństwa, musieli przyswoić sobie język urzędowy. Mimo to łatwo identyfikowanym wyznacznikiem obcości była właśnie warstwa językowa. W wielu utworach prozaika pojawiają się postaci mówiące łamanym językiem rosyjskim lub wplatające w wypowiedzi rodzime wyrażenia. Napastujący Zinę Ormianin z mikropowieści *Po ciemku* zwraca się do niej słowami: „– Чего, барышня, боишься? Я тебэ нэ мидвед, кусать не хочу. Ну? Поджалустра, прошу: нэ пугайся”¹⁸. Ukraiński koloryt oraz swoista egzotyka przejawiają się natomiast w pięknie odmalowanej postaci Jasia ze *Słowiańskiej duszy*, który stara się wprawdzie mówić poprawnie, jednak w chwilach wzburzenia wtrąca ukraińskie przekleństwa lub całe frazy:

– Как? Вы мне водки не даєте? – кричал Ясь, потрясая брюками и жилетами, нанизанными на руках. – Що? У меня денег нема? А это що? А це? А це? Це? [...] – Давай за все гривенник. Щоб вам очи повылазили! Щоб вас болячка задушила! Щоб вы малэнькими булы здохлы!¹⁹

Jaś używa także ukraińskiego słowa *буцыгарня* zamiast rosyjskiego *арестантская* oraz *доня* zamiast *дочка*. Natomiast w opowiadaniu *Śledztwo* (*Дознание*, 1894) tłumacz, którego tatarskie korzenie zostały uwypuklone w samym już nazwisku, w które, jak zauważa narrator, „входили и «оглы», и «гирей», и «мирза»”, zwraca się do młodego oskarżonego o kradzież Tatara słowami «Эй! Харандаш, корáли мингá», co po rosyjsku oznacza „Przyjacielu, patrz na mnie”.

Podobnych przykładów w twórczości Kuprina można odnaleźć dziesiątki, ponieważ niemal w każdym utworze pojawiają się przedstawiciele innej niż rosyjska narodowości, a wraz z nimi ich etnolekt, obyczaje i tradycje. Co istotne, bezpośredni kontakt różnych, wchodzących we wzajemne oddziaływanie grup kulturowych prowadzi do stopniowych zmian, do przystosowania obcych treści do własnej kultury. Ze zjawiskiem dyfuzji kulturowej czytelnik ma do czynienia na przykład w *Obrazkach z podróży*. Autor wprowadza postaci dwóch Gruzinów – milczącego, dwudziestokilkuletniego, oraz obytego, sympatycznego i towarzyskiego – pijących wino z jednej szklanki, nabożnie, po kolei, jakby wypełniali jakiś ważny, prastary obrzęd. Następnie starszy z nich częstuje winem

¹⁷ J. Błuszkowski, *Stereotypy a tożsamość narodowa*, Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa” 2005, s. 15–16.

¹⁸ А.И. Куприн, *Впотьмах*, s. 51.

¹⁹ Idem, *Славянская душа*, w: idem, *Собрание сочинений...*, t. 1, s. 163.

współtowarzyszy, między innymi oficera Kozackiego Wojska Czarnomorskiego, który z szacunkiem odnosi się do odmienności kulturowej Gruzinów:

Офицер, по-видимому хорошо знакомый с местными обычаями, прежде чем пить, также пристально посмотрел в лицо грузину и сказал: «Алла верды!», на что последний радостно и торопливо произнес: «Яшки-ол! Яшки-ол!..»²⁰.

Etniczno-kulturowym wyróżnikiem obcości jest także wspomniana odmienność religijna, budząca nierzadko niechęć i agresję. W opowiadaniu *Wesele* autor ukazuje wrogie i pogardliwe nastawienie do wyznawców judaizmu i katolików, w *Śledztwie* zaś – do muzułmanów. Jeden z bohaterów tego opowiadania z lekceważeniem wypowiada się o Tatarach, nazywając ich najbardziej bezmyślnym narodem, który modli się do księżycy i nie zna języka rosyjskiego. Oczywiście Kupin nie ogranicza swoich spostrzeżeń wyłącznie do przejawów awersji i nieżyczliwości. Narrator opowiadania *W głuszy leśnej* z jawną sympatią i zainteresowaniem utrwała poleską tradycję wznoszenia krzyży przydrożnych, co znajduje wyraz w szczegółowym opisie:

Эти кресты, с прибитыми наверху их, сделанными из дерева орудиями страданий Христовых – копьем, лестницей, молотком и тридцатью серебряниками, – всегда можно увидеть на перекрестках полесских дорог. Снизу на эти кресты молодцы и девки вешают сшитые ими по обету пестрые фартуки и полотенца, что придает кресту своеобразный – дикий и живописный вид²¹.

Najłatwiej dostrzegalnym wyznacznikiem obcości kulturowej przedstawicieli innych grup etnicznych jest jednak ich wygląd – sylwetka, ubiór, często rodzaj zarostu. Narrator *Obrazków z podróży*, zawierających wrażenia pisarza z wyprawy pociągiem z Kijowa na południe Rosji, zakończonej kilkumiesięcznym pobytem w Odessie, konstatuje, że bliskość Kaukazu daje się wyraźnie odczuć. Pośród pasażerów zaczynają bowiem przeważać miejscowi Kozacy oraz Ormianie, Gruzini i Grecy, a za oknami w stanicach widać smukłych, brodatych, smagłoliczych mężczyzn, odzianych w черкески i papachy, z kindżałami za pasem. W *Gambrinusie* zaś wśród licznych portretów obcokrajowców i reprezentantów mniejszości narodowych znajduje się krótki *passus* obrazujący Turków i Persów: „смуглые турки в грязных чалмах и в широких до колен, но обтянутых вокруг голени шароварах, коренастые мускулистые персы, с волосами и ногтями, окрашенными хной в огненно-морковный цвет”²². Nie należy też zapominać, że w niektórych utworach prozaik uwypukla stereotypowe postrzeganie pewnych nacji. Żydzi najczęściej odziani są w luźny, brudny i zniszczony przyodziewek (*Żydówka*, *Tchórz*, *Ku sławie*, *Milioner*), a Niemcy z opowiadań *Krzak bzu* (*Кыцм супени*, 1894) i *W zwierzyńcu* (*В зверинце*, 1895) ukazani są jako schludni, czysti i pedantyczni ludzie.

W warunkach wielokulturowości przedstawiciele różnych wspólnot narodowych manifestują swoją odrębność zarówno poprzez kultywowanie tradycji, przestrzeganie obyczajów i posługiwanie się językiem ojczystym, jak i podkreślanie więzi z krajem lat

²⁰ Idem, *Путевые картинки*, s. 92.

²¹ Idem, *Лесная глушь*, w: idem, *Собрание сочинений...*, t. 2, s. 309.

²² Idem, *Гамбринус*, w: idem, *Собрание сочинений...*, t. 4, s. 341.

dziecinnych lub lokalnym środowiskiem; przybierać to może postać motywacji hubrystycznej lub po prostu tęsknoty za domem rodzinnym. Patriotyzm lokalny i duma przepełniają słowa starszego Gruzina z *Obrazków z podróży*, który przekonuje współtowarzyszy, że takich winnic, takiego bydła, takich lasów i gór oraz czystości obyczajów nie znajdzie się nigdzie poza jego błogosławionym krajem. Natomiast wypowiedzi przebywających z dala od ojczystych okolic bohaterów *Bransoletki z granatów*, *Odry* oraz *Czarnej mgły* (*Черный туман*, 1905) przybierają nostalgiczne zabarwienie. Wiera i Anna z *Bransoletki z granatów* oraz student Woskriesiński z *Odry* mieszkają na południu Rosji, nie potrafią jednak przywyknąć do krymskich pejzaży, przestworu morza oraz przyrody:

Ну, вот, цветет магнолия... позвольте, да разве это – растение? Так и кажется, что ее нарочно сделали из картона, выкрасили зеленой масляной краской и сверху навели лак. Природа! Солнце встало из-за моря – и жара, а вечером бултых за горы – и сразу ночь. Нет птиц. Нет наших северных зорь с запахом молодой травки, нет поэзии сумерек, с жуками, с соловьем, со стадом, бредущим в пыли. Какая-то оперная декорация, а не природа²³.

Odwrotną sytuację autor przedstawił w *Czarnej mgle*. Bohater, zdrowy, energiczny i żądny wiedzy Ukrainiec, przyjeżdża zawojować Petersburg, co mu się, nawiasem mówiąc, udaje, lecz jego historia ma tragiczny finał. Surowy północny klimat, ciągły deszcz, wieczny pośpiech i nieprzyjaźni ludzie nie służą mu, Boris zapada na suchoty i umiera. Podczas pobytu w stolicy ten wesoły z natury człowiek jest prawdziwie szczęśliwy jedynie biorąc udział w spotkaniach z pobratymcami lub rozmawiając o Małorosji. Co ciekawe, niemal dosłownie powtarza słowa Woskriesińskiego, tym razem jednak to północna roślinność przypomina „operowe dekoracje”...

Tęsknota za małą ojczyzną może być również wspólnym mianownikiem łączącym dwie, zdawałoby się, tak różne postaci, jak rosyjski podporucznik i nierozgarnięty szeregowy tatarskiego pochodzenia. Tymczasem z dala od bliskich, w trudnych warunkach armii carskiej, obaj są jednakowo samotni i wyobcowani, dlatego jednoczy ich wspomnienie matki i domu rodzinnego (*Śledztwo*).

Emocjonalne widzenie świata przez kreowane postaci to jedna z dominant twórczości Kuprina. Współistnienie różnych wspólnot na obszarze jednego kraju jest związane z emocjonalnym odróżnianiem „swoich” od „obcych” oraz niejednokowym ich traktowaniem. Wyraźnie widoczne jest to między innymi w *Czarnej mgle*, *Olesi*, *Śledztwie*, *Gambrinusie*, *Na Krymie* (*В Крыму*, 1909) oraz cyklu szkiców *Lestrygonowie* (*Лестригоны*, 1907–1911). W utworach tych członkowie danej wspólnoty mówią o sobie „my”, ponieważ jednym z podstawowych wyznaczników samookreślenia grupy etnicznej jest jej autoidentyfikacja, natomiast w stosunku do obcych lub innych używają określenia „oni” lub etnonimów nacechowanych wartościująco. Narrator *Czarnej mgły* podkreśla, że Boris nieustannie konfrontował nową rzeczywistość ze stronami rodzinnymi: „Он так все время и говорил: у нас и у вас – черточка, общая всем провинциалам»²⁴. Jarmola z mikropowieści *Olesia* opowiada, że w ich wsi mieszkała kiedyś wiedźma,

²³ Idem, *Корь*, w: idem, *Собрание сочинений...*, t. 3, s. 313–314.

²⁴ Idem, *Черный туман*, w: idem, *Собрание сочинений...*, t. 3, s. 399.

lecz ją przegnano, więc osiedliła się z wnuczką w lesie. Wytlumaczeniem takiego postępowania wobec tej kobiety ma być stwierdzenie: „Да она чужая была, из кацапок чи цыганок...”²⁵. Bohaterowie Kuprina posługują się ponadto takimi szeroko rozpowszechnionymi ekspresywnymi etnonimami, jak *хохол*, *москаль* czy *русонем*, które nie zawsze nacechowane są pejoratywnie oraz używane wyłącznie w odniesieniu do przedstawicieli innych nacji. Przywołane tu słowo *хохол* (‘украинец, малоросс’) posiada, zdaniem rosyjskiego badacza, całą gamą znaczeń: od pogardliwego, przez ironiczne, po serdeczne i dobrosąsiedzkie²⁶. Wydaje się, że pozbawione negatywnego zabarwienia występuje w opowiadaniu *Nocleg* (*Ночлег*, 1895), natomiast w wypowiedzi narratora *Czarnej mgły* słyhać życzliwość oraz przyjacielskie nastawienie do Borisa:

Черт возьми, он, как истый хохол, был, при всей своей кажущейся простоте, очень ловким и практичным малым. С быстрой сметкой и с добродушным лукавством. [...] Скажу однако, что он был очень красив в эту пору: высокий, крепкий, с меланхолическими черными глазами и со смеющимся молодым, красным ртом под темными хохлацкими усами²⁷.

W opowiadaniach *Nocleg*, *W głuszy leśnej* i *Srebrny wilk* (*Серебряный волк*, 1901) prozaik wprowadza wyraz *москаль* na określenie rosyjskiego wojska bez wyraźnych negatywnych konotacji. W pierwszym utworze ukraińscy chłopci patrzą na przemarsz wojsk, swoje niezadowolenie wyraża jedynie bohaterka, w której domu zakwaterowano na nocleg oficera, w pozostałych opowiadaniach pojawia się tylko informacja, że bohaterowie odbywali służbę wojskową w armii carskiej.

Nierówne traktowanie innych przejawia się ponadto w nieufności wobec obcych lub ich ignorowaniu, przy jednoczesnym dbaniu o pobratymców. Można to zaobserwować na przykładzie społeczności bałakławskich rybaków z cyklu szkiców *Lestrygonowie*, którzy na co dzień rywalizują, lecz w obliczu niebezpieczeństwa grożącego ich krajanom jednoczą się. Daje wówczas o sobie znać prastara więź łącząca tych ludzi, która sprawia, że wszyscy mieszkańcy osady, starzy i młodzi, kobiety i dzieci, całą noc czuwają na nadbrzeżu, palą ogień i z napięciem wypatrują zabląkanego w morzu barkasu. Co ciekawe, ci sami ludzie z całkowitą obojętnością przyjmują wieść o zaginięciu rosyjskiej łodzi rybackiej. Narrator tak przedstawia ich reakcję:

Пропал без вести один баркас из Фороса, на котором работала артель пришлых русопетов, восьmero каких-то белобрых Иванов, приехавших откуда-то, не то с Ильменя, не то с Волги, искать удачи на Черном море. В кофейнях никто о них не пожалел и не потревожился. Почмокали языком, посмеялись и сказали презрительно и просто: «Тц... тц... тц... конечно, дураки, разве можно в такую погоду? Известно – русские»²⁸.

²⁵ Idem, *Олеся*, w: idem, *Собрание сочинений...*, t. 2, s. 317.

²⁶ Zob. А.И. Грищенко, *Принципы составления словаря экспрессивных этнонимов русского языка, w: Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры (лингвистический и лингвометодический аспекты): Международная научно-практическая конференция 17–19 марта 2006 г.*, Москва 2006, s. 706–707, [online] <grishchenko.ru/files/principles.pdf>, dostęp: 21.06.2013.

²⁷ А.И. Куприн, *Черный туман*, s. 400–401.

²⁸ Idem, *Листрыгоны*, w: idem, *Собрание сочинений...*, t. 5, s. 298.

Z równie oziębłym i powściągliwym przyjęciem spotkają się zlaknieni towarzystwa weseli włoscy marynarze, których okręt zawinął do zatoki w Bałakławie. Nieprzystępność i rezerwa krymskich rybaków wynikają po części z lokalnego patriotyzmu, po części z cechującej ich styl życia hermetyczności, która przejawia się w przywiązaniu do tradycji i wyznawanego systemu wartości, zawieraniu małżeństw w swoim kręgu oraz niebrataniu się z obcymi. Podobny sposób bycia charakteryzuje Tatarów z opowiadania *Na Krymie* oraz wyznawców judaizmu z utworu *Żydówka*.

Autor *Czarnej mgły* zwraca uwagę na świadome dążenie przedstawicieli mniejszości narodowych do zachowania za wszelką cenę tożsamości kulturowej, religijnej i etnicznej, czego oznaką jest między innymi trzymanie się w obcym środowisku razem jako grupa oraz podkreślanie własnej odrębności w języku i ubiorze. Zilustrowani w tym utworze Ukraińcy nie tylko nie ulegli procesowi asymilacji, lecz w niesprzyjających petersburskich warunkach stworzyli własną enklawę, miły chutor zagubiony pośród prosto poprowadzonych ulic stolicy, w którym często przebywał główny bohater opowiadania:

Где-то на Васильевском Острове он отыскал своих земляков, «полтавских хлопцев», которые ходили в вышитых рубашках с ленточками вместо галстуков и в широчайших шароварах, засунутых в сапоги, курили люльки, причем демонстративно сплевывали на пол, через губу, говорили «эге ж» и «хиба» и презирали кацапов с их городской культурой. Я был раза два на их вечеринках. Там пили «горилку», но не здешнюю, а какую-то особенную, привезенную «видтыля», ели ломтями розовое свиное сало; ели толстые, огромные колбасы [...]. Но также там и пели – пели чудесно, с необыкновенной грустью и стройностью²⁹.

Kuprin chętnie sięgał po małe formy prozatorskie, które nasycił realiami środowiskowymi i etnograficznymi, ukazując mentalność, obyczaje i problemy społeczne innych niż rosyjska narodowość. Autor *Olesi* podkreślał odrębność narodową, religijną i kulturową danej grupy etnicznej, ponieważ fascynowała go różnorodność rosyjskiego imperium, zmieniające się twarze, stroje, zachowania, krajobrazy oraz zapachy. Nie przeszkadzało mu to jednak ukazywać aktualnych problemów nękających Rosję carską na przełomie XIX i XX wieku.

Bibliografia

Materiały źródłowe

Nałkowska, Z. (1976). *Dzienniki (1909–1917)*. T. 2. Oprac., wstęp i komentarz H. Kirchner. Warszawa: Czytelnik.

Куприн, А.И. (1970–1973). *Собрание сочинений в девяти томах*. Москва: Художественная Литература.

Opracowania

Barański, Z. (1994). *Okruchy polskie w twórczości Aleksandra Kuprina*. Przegląd Rusycystyczny 1–2, s. 65–69.

Barański, Z. (2005). *Wątki żydowskie w twórczości Aleksandra Kuprina*. Midrasz 5(97), s. 16–19.

²⁹ Idem, *Черный туман*, s. 400–401.

- Białokozowicz, B. (1971). *Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku*. Warszawa: Książka i Wiedza.
- Bielniak, N. (2008). *Motywy żydowskie w twórczości Aleksandra Kuprina*. W: A. Ksenicz, P. Stasińska (red.). *Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi*. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 47–57.
- Błuszkowski, J. (2005). *Stereotypy a tożsamość narodowa*. Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.
- Chudziak, M. *Być Czerkiesem*. [Online] <http://www.new.org.pl/2012-06-25,byc_czerkiesem.html>. Dostęp: 9.06.2013.
- Cieślík, K., Smaga J. (1991). *Kultura Rosji przełomu stuleci (XIX–XX). Życie intelektualne, sztuka, literatura*. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
- Krzyżanowski, J.R. (1975). *Marzyciel i Wampir*. W: Reymont. *Z dziejów recepcji twórczości*. Wybór tekstów i wstęp B. Kocówna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 168–176.
- Musiał, Z., Wolniewicz, B. (2003). *Ksenofobia i wspólnota*. Kraków: Arcana.
- Sielicki, F. (1996). *Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej*. *Slavica Wratislaviensia* 88.
- Бунин, И. (1981). *Куприн*. В: И. Бунин. *Воспоминания*. Paris: LEV, s. 141–158.
- Грищенко, А.И. (2006). *Принципы составления словаря экспрессивных этнонимов русского языка*. В: *Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры (лингвистический и лингвометодический аспекты): Международная научно-практическая конференция 17–19 марта 2006 г.* Москва. [Online] <grishchenko.ru/files/principles.pdf>. Dostęp: 21.06.2013.
- Седых, А. А.И. *Куприн*. [Online] <<http://www.a-port.us/gene/story/seduh.htm>>. Dostęp: 17.12.2012.
- Тэффи, Н. *Моя летопись*. [Online] <http://www.vek-serebra.ru/teffi/moia_letopis.htm>. Dostęp: 17.12.2012.

Strony internetowe

<http://www.kaukaz.info/gruzja-uznala-ludobojstwo-czerkiesow.html>, dostęp: 9.06.2013.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_Sotnia, dostęp: 16.06.2013.

<http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%EC%FF%ED%E5>, dostęp: 8.06.2013.

<http://www.kaukaz.info/gruzja-uznala-ludobojstwo-czerkiesow.html>, dostęp: 9.06.2013.

Summary

Russian Multiculturalism in Aleksander Kuprin's Work

Alexander Kuprin belongs to the group of social writers at turn of 19th century, who brought up aspects arising from contacts with different cultures, religions and languages on ethnically heterogeneous territory of the Russia. The author of *The Duel* eagerly used short prose forms, which he enriched with environmental and ethnographic reality, picturing mentality, customs and social problems, also religious and culture differences of other than Russian ethnic groups. In his work we can find portrayals of Crimean Tatars and Greeks, Poles, Polishchuks, Ukrainians, Circassians, Georgians, Armenians, and Jews.

Magdalena Dąbrowska

Instytut Rusycystyki

Uniwersytet Warszawski

RECEPCJA BAJKOPISARSTWA IWANA KRYŁOWA W ŚWIECIE PRASY POLSKIEJ PIERWSZEJ POŁOWY XIX WIEKU

Key words: Polish periodical press, 19th century, Russian literature, fable, translation, Ivan Krylov

Korzystam przynajmniej z tego, iż mogę się bliżej obeznać z literaturą rosyjską, tak mało nam wszystkim znajomą. [...] Kryłow czyta dowcipną bajkę...

Michał Grabowski¹

1. Z polskich badań nad twórczością Kryłowa

Współczesne polskie badania nad spuścizną Iwana Kryłowa (1769–1844) skupiają się wokół trzech kwestii, odpowiadających głównym nurtom działalności pisarza: dramaturgii, prozy satyrycznej i bajkopisarstwa. Pierwszym zagadnieniem zajmował się Tadeusz Kołakowski, oświetlając poglądy Kryłowa na teatr i sztukę dramatyczną, jego tragedie, komedie i dramatyczne parodie w kontekście związków z tradycją oraz nowatorstwa, a także wybrane karty z dziejów zagranicznej recepcji sztuk pisarza². Do badaczy drugiego zagadnienia należał Ryszard Łużny, rozpatrujący je w powiązaniu z działalnością Kryłowa jako wydawcy czasopism satyrycznych³. Znaczenie Kryłowa w dziejach rosyjskiego i zachodnioeuropejskiego bajkopisarstwa, wymowa moralizatorska i społeczno-

¹ M. Grabowski, *Do J.B. Zaleskiego. 26 listopada (8 grudnia) 1825, Aleksandrówka*, w: M. Grabowski, *Listy literackie*, Kraków 1934, s. 20, 25.

² Zob. T. Kołakowski, *Dramaturgia Iwana Kryłowa*, Wrocław – Warszawa – Kraków 1968.

³ Zob. *Rosyjskie czasopiśmiennictwo satyryczne XVIII w. (wybór źródeł)*, tłum. i oprac. R. Łużny, Wrocław – Kraków 1960; R. Łużny, *Z badań nad rosyjskim czasopiśmiennictwem satyrycznym okresu Oświecenia*, Warszawa – Kraków 1962.

-polityczna jego bajek oraz ich kształt językowo-stylistyczny to najczęściej podejmowane kwestie w studiach nad trzecim obszarem, reprezentowanych głównie przez Bohdana Galstera⁴. Poszczególne sfery działalności Kryłowa pozostają ze sobą zresztą w ścisłym związku. „Zdobycze warsztatu dramaturgicznego wykorzystał pisarz zwłaszcza w dziedzinie bajkopisarstwa [...] bajka Kryłowa daleka jest od jakiegoś z góry przyjętego szablonu, pisarz konstruuje ją już to w formie monologu, już to w formie dramatycznej scenki...” – pisał Kołakowski⁵; rozważania o Kryłowowskich czasopismach satyrycznych Łużny nieprzypadkowo rozpoczął od stwierdzenia, że „bajkopisarska twórczość [...] Kryłowa należy w całości do literatury wieku XIX, niemniej jednak źródół jej należy szukać we wcześniejszej, osiemnastowiecznej jego twórczości: przyszły »rosyjski Lafontaine« ukształtował swą indywidualność pisarską zarówno w sensie chronologicznym, jak i ideowo-estetycznym w epoce Oświecenia”⁶.

W badaniach nad bajkopisarstwem Kryłowa wyraźnie wyodrębnia się ponadto nurt komparatystyczny i translatoryczny. Przedmiotem porównania stawały się zwykle bajki Iwana Kryłowa oraz Jeana de La Fontaine’a i Ignacego Krasickiego⁷, a także przekłady bajek Kryłowa pióra – jeśli uwzględnić tylko pierwszą połowę XIX wieku – Franciszka Salezego Dmochowskiego, Maurycego Hryniewicza czy Florentyna Jałowieckiego⁸.

Porównanie bajkopisarstwa Kryłowa, La Fontaine’a i Krasickiego Zdzisław Libera oparł na czterech płaszczyznach: akcji i wizji świata przedstawionego, a także preferowanej przez poszczególnych twórców odmianie gatunkowej i ich roli w kulturze literackiej swoich czasów, płaszczyznach pozostających ze sobą zresztą w ścisłym związku: od analizy „miejsc wspólnych” w warstwie zdarzeniowej bajek trzech poetów przeszedł do rozważań o sposobie wyrażenia nauki moralnej, zaś rozważania na ten ostatni temat przywiodły go do określenia miejsca w ich dorobku bajki epigramatycznej i narracyjnej:

Jedna z popularniejszych bajek Ezopa – Fedrusa *Vulpes et corvus* pojawia się w utworach trzech poetów jako *Le corbeau et le renard*, *Kruk i lis*, *Ворона и лисица*. Chociaż temat bajki identyczny (satyra na pochlebstwo), sposób jego przedstawienia – inny. Różnica przejawia się w kształcie artystycznym. W każdej z bajek inaczej wygląda przemówienie lisa: u La Fontaine’a i Kryłowa obszerniejsze, u Krasickiego zwięźlejsze. Inaczej też prezentuje się sposób uwydatnienia morału: otwiera on bajkę Krasickiego i Kryłowa w przeciwieństwie do poety francuskiego⁹.

O ile La Fontaine i Kryłow są mistrzami w sztuce opowiadania, a bajki ich należą do małych arcydzieł w dziejach drobnych utworów narracyjnych, o tyle Krasicki, który uprawiał także typ bajki opowiadającej [...], to jednak szczyty artyzmu i wirtuozostwa osiągnął w formach małych, w bajce epigramatycznej¹⁰.

⁴ Zob. I. Kryłow, *Bajki*, tłum. S. Kaczkowski et al., wstęp B. Galster, Wrocław – Kraków 1961.

⁵ T. Kołakowski, op. cit., s. 152, 153.

⁶ R. Łużny, *Wstęp*, w: *Rosyjskie czasopiśmiennictwo satyryczne...*, s. CXIII.

⁷ Z. Libera, *La Fontaine, Krasicki, Kryłow – wielcy bajkopisarze europejscy*, Przegląd Humanistyczny 1977, nr 2, s. 15–20.

⁸ A. Legeżyńska, *Kryłow po polsku. Teoretyczne problemy tłumaczenia bajki*, Pamiętnik Literacki 1980, z. 1, s. 123–151.

⁹ Z. Libera, op. cit., s. 15.

¹⁰ Ibidem, s. 17.

Punkt wyjścia rozważań Anny Legeżyńskiej o „Kryłowie po polsku” stanowiło pytanie o przyczyny popularności jego pisarstwa, których dopatrzyła się ona w „sytuacji bajki jako gatunku” oraz „relacjach między przekładem a tradycją literatury rodzimej”: „przekładając bajki, tłumacze zdradzają charakterystyczne tendencje: albo traktują ją na zasadzie suplementu do tradycji polskiej, albo odczytują jako literaturę przede wszystkim dydaktyczną z mało istotnym znakiem obcości kulturowej”¹¹. Tłumaczenia bajek Kryłowa dzieli badaczka na trzy grupy: „prezentujące”, w których „dominantą translatorską jest obcość tłumaczonego tekstu”, „adoptujące”, mające za cel „włączenie [...] tekstu obcej kultury do systemu literatury rodzimej”, oraz „deformujące”, gdzie „uzurpujący sobie prawa autorskie” tłumacz transformuje pierwowzór¹². Za podstawę podziału posłużyły „stosunek przekładu do polskiej tradycji literackiej” i „typ odbiorcy wirtualnego” powstały wskutek określenia przez tłumacza wspomnianej dominanty¹³.

Przegląd literatury przedmiotu pozwala stwierdzić, że do najsłabiej rozpoznanych „kryłowowskich” problemów należy recepcja jego bajek w polskich czasopismach XIX wieku. Jedynie w niewielkim stopniu oświetlił go zbiór *Zwierzciadło prasy. Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej*¹⁴, w jeszcze mniejszym – poprzedzający go tom *Pisarze i krytycy. Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce*¹⁵, wydane z zamiarem „zgrupowania dużego zespołu wypowiedzi krytycznych i publicystycznych, dotyczących literatury rosyjskiej XIX wieku, a rozproszonych w [polskiej – M.D.] prasie literackiej i społeczno-kulturalnej”: jeśli tom *Pisarze i krytycy...* przedstawiał „»punkty szczytowe« literatury rosyjskiej poprzez ich odbicie w oczach czołowych krytyków literackich”, to zbiór *Zwierzciadło prasy...* ukazywał życie literackie „tak, jak odbiło się ono w zwierzciadle ówczesnej prasy”¹⁶. W pierwszym ze zbiorów wzmianki o Kryłowie pojawiają się zaledwie dwa razy i zawsze w przeglądach dziejów literatury rosyjskiej: chodzi o anonimowy *Krótki zarys historii literatury rosyjskiej* z „Przyjaciela Ludu, czyli Tygodnika Potrzebnych i Pożytecznych Wiadomości” z 1847 roku oraz o szkic (Jana Sawinicza) *Współcześni literaci rosyjscy (Niekrasow, Turgieniew, Tolstoj, Sol(ł)ogub, Grigorowicz)* z „Księgi Świata” z 1858 roku. Wśród kilkunastu wzmianek o Kryłowie w drugim zbiorze można wyodrębnić trzy grupy: część z nich pojawia się w komentarzach historycznoliterackich do zamieszczonych w nim materiałów prasowych, inne w samych materiałach prasowych (w większości przytaczanych we fragmentach), jeszcze inne w bibliografiach *rossiców* w przywoływanych periodykach. Ze wszystkimi trzema mamy do czynienia w rozdziale dotyczącym już pierwszego przedstawianego czasopisma, lwowskich „Rozmaitości” z lat 1817–1848 oraz 1854–1859. Oba omówione tomy pokazują, że Kryłow nie był ani pierwszym, ani najważniejszym poetą rosyjskim,

¹¹ A. Legeżyńska, op. cit., s. 124.

¹² Ibidem, s. 133.

¹³ Ibidem.

¹⁴ B. Galster, J. Kamionka-Straszakowa, K. Sierocka (red.), *Zwierzciadło prasy. Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej*, przy współudziale A. Piorunowej, Wrocław etc. 1978.

¹⁵ B. Galster, J. Kamionkowa, K. Sierocka (red.), *Pisarze i krytycy. Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce*, przy współudziale A. Piorunowej, Wrocław etc. 1975.

¹⁶ J. Kamionka-Straszakowa, *Od Redakcji*, w: B. Galster, J. Kamionka-Straszakowa, K. Sierocka (red.), *Zwierzciadło prasy. Czasopisma polskie...*, s. 5–6.

którego spuścizna była w tej czy innej postaci prezentowana na łamach czasopism polskich XIX wieku. Więcej uwagi poświęcono w nich natomiast takim autorom, jak Wasilij Żukowski, Aleksander Puszkina, Michaił Lermontow czy (spośród twórców późniejszych) Nikołaj Niekrasow.

2. Prasa XIX wieku o bajkopisarstwie Kryłowa

W „Rozmaitościach” w 1826 roku ukazał się artykuł *Bajki Kryłowa*, opatrzonego podtytułem „z Dziennika Petersburskiego”¹⁷. Jego powstanie wiąże się z pojawieniem się nowej rosyjskiej edycji bajek Kryłowa, wydanej, jak czytamy, w sposób staranny, z „wypracowanymi rycinami” i „portretem autora uderzającym podobieństwem”¹⁸. Nie jest to ani pierwsze, ani zapewne ostatnie wydanie bajek Kryłowa, poety o „europejskiej reputacji”, o którym nie sposób pisać inaczej niż w tonie „prostego, czystego hołdu, wolnego od wszelkiego roztrząsania”¹⁹. Główną część artykułu zajmuje porównanie twórczości Kryłowa i La Fontaine’a: poeta rosyjski traktowany jest nie jako naśladowca francuskiego poprzednika, lecz jako indywidualność artystyczna tej samej rangi. Innymi słowy, „nie zupełnie [La Fontaine – M.D.] powrócił na świat pod kształtem Pana Kryłowa”, ale „równi [...] co do talentu [...] stykają się ze sobą na Parnasie, równie swoją analogią jak przez różnicę”²⁰. Obaj w stopniu doskonałym opanowali tworzywo językowe i warsztat poetycki: wszystko, co wyszło spod ich pióra, ma w sobie „tę rzadką naturalność, [...] która częstokroć wprowadzając w błąd względem zadziwiającej doskonałości stylu, prawie mniemać każe, że dosyć jest otworzyć usta, aby opowiadać jak oni”²¹. Obaj nadają jednak bajkom inne zabarwienie emocjonalne: „wesołość Francuza ma cokolwiek przyjemnej swawoli dziecięcia, wesołość Rosjanina niekiedy podobna jest do gorzkiego śmiechu oburzenia”, inny wymiar ma też płynąca z nich nauka moralna: „nauki wywiedzione z bajek [La Fontaine’a – M.D.] obejmują wszystkie czasy i miejsca, gdy tymczasem moralność Kryłowa szczególniej stosuje się do ojczyznanego kraju”²². Pod artykułem został zamieszczony – jako próbka twórczości bajkopisarskiej – utwór o tym, jak „równy z równym przestaje”, *Osiół, cielę i koń*²³.

Pozostałe materiały „kryłowowskie” w prasie polskiej omawianego okresu można podzielić na trzy grupy: komentarze tłumaczy do publikowanych bajek²⁴, aktualności

¹⁷ [B.a.], *Bajki Kryłowa (z Dziennika Petersburskiego)*, *Rozmaitości* 1826, nr 27, s. 216–218.

¹⁸ *Ibidem*, s. 217.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*, s. 218.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*.

²³ A..., *Osiół, cielę i koń. (Bajka)*, *Rozmaitości* 1826, nr 27, s. 218.

²⁴ Na osobne rozpatrzenie zasługują oczywiście same tłumaczenia bajek. Mimo że ich analiza nie jest celem niniejszej pracy, należy wspomnieć o ich dziejach w kontekście ram czasowych prezentowanego materiału. Dopiero w połowie XIX wieku pojawiły się w przekładzie polskim pierwsze obszerne wybory bajek Kryłowa (wileńskie wydania Maurycego Hryniewicza i Florentyna Jałowieckiego). Pierwsza połowa XIX wieku to zatem okres „rozproszenia” wiadomości o Kryłowie i „próbek” jego pisarstwa po różnych wydawnictwach

z życia poety, wzmianki w przeglądach osiągnięć dawnej i nowej literatury rosyjskiej, przy czym podział ten pokrywa się z klasyfikacją materiałów prasowych o innych pisarzach rosyjskich, a także – w dużym stopniu – z klasyfikacją materiałów o pisarzach obcych (w tym polskich) w rosyjskiej prasie XVIII – pierwszej połowy XIX stulecia²⁵.

Z komentarzem tłumacza stykamy się w 1837 roku w „Tygodniku Petersburskim. Gazecie Urzędowej Królestwa Polskiego”, stanowiącym, jak pisze Maria Straszewska, „jedno z najpopularniejszych pism kolportowanych i czytanych w Królestwie”²⁶. Bajki *Satrapa* oraz *Mysz i szczur* zostały opatrzone przez tłumacza, Florentyna Jałowieckiego, przedmową, całość natomiast otrzymała tytuł *Poezja. Próby bajek tłumaczonych*²⁷. Przedmowa bezpośrednio jednak nie dotyczy tłumaczonych utworów (stosowanych strategii translatorskich itp.) – Jałowiecki wskazuje w niej na potrzebę oddania do rąk polskich odbiorców całościowego wydania bajek poety, gdyż „oprócz przekładu niektórych bajek w pismach F.S. Dmochowskiego i Bałamucie, żadnego całkowitego tłumaczenia nie posiadamy”²⁸. Jałowiecki ma świadomość, że sam nie jest w stanie zmienić tego stanu rzeczy, ale swoimi przykładami chce przynajmniej dać „wyobrażenie o oryginale”²⁹. Kryłowa nazywa „znakomitym [...] poetą”, zaznaczając, że jest on nie tylko bajkopisarzem, ale i dramaturgiem, choć to właśnie bajkopisarstwo – pełne „prostoty, naturalności, dowcipu” – zapewniło mu europejską sławę³⁰. Uwagi o przedmowie Jałowieckiego należy opatrzyć dwoma komentarzami. Po pierwsze, komentarze tłumaczy (a także wydawców i redaktorów) stanowiły w XVIII–XIX wieku zjawisko rozpowszechnione; co więcej, można mówić wręcz o modzie na przedmowy i przypisy, także jako składowych wydawnictw periodycznych³¹. Po drugie, jeśli spojrzeć na historię „Tygodnika Petersburskiego”, warto wydaje się przytoczenie słów Marii Straszewskiej: „organ ten [...] bardzo szybko zrezygnował z publikowania oryginalnej produkcji rosyjskiej”, „w dzieśięciu rocznikach [...] o literaturze rosyjskiej właściwie głucho; fragmenty pamiętników z czasów wojny francuskiej Szyszkowa, przedruk romansu Puszkina *Dama pikowa*

periodycznych. Zob. m.in.: [B.a.], *Konik polny i mrówka. Bajka*, [tłum.] P.A., Rubon 1847, t. 8, s. 106–107; [B.a.], *Z tłumaczenia rosyjskich bajek Kryłowa przez A.P.*, Dziennik Literacki 1853, nr 42, s. 331–332; por. B. Galster, *Wstęp*, w: I. Kryłow, op. cit., s. CVII–CVIII.

²⁵ Jeśli więc w periodykach polskich ukazywały się notki o Kryłowie, to czasopisma rosyjskie stawały się miejscem zamieszczenia analogicznych pozycji o Ignacym Krasickim. Najważniejszą z nich stanowi artykuł zamieszczony w czasopiśmie Wasilija Anastasiewicza „Улей” w 1811. Zob. [Б.п.], *Игнатий Крассицкий, Улей* 1811, nr 2, s. 115; por. M. Dąbrowska, *Polscy poeci doby Oświecenia w czasopiśmie rosyjskich pierwszego piętnastolecia XIX wieku („Северный вестник” – „Улей” – „Вестник Европы”)*, w: A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łuciewicz (red.), *Polska – Rosja: dialog kultur*, Warszawa 2012, s. 95–111.

²⁶ M. Straszewska, *Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832–1848*, cz. 2 (1840–1848), Wrocław 1959, s. 229.

²⁷ [B.a.], *Poezja. Próby bajek tłumaczonych*, Tygodnik Petersburski. Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego 1837, nr 17, s. 98.

²⁸ Ibidem. Por. M. Inglot, *Balamut Petersburski. 1830–1836. Zarys monografii czasopisma*, Wrocław 1962.

²⁹ Ibidem.

³⁰ Ibidem.

³¹ Zob. m.in.: M. Stanisławski, *Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem*, Kraków 2007; E. Skibińska, *Przypisy tłumacza w osiemnastowiecznych polskich przekładach francuskich powieści*, w: E. Skibińska (red.), *Przypisy tłumacza*, Wrocław – Kraków 2009, s. 29–42.

z »Biblioteki dla czytelnika«, ustęp z *Obrazków Kaukazu* Marlinskiego, kilka poezji Benedyktowa, próbki bajek Kryłowa – to wszystko³².

Prasa polska skupiła się przede wszystkim na jednym wydarzeniu z życia Kryłowa, a mianowicie na obchodzonych przez niego w 1838 roku siedemdziesiątych urodzinach oraz pięćdziesięcioleciu pracy pisarskiej³³. Relację z tej „pamiętnej uroczystości”, której kulminacją było „ozdobienie p. Kryłowa orderem św. Stanisława 2 klasy”, czytelnicy znaleźli w „Rozmaitościach”³⁴. Wcześniej, o czym ten sam organ donosił w 1834 roku, „bajkopisarz [...] otrzymał od rządu rosyjskiego 3000 rubli asyg. rocznej płacy”³⁵.

Do pozycji przeglądowych, w których pojawiła się wzmianka o Kryłowie, należy artykuł *Literatura rosyjska*, opublikowany w dziale „O literaturze zagranicznej” w wydawanych przez Cypriana Godebskiego i Ksawerego Kosseckiego „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych” w 1804 roku³⁶. Określenie „wzmianka” należy rozumieć tu dosłownie: cały opis spuścizny Kryłowa sprowadza się do stwierdzenia, że twórca „w lekkiej poezji wyborne wydał ułomki”³⁷. Omawiany artykuł ma wartość zatem jako źródło wiedzy nie tyle o samym Kryłowie, ile o jego usytuowaniu na scenie literackiej. Zastosowanie znajduje w nim bowiem podział pisarzy na pokolenia: Kryłow – podobnie jak Chieraskow, Dierżawin, Karamzin, Nikolew czy Dmitrijew – zostaje zaliczony do „poetów dzisiejszych”, stanowiących jednak także grupę zróżnicowaną pod względem wiekowym; Chieraskow obecny jest na scenie literackiej od ponad półwiecza, Kryłow znalazł się na niej w ostatnich latach. Na wybór materiału miał wpływ przyświecający autorowi artykułu zamiar, jak czytamy, „ukontentowania” czytelników – stąd szerokiego omówienia doczekała się *Podróż do południowej Rosji* Władimira Izmałowa, nazwana tu *Podróżą przez Ruś południową w listach zawartą*, reprezentująca niezwykle poczytny w tym czasie typ literatury podróżniczej. Artykuł zawiera zarys dziejów piśmiennictwa rosyjskiego od czasów najdawniejszych do panowania Katarzyny II i Aleksandra I³⁸.

Podobna zasada – podział literatury rosyjskiej na okresy i wyodrębnienie pokoleń pisarzy – legła u podstaw *Krótkiego zarysu historii literatury rosyjskiej* zamieszczonego w wydawanym w Lesznie „Przyjacielu Ludu” w 1847 roku. W odróżnieniu jednak od wcześniejszej pozycji mowa jest w nim nie o całych dziejach literatury rosyjskiej, lecz o jej rozwoju w ostatnim stuleciu: od epoki „łomonosowskiej”, przez specjal-

³² M. Straszewska, op. cit., cz. I (1832–1840), Wrocław 1953, s. 34, 163.

³³ Рог. И.А. Крылов, Басни. Сатирические произведения. Воспоминания современников, ред. С.А. Фомичева, Москва 1989, с. 431–432 (ze wspomnień N.M. Jeropkina).

³⁴ T.P., *Z Petersburga*, *Rozmaitości* 1838, nr 10, s. 79.

³⁵ [B.a.], [b.t.], *Rozmaitości* 1834, nr 36, s. 289.

³⁶ Zob. M. Dąbrowska, *Czasopisma jako źródło do dziejów polsko-rosyjskich związków literackich i kulturowych (wybrane przykłady z początku XIX wieku)*, *Acta Polono-Ruthenica* 2011, t. 16, s. 38–41.

³⁷ [B.a.], *Dalszy ciąg literatury rosyjskiej*, *Zabawy Przyjemne i Pożyteczne* 1804, t. 3, s. 37.

³⁸ Inny typ materiałów przeglądowych – opartych nie na epokach, lecz na personaliach – reprezentuje artykuł *Współcześni literaci rosyjscy*, zamieszczony w „Księdze Świata” w 1858 roku, w którym mowa jest o Niekrasowie, Turgieniewie, Lwie Tolstoju, Iwanie Panajewie, Władimirze Sołogubie i Dymitrze Grigorowiczu. Wzmianka o Kryłowie pojawia się w notce o Turgieniewie: „zawód jego [Turgieniewa – M.D.] literacki tym szczególnie godny jest uwagi, że podobnie jak Kryłow długo nie mógł trafić na właściwą drogę; pisał drobne wiersze i długie poematy, tłumaczył z obcych języków” ([B.a.], *Współcześni literaci rosyjscy*, *Księga Świata* 1858, cz. 2, s. 180).

nie wyróżnioną „najistotniejszą epokę”, w której „ziarno [...] zasiane [przez – M.D.] Katarzynę II poczęło wydawać owoce”, do epoki „karamzinowskiej”, trwającej aż do czasów Puszkina³⁹. Kryłow potraktowany zostaje jako przedstawiciel ostatniej z epok, przy czym on sam „mógłby być reprezentantem całego periodu”, ale „rodzaj jego poezji [tj. bajkopisarstwo – M.D.] nie jest tej natury, aby przezeń stanąć można na czele epoki”: „musi więc Kryłow uchodzić za najcenniejszego karamzinowskiej epoki pracownika, który poezji rosyjskiej dał barwę narodową”⁴⁰. W artykule są odnotowane różne sfery działalności Kryłowa, ale za główną uznane zostaje właśnie bajkopisarstwo: „sława jego jako bajkopisarza zaćmiła sławę jako dramatyka; celując nad Chemnicerem i Dmitriewem, jak największą osiągnął w bajce doskonałość: jego bowiem bajki są skarboną rosyjskiego dowcipu, humoru i dialogu, *prostota* i *barwa narodowa* przede wszystkim je odznaczają”⁴¹. Artykuł oświetla zatem trzy kwestie: miejsce poety w bajkopisarstwie europejskim i rosyjskim oraz rolę bajki w systemie gatunkowym epoki.

3. Próba podsumowania

Popularność bajek Kryłowa ugruntowała się w Rosji w latach 1812–1813 i 1815–1825⁴². W tym samym czasie zaczęli zapoznawać się z nimi polscy czytelnicy, w czym główną rolę odegrały wydawnictwa periodyczne. Ich przegląd pozwala sformułować trzy wnioski, częściowo wykraczające zresztą poza kwestię polskiej recepcji jego bajek.

Po pierwsze, bajkopisarstwo Kryłowa otrzymuje w prasie polskiej jednoznacznie pozytywną ocenę jako klasyczne dziedzictwo europejskie w tym gatunku literackim, z widoczną jednak, jeśli przywołać określenie z ostatniego artykułu, „barwą narodową”.

Po drugie, obecność wśród materiałów „kryłowowskich” tłumaczeń prac krytyków rosyjskich i sprawozdań z uroczystości na cześć poety organizowanych przez państwo rosyjskie oznacza, że wyobrażenie o nim polskich czytelników było zbliżone do tego, które mieli odbiorcy rosyjscy. Przekładów z periodyków zagranicznych było wtedy w prasie polskiej dużo więcej. „Ma on charakter wyraźnie eklektyczny, [...] zasilany jest głównie przedrukami z pism warszawskich i wileńskich oraz tłumaczeniami...” – pisał Zbigniew Sudolski o lwowskich „Rozmaitościach” we wczesnej fazie ich istnienia⁴³.

Po trzecie, w większości przywołanych periodyków materiały „kryłowowskie” nie są jedynymi pozycjami poświęconymi literaturze rosyjskiej. Co więcej, wydawcy wielu z nich programowo nastawiali się na przedstawianie czytelnikom, jeśli posłużyć się

³⁹ [B.a.], *Krótki zarys historii literatury rosyjskiej*, Przyjaciół Ludu 1847, nr 48, s. 379–384; nr 49, s. 386–387; nr 50, s. 395–399; nr 51, s. 405–408; nr 52, s. 413–416 (cytat ze s. 399). Por. В.Г. Белинский, *Из второй статьи цикла „Сочинения Александра Пушкина”*, w: В.Г. Белинский о классиках русской литературы, ред. А.Н. Дубовиков, Москва – Ленинград 1950, s. 70–77.

⁴⁰ Ibidem, s. 415, 416.

⁴¹ Ibidem, s. 408.

⁴² И.З. Серман, *Крылов-баснописец*, w: Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества, ред. И.З. Серман, Ленинград 1975, s. 222.

⁴³ Z. Sudolski, *Czasopiśmiennictwo w Galicji i w Krakowie do Wiosny Ludów*, w: M. Janion, B. Zakrzewski, M. Dernałowicz (red.), *Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1836*, t. 1, Kraków 1975, s. 388.

słowa twórców „Dziennika Wileńskiego” z 1806 roku, „stanu aktualnego ogromnego rosyjskiego państwa”⁴⁴. Szczególnie charakterystyczny przykład stanowią z tego punktu widzenia znów „Rozmaitości”, stanowiące dodatek literacki do „Gazety Lwowskiej”. W ich programie zapisane było korzystanie nie tylko „z wartości wypracowanych przez Zachód”⁴⁵, ale także z szeroko pojmowanego dziedzictwa słowiańskiego. Do początku lat trzydziestych XIX stulecia, kiedy to – jak wyraziła się Barbara Więzik – „reakcją czasopisma na wieść o upadku powstania listopadowego było prawie zupełne przemilczanie przez dwa lata istnienia Rosji”⁴⁶, „Rozmaitości” zamieściły cały szereg materiałów o literaturze rosyjskiej, w szczególności o Puszkynie i Karamzinie, przy czym o tym ostatnim jako o historiografii, nie zaś pisarzu czy poecie. Wzrost liczby publikacji o Rosji przypadł na okres świetności pisma, obejmujący lata 1834–1840. Zgodnie z wyliczeniami Barbary Więzik, „w licznych artykułach i notatkach pojawiły się na łamach »Rozmaitości« nazwiska 98 pisarzy, przeważnie czołowych bądź bardzo popularnych w swoim okresie przedstawicieli literatury rosyjskiej; trudno jednak mówić o jednolitym i konsekwentnym programie czasopisma w tym zakresie czy o wyraźnie sprecyzowanym stosunku do literatury rosyjskiej”⁴⁷.

Warto przypomnieć, że „Rozmaitości” stały się również miejscem zamieszczenia zestawień statystycznych dotyczących „stanu teraźniejszego literatury rosyjskiej”:

Oto jest krótki rzut oka na teraźniejszy stan literatury rosyjskiej: żyjących pisarzy liczą 350, ze zmarłymi przed kilku laty 372. [...] W największej bibliotece rosyjskiej, złożonej z pierwopisów, którą jest owa Akademia Petersburskiej nauk i umiejętności, znaleziono w różnych latach do 3000 dzieł narodowych wytłoczonych. [...] Odtąd wzmożła się chęć pisania tak dalece, że już roku przyszedł wytłoczono 8000 dzieł w języku rosyjskim⁴⁸.

Na zakończenie warto dodać, że bajkopisarstwo Kryłowa przybliżały czytelnikom polskim pierwszej połowy XIX wieku także pozycje książkowe. W 1823 roku wyszedł w przekładzie Samuela Bogumiła Lindego *Rys historyczny literatury rosyjskiej* Nikołaja Griecza, zawierający dwie notki o poecie. Pierwsza pojawia się w głównej części pracy (w rozdziale o „Wiek Aleksandra I”), druga w oznaczonym numerem VII a „Dodatku” do niej, którym był *Rzut oka na starożytną i nową literaturę w Rosji* Aleksandra Bestużewa:

Kryłow zajmuje pierwsze miejsce w liczbie bajkopisów rosyjskich. Oryginalność wynalazku, prostota i naturalność rozkładu, przymówki, a nawet przycinki w jego bajkach, styl prawdziwie ruski, czysty, poprawny, niewymuszony, potrząsany wyrażeniami, które autor „podśluchał” u dowcipnego ruskiego ludu, stanowią ich zaletę. Sztuka jego jest wielka, lecz utajona pod

⁴⁴ [B.a.], [b.t.], *Dziennik Wileński* 1806, t. V, kwiecień, s. 1.

⁴⁵ K. Poklewska, *Życie literackie Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej w latach 1830–1848*, w: *Literatura krajowa...*, s. 353.

⁴⁶ B. Więzik, „Rozmaitości” (Lwowski) 1817–1848, 1854–1859, w: *Zwierzciadło prasy...*, s. 14.

⁴⁷ Ibidem, s. 18.

⁴⁸ [B.a.], *Teraźniejszy stan literatury rosyjskiej*, *Rozmaitości* 1821, nr 129, s. 516.

lekką zasłoną naturalności. [...] Kryłow stał się sam wzorem dla zagranicznych, którzy chciwie tłumaczą jego bajki, żeby współziomków swoich zaznajomić z zabawą rozumu ruskiego⁴⁹.

Kryłow doprowadził ruską bajkę do oryginalnej klasycznej godności. Nie można nadać większej prostoty opowiadaniu, większej narodowości językowi i większej wagi obyczajowości, [...] naturalnością opisu podobnym jest do La Fontaine'a, lecz ma też szczególnie swój charakter; każda jego bajka jest satyrą, tym silniejszą, że krótka, i prostym sposobem opowiadana⁵⁰.

Wśród narodów „chciwie tłumaczących” bajki Kryłowa nie zabrakło Polaków.

Bibliografia

Materiały źródłowe

- [B.a.] (1826). *Bajki Kryłowa (z Dziennika Petersburskiego)*. Rozmaitości 27, s. 216–218.
- [B.a.] (1847). *Konik polny i mrówka. Bajka*. P.A. [tłum.]. Rubon 8, s. 106–107.
- [B.a.] (1804). *Dalszy ciąg literatury rosyjskiej. Zabawy Przyjemne i Pożyteczne*. T. 3, s. 37.
- [B.a.] (1858). *Współcześni literaci rosyjscy*. Księga Świata. Cz. 2, s. 179–181.
- [B.a.] (1847). *Krótki zarys historii literatury rosyjskiej*. Przyjaciół Ludu 48, s. 379–384; 49, s. 386–387; 50, s. 395–399; 51, s. 405–408; 52, s. 413–416.
- [B.a.] (1821). *Teraźniejszy stan literatury rosyjskiej*. Rozmaitości 129, s. 516.
- [B.a.] (1853). *Z tłumaczenia rosyjskich bajek Kryłowa przez A.P.* Dziennik Literacki 42, s. 331–332.
- [B.a.] (1837). *Poezja. Próby bajek tłumaczonych*. Tygodnik Petersburski. Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego 17, s. 98.
- A... (1826). *Osiół, cielę i koń. (Bajka)*. Rozmaitości 27, s. 218.
- Bestużew, A. (1823). *Rzut oka na starożytną i nową literaturę w Rosji*. W: *Dodatki do Mikołaja Grecza Rysu historii literatury rosyjskiej. Zebrane i tłumaczone przez S.B. Linde*. Warszawa, s. 479–512.
- [Griecz, M.] (1823). *Rys historyczny literatury rosyjskiej... przez Samuela Bogumiła Linde...* Warszawa.
- Grabowski, M. (1934). *Do J.B. Zaleskiego. 26 listopada (8 grudnia) 1825, Aleksandrówka*. W: M. Grabowski, *Listy literackie*. Kraków, s. 19–25.
- T.P. (1838). *Z Petersburga*. Rozmaitości 10, s. 79.
- [Б.п.] (1811). *Игнатий Красицкий*. Улей 2, s. 115.
- Крылов, И.А. (1989). *Басни. Сатирические произведения. Воспоминания современников*. ред. С.А. Фомичева. Москва.

⁴⁹ [M. Griecz], *Rys historyczny literatury rosyjskiej... przez Samuela Bogumiła Linde...*, Warszawa 1823, s. 327–328.

⁵⁰ A. Bestużew, *Rzut oka na starożytną i nową literaturę w Rosji*, w: *Dodatki do Mikołaja Grecza Rysu historii literatury rosyjskiej. Zebrane i tłumaczone przez S.B. Linde*, Warszawa 1823, s. 494.

Opracowania

- Dąbrowska, M. (2011). *Czasopisma jako źródło do dziejów polsko-rosyjskich związków literackich i kulturowych (wybrane przykłady z początku XIX wieku)*. Acta Polono-Ruthenica 16, s. 33–46.
- Dąbrowska, M. (2012). *Polscy poeci doby Oświecenia w czasopiśmie rosyjskich pierwszego piętnastolecia XIX wieku („Северный вестник” – „Улей” – „Вестник Европы”)*. W: A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz (red.). *Polska – Rosja: dialog kultur*. Warszawa, s. 95–111.
- Galster, B. (1961). *Wstęp*. W: I. Kryłow. *Bajki*. Tłum. S. Kaczkowski et al. Wrocław–Kraków, s. III–XLI.
- Galster, B., Kamionka-Straszakowa, J., Sierocka, K. (red.) (1978). *Zwierciadło prasy. Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej*. Wrocław etc.
- Galster, B., Kamionkowska, J., Sierocka, K. (red.) (1975). *Pisarze i krytycy. Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce*. Wrocław etc.
- Inglot, M. (1962). *Balamut Petersburski. 1830–1836. Zarys monografii czasopisma*. Wrocław.
- Kamionka-Straszakowa, J. (1978). *Od Redakcji*. W: B. Galster, J. Kamionka-Straszakowa, K. Sierocka (red.). *Zwierciadło prasy. Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej*. Wrocław, s. 3–7.
- Kołąkowski, T. (1968). *Dramaturgia Iwana Kryłowa*. Wrocław – Warszawa – Kraków.
- Kryłow, I. (1961). *Bajki*. Tłum. S. Kaczkowski et al. Wstęp B. Galster. Wrocław – Kraków.
- Legeżyńska, A. (1980). *Kryłow po polsku. Teoretyczne problemy tłumaczenia bajki*. Pamiętnik Literacki 1, s. 123–151.
- Libera, Z. (1977). *La Fontaine, Krasicki, Kryłow – wielcy bajkopisarze europejscy*. Przegląd Humanistyczny 2, s. 15–20.
- Łużny, R. (1962). *Z badań nad rosyjskim czasopiśmiennictwem satyrycznym okresu Oświecenia*. Warszawa – Kraków.
- Łużny, R. (oprac. i tłum.) (1960). *Rosyjskie czasopiśmiennictwo satyryczne XVIII w. (wybór źródeł)*. Wrocław – Kraków.
- Poklewska, K. (1975). *Życie literackie Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej w latach 1830–1848*. W: M. Janion, B. Zakrzewski, M. Dernałowicz (red.). *Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1836*. T. 1. Kraków, s. 347–386.
- Skibińska, E. (2009). *Przypisy tłumacza w osiemnastowiecznych polskich przekładach francuskich powieści*. W: *Przypisy tłumacza*. Red. E. Skibińska. Wrocław – Kraków.
- Stanisz, M. (2007). *Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem*. Kraków.
- Straszewska, M. (1953). *Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832–1848*. Cz. 1 (1832–1840). Wrocław.
- Straszewska, M. (1959). *Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832–1848*. Cz. 2 (1840–1848). Wrocław.
- Sudolski, Z. (1975). *Czasopiśmiennictwo w Galicji i w Krakowie do Wiosny Ludów*. W: M. Janion, B. Zakrzewski, M. Dernałowicz (red.). *Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1836*. T. 1. Kraków 1975, s. 387–398.
- Więzik, B. (1978). *„Rozmaitości” (lwowskie) 1817–1848, 1854–1859*. W: B. Galster, J. Kamionka-Straszakowa, K. Sierocka (red.). *Zwierciadło prasy. Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej*. Wrocław, s. 13–18.
- Белинский, В.Г. (1950). *Из второй статьи цикла „Сочинения Александра Пушкина”*. W: А.Н. Дубовиков (red.). *В.Г. Белинский о классиках русской литературы*. Москва – Ленинград, s. 78–87.
- Серман, И.З. (1975). *Крылов-баснописец*. В: И.З. Серман (red.). *Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества*. Ленинград, s. 220–228.

Summary

The Reception of the Ivan Krylov's Fables in the Light of the Polish Periodical Press in the First Half of the 19th Century

Ivan Krylov (1769–1844) was a Russian fabulist, called “The Russian La Fontaine”, dramatist and journalist. The article contains an overview of the publications about him in the Polish newspapers and periodicals in the first half of the 19th century: the notes to the translation of the fables in “Tygodnik Petersburski” (1837), the biographical notes in the newspaper “Rozmaitości” (1834, 1838), the article *Russian Literature* in the periodical “Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (1804–1806), the article *The Krylov's Fables* in the “Rozmaitości” (1826). The first half of the 19th century was the period of a gradual development of the Polish-Russian relations in the area of the periodical press.

Joanna Getka

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Uniwersytet Warszawski

POLSCY XVIII-WIECZNI ZESŁAŃCY SYBERYJSCY. STRATEGIE (PRZE)ŻYCIA NA ZESŁANIU

Key words: Russian Empire, Polish exiles, Bar Confederation, tsarist army, diary

Polacy na Syberii

Polscy zesłańcy syberyjscy są powszechnie kojarzeni z XIX-wiecznymi romantykami, uczestnikami powstania listopadowego bądź styczniowego, czy też z późniejszymi XX-wiecznymi ofiarami totalitarnego systemu radzieckiego. Tymczasem historia polskich zesłań na Syberię sięga XVI wieku. Pierwszymi Polakami zesłanymi na Syberię byli jeńcy z czasów wojny Stefana Batorego z Rosją. Później dołączyli do nich wzięci do rosyjskiej niewoli uczestnicy dymitriad i wojen polsko-rosyjskich XVII wieku. Zesłania nieprzypadkowo wpisują się w trwającą od XVI wieku, przemyślaną i zaplanowaną przez władców Imperium Rosyjskiego kolonizację terenów zauralskich. W te odległe prowincje Imperium Rosyjskiego trafiali nie tylko dobrowolnie osiedlający się chłopci, którzy szukali tam lepszego losu, ale również przeciwnicy polityczni caratu, jeńcy i więźniowie. W takim charakterze trafiali na Syberię Polacy.

Ich los był różny; byli osadzani (sami lub z rodzinami) lub zmuszani do czasowego zamieszkania na tych odludnych terenach bądź też karnie wcielani do armii carskiej, a w jej szeregach – często pozbawieni praw stanowych – przyczyniali się nie tylko do dalszej kolonizacji azjatyckiej części Imperium Rosyjskiego, ale i odgrywali ważną rolę w regulowaniu spraw wewnętrznych Rosji.

Ich sposoby przetrwania na zesłaniu także były różne: jedni przyjmowali prawosławie, unikając tym samym wcielenia do armii carskiej, inni – wcieleni do armii, najczęściej siłą – starali się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, licząc na awans, poprawę losu i amnestię, inni przeciwnie, dezertowali, narażając się w razie niepowodzenia na najsurowsze kary. Wielu Polaków, którzy z różnych przyczyn osiedli i zostali na Syberii (na przykład z powodu założenia rodziny, uzyskania możliwości gospodarowania ziemią)

wnieśli znaczący wkład w rozwój tych terytoriów: „kulturalni wnosili w otoczenie, nieraz bydlęce, zadatki oświaty i moralności; działali jako nauczyciele, muzycy, rękodzielnicy, a głównie wprowadzali lepszą uprawę roli, jeżeli ich nie wcielano gwałtem do rot kozackich”¹.

Wśród polskich uczestników „cywilizowania” Syberii można wymienić jej badaczy i pierwszych kolonizatorów (przykładowo na początku XVIII wieku Polak Majakowski brał udział w pierwszej wyprawie na Kamczatkę i Kuryle; J. Pleszewski w 1623 roku dotarł z grupą 50 kozaków do górnego biegu Angary; Stefan Polakow uczestniczył w wyprawie J.P. Chabarowa nad Amur (1650–1652)²), administratorów i reformatorów prowincji azjatyckich Imperium Rosyjskiego (w XVII wieku: Paweł Chmielewski, wojewoda Jenisejska od 1622 roku; Stankiewicz, kronikarz wschodniej Syberii; Stefan Polakow, geograf, odkrywca; Nikifor Czernichowski, dyrektor warzelni soli w Ust-Kutsku, kierował podbojem terenów nadamurskich, zastępca wojewody ałbazińskiego (1672); w XVIII wieku: Jan Kozyrewski, dowodzący pierwszymi rosyjskimi wyprawami do wysp Kurylskich w 1711 i 1713 roku; Dymitr Pawłucki, dowódca wypraw przeciw Czuczom w latach 1731–1732 i 1745–1747, i in.³), przemysłowców i handlarzy (Michał Gruszewski zajmował się handlem, otworzył i prowadził gospodarstwo rolne i fabrykę świec, w których zatrudniał wielu zesłańców⁴).

Prezentowane w niniejszym artykule tezy zostały wysnute na podstawie pamiętnika XVIII-wiecznego zesłańcy, uczestnika konfederacji barskiej – Karola Lubicz Chojeckiego. Tekst wydany w Drukarni Wolnej w Warszawie w 1789 roku *Pamięć dzieł polskich i niepomysłny sukces Polaków* był następnie nieprawnie przedrukowany przez bazylianów supraskich w 1790 roku pod nowym – trzeba przyznać, lepszym – tytułem: *Polak konfederat przez Moskwę na Syberię zaprowadzony. Razem wiadomość o buncie Puchaczowa*.

Wybór źródła jest nieprzypadkowy – mimo pewnych niebezpieczeństw, które niesie za sobą analiza subiektywnych danych zawartych w pamiętnikach, świadectwo Chojeckiego, jako bliskie do autentycznego, zostało już docenione⁵.

¹ A. Brückner, *Dzieje kultury polskiej*, t. 3, Kraków 1931, s. 213.

² A. Kuczyński, *Syberia. 400 lat polskiej diaspory*, Wrocław 1995, s. 30–33.

³ A. Kuczyński, Z.J. Wójcik, *Miedzy oczekiwaniem a spełnieniem. Działalność cywilizacyjna Polaków na Syberii (XVIII–XIX wiek)*, w: A. Kuczyński (red.), *Syberia w historii i kulturze narodu polskiego*, Wrocław 1998, s. 34–40; B.P. Polewoj, *Trzy pokolenia Kozyrewskich na Syberii na podstawie źródeł archiwalnych*, w: A. Kuczyński (red.), *Syberia w historii...*, s. 21–30; A. Kuczyński, *Polskie opisanie świata – Azja*, [online] <http://www.swp.org.pl/indexa132.html?id=pos_az>, dostęp: 20.12.2012.

⁴ S. Hordejuk, *Michał Jan Gruszecki (1814–1892). Zapomniany badacz Syberii*, Zesłaniec 2010, nr 45, [online] <<http://zeslaniec.pl/45/Kronika.pdf>>, dostęp: 21.12.2012.

⁵ Władysław Konopczyński w swoim dziele o konfederacji barskiej (W. Konopczyński, *Konfederacja barska*, Warszawa 1938; wyd. 2, pierwsze po wojnie, Warszawa 1991), rekonstruuje losy zesłańców syberyjskich, opierał się w dużej mierze właśnie na relacji Chojeckiego.

Relacje pamiętnikarskie

Wspomnienia z Syberii, mimo że mieszkańcy tej krainy – podobnie jak ona sama – fascynowali „przymusowych” podróżników, zawsze łączą się z osobistą tragedią, traumatycznym przeżyciem rozstania z najbliższymi, śmiercią towarzyszy itp. Określenie „smutek” użyte w pamiętniku Chojeckiego jako synonimiczne do zesłania, „o ośmiolatnim w Moskwie zapomniałem smutku”⁶, wydaje się zbyt łagodne. Jest ono prawdopodobnie uwarunkowane sytuacją: autorowi udało się wrócić i już w ojczyźnie spisać swoje przeżycia.

Wspomniany wyżej pamiętnik nie jest ani pierwszą, ani ostatnią relacją o syberyjskiej niedoli. W 1672 roku swój pamiętnik *Dyaryusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc* napisał Adam Kamieński, wzięty do niewoli w 1660 roku. Równoległe do pamiętnika Chojeckiego powstały wspomnienia Maurycego Beniowskiego i Thesby’ego de Belcoura⁷, po insurekcji kościuszkowskiej zaś *Dziennik podróży Józefa Kopcia*⁸. Pamiętniki spisywali również Polacy przebywający na Syberii w XIX wieku i później⁹.

Pamiętnik Chojeckiego jest jednak szczególnie: barszczanin należał do pierwszej tak dużej grupy zesłańców polskich. Badacze przyjmują, że grupa ta liczyła około 10 000 ludzi¹⁰. Podobne wyliczenia czyni Chojecki:

9800 z okładem naszego liczono niewolnika polskiego; z tego 5600 do wojskowej zabrano służby, którzy już powrotu swego do ojczyzny nie mieli; 356 różnymi czasy wymarło, 429 moskiewską przyjęli religią, a reszta po uczynionych traktatach z Portą Otomańską do polskich granic z marszałkiem odesłani byli¹¹.

W porównaniu do wcześniejszych partii zesłańców (maksymalnie 300 osób w przypadku Adama Kamieńskiego-Dłużyka) była to liczba gigantyczna¹². Ma to wpływ na

⁶ K.L. Chojecki, *Polak konfederat przez Moskwę na Syberię zaprowadzony. Razem wiadomość o buncie Puchaczewa*. Supraśl 1790, s. 182–183.

⁷ M. Beniowski, *The Memoirs and Travels of Mauritius August Count de Benyowsky, Magnate of the Kingdom of Hungary and Poland. One of the Chiefs of the Confederation of Poland. Consisting of his Military Operations in Poland, his Exile into Kamchatka, his Escape and Voyage from that Peninsula through the Northern Pacific Ocean, Touching at Japan and Formosa, to Canton in China, with an Account of the French Settlement, he was Appointed to Form upon the Island of Madagascar. Written by Himself. Translation from the Original Manuscript*, London – Dublin 1790; Th. de Belcour, *Journal d'un officier français au service de la Confédération de Pologne, pris par les Russes et relégué en Sibérie*, Amsterdam 1776. Polski przekład Ksawerego Godebskiego ukazał się w 1866 roku.

⁸ [J. Kopeć], *Dziennik podróży Józefa Kopcia przez całą wzdłuż Azję, lotem od portu Ochocka, oceanem przez wyspy Kurylskie, do niższej Kamczatki, a stamtąd na powrót do tegoż portu na psach i jeleniach*, Wrocław 1837.

⁹ Żeby wymienić choć część tych relacji tylko z XIX wieku: E. Felińska, *Pamiętniki z życia*, Wilno 1856; E. Żmijewski, *Sceny z życia koczującego*, Warszawa 1859–1862; A. Giller, *Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberyi*, Lipsk 1867; M. Gruszecki, *Z podróży po wschodniej Syberii*, Tygodnik Mód i Powieści 1873, nr 17–32; L. Niemojowski, *Obrazki Syberyi*, Warszawa 1875; F.W. Czaplicki, *Obraz Syberyi*, Kraków 1871.

¹⁰ Z. Łukawski, *Historia Syberii*, Wrocław 1981, s. 141; A. Kuczyński, *Syberia. 400 lat...*, s. 58.

¹¹ K.L. Chojecki, op. cit., s. 161–162.

¹² Na marginesie warto odnotować, że fakt ten był prawdopodobnie jedną z przyczyn tak dużej popularności pamiętnika – ukazał się on w dobie Sejmu Czteroletniego i wielu działaczy patriotycznych obawiało się zapewne podobnego losu. Autor, niejako wychodząc naprzeciw tym zainteresowaniom, ukazuje XVIII-wieczny

formę narracyjną tych tekstów. O ile wcześniejsze pamiętniki, ale także równoległe powstały tekst Thesby'ego de Belcoura pisane są przez jednostki – niezwiązane emocjonalnie z większą grupą zesłańców – to Chojecki z zamysłem wypowiada się w formie 1 osoby liczby mnogiej, utożsamiając się ze współtowarzyszami niedoli¹³. Tego typu pamiętniki związane z niedolą narodową, w których cierpienie jednostki jest mniej ważne od cierpienia grupy, zainteresowania faktami, zdarzeniami i historią, będą pojawiać się później w literaturze polskiej, szczególnie zaś często w epoce romantyzmu, jako wspomnienia powstańców listopadowych i styczniowych. Relacja Chojeckiego jest w stosunku do nich prekursorska. Dzięki temu, poza wiadomościami o środkowoazjatyckiej i syberyjskiej części XVIII-wiecznego Imperium Rosyjskiego, książka stanowi kompendium wiedzy na temat ciężkiego losu zesłańców, warunków ich życia i postaw. Tekst Chojeckiego jest także lepiej opracowany pod względem językowym i strukturalnym od innych powstałych wcześniej lub w podobnym czasie tekstów.

Zesłańcy barscy

Karol Lubicz Chojecki znalazł się w siedmiusetosobowej grupie uwięzionych w Krakowie uczestników konfederacji barskiej. Był w jednej z pierwszych grup barszczan, którzy na mocy ukazu Katarzyny II z 22 listopada 1768 roku i ukazu rosyjskiego Kolegium Wojny z 27 grudnia 1769 roku zostali zesłani na Syberię. Jego trasa zesłańcza była standardową trasą jeńców barskich: podczas jego pobytu w Kazaniu do miasta przyjechały jeszcze dwa konwoje – pierwszy, liczący 160 zesłańców, wziętych do niewoli w Soroce na Wołoszczyźnie, i drugi, w którym przywieziono słynnego kapitana Maurycego Beniowskiego – „któren w Polsce nosił imię Hadyka, a rangę obersztajtanta”¹⁴. Chojecki pokrótce opisuje losy innych napotkanych barszczan, dzięki czemu jego wspomnienia mają charakter reprezentatywny dla tej grupy.

Przed charakterystyką losów zesłańców i ich postaw, jako reakcji na zastaną sytuację, a także dokonaniem ich oceny należy wspomnieć o kilku faktach:

1. Choć z dzisiejszego punktu widzenia może się to wydać nielogiczne, to biorąca udział w konfederacji szlachta w ogóle nie zakładała klęski powstania i ślepo wierzyła

szlak zesłańczy przez Ukrainę i Rosję właściwą na Sybir, który przechodzili również późniejsi bojownicy o niepodległość w XIX wieku.

¹³ Por. A. Cieński, *Pamiętnikarstwo polskie XVIII w.*, Studia z Okresu Oświecenia, t. 18, Wrocław 1981, s. 109; M. Dąbrowska, *Konfederatów barskich podróże w głąb Rosji (Karol Lubicz Chojecki i Thesby de Belcour)*, w: J. Kazimierzczuk, G. Lisowska (red.), *Wschód Zachód w dialogu międzykulturowym*, Słupsk 2010, s. 63–69, s. 65. Temu samemu efektowi służą nazwy rozdziałów pamiętnika, opisującego przecież głównie tułaczkę Chojeckiego: „O zabranii konfederatów polskich z Krakowa do Moskwy w niewolę”, „O przyprowadzeniu niewolnika polskiego do Kijowa”, „O transporcie niewolnika polskiego na Syberję”. Dopiero pod koniec pamiętnika, w rozdziale „O dezercji Polaków z pułku bachmuckiego do Polski” diarysta mówi tylko o sobie, opisując samotną ucieczkę przez bezludne stepy ukraińskie, krycie się w sitowjach, przeprawę przez bezludne stepy ukraińskie, następnie przez Dniepr wśród biwakujących wojsk rosyjskich.

¹⁴ K.L. Chojecki, op. cit., s. 60.

w jego sukces (co przy okazji stanowiło o popularności zrywu). W najgorszym razie spodziewano się wieloletniej wojny partyzanckiej.

2. Uczestnicy konfederacji barskiej – szlachta chroniona XV-wiecznymi przywilejami jedleńskim i krakowskim *Neminem captivabimus nisi iure victum* (łac. Nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego) – w ogóle nie brali pod uwagę faktu, że za udział w zrywie dotknie ich jakaś kara. Oczekiwano co najwyżej krótkoterminowego aresztu i uwolnienia po złożeniu przez nich recesów¹⁵.

3. Nie spodziewano się zupełnie takiego wymiaru kary, co nie dziwi: zesłanie na Syberię, o czym była mowa, było pierwszą tego typu akcją przeprowadzoną na dużej grupie. Dodatkowo konfiskacji podlegały majątki uczestników konfederacji, często tracili oni także przywileje stanowe. Choć w trakcie drogi na zesłanie barszczanom obiecywano ulaskawienie („cieszono i ludzono, że z któregośkolwiek miejsca w drodze uwolnieni być mamy”¹⁶), to pierwsze amnestie nastąpiły dopiero w 1774 roku, czyli pięć lat po uwięzieniu. Objęły one zresztą nie wszystkich barszczan; nie mogli z nich skorzystać choćby ci, którzy zostali wcieleni do wojska rosyjskiego. Co więcej, wśród uwięzionych barszczan byli i tacy, którzy z różnych względów nie mogli skorzystać z następnej amnestii w 1781 roku, ani też z kolejnej z roku 1796 (dotyczyła ona głównie powstańców kościuszkowskich), przez co zostali w Imperium Rosyjskim już na zawsze. Choć teoretycznie dzieje zesłańców w XVIII wieku (barszczanie, kościuszkowcy) powinny zakończyć się powrotem do kraju po ukazie Aleksandra I z 27 marca 1801 roku, to w praktyce wielu zesłańców z różnych powodów – choroby, założenia rodziny, znalezienia pracy itp. – nie powróciło już do ojczyzny.

Tragizm tych ludzi polegał także na tym, że doskonale zdawali sobie sprawę z faktu, iż tak właśnie zesłanie może się dla nich zakończyć. Utwierdzili ich w tym przekonaniu napotkani na trasie starzy Polacy, „którzy za rewolucji Stanisława, króla Leszczyńskiego dostawszy się w niewolę, nie mieli już swego wybawienia”¹⁷. Obawiano się podobnego losu i śmierci z dala od rodzinnych stron.

4. Na te i tak już przygnębiające przyczyny fatalnego stanu psychicznego Polaków nakładała się wysoka śmiertelność wśród zesłańców już od samego początku zesłania. W czasie pierwszego etapu podróży, czyli pierwszego przemarszu z Krakowa do Kijowa, grupa Chojeckiego zmniejszyła się o ponad połowę. Kolejne etapy zsyłki, która w przypadku Chojeckiego ogółem liczyła minimum 15 000 kilometrów¹⁸ i obejmowała między innymi ziemie dzisiejszej Ukrainy, europejskiej (Kraj Permski) i azjatyckiej (Syberia) części Rosji i Kazachstanu, przynosiły kolejne ofiary. Chojecki czasem wspomina o zmarłych towarzyszach jakby wręcz z kronikarskiego obowiązku, wskazując ich liczbę (odnotowuje na przykład, że w Solikamsku umarło „tylko 7 konfederatów”).

¹⁵ J. Michalski, *Schylek tradycji barskiej*, Wrocław – Warszawa – Kraków 1970, s. 5.

¹⁶ K.L. Chojecki, op. cit., s. 18.

¹⁷ Ibidem, s. 111–112.

¹⁸ Tylko w części azjatyckiej Chojecki wymienia około 500 przebytych mil „przedzoborowych” (1 mila = 7146 m), a więc około 4000 km.

Zesłańców życie codzienne

W początkowej fazie zesłania barszczanie zostali rozproszeni i osiedleni w różnych ośrodkach Imperium. Lepszy los czekał wysoko urodzonych zesłańców. Na przykład gdy do Kazania przybył Antoni Pułaski, starosta czereszyński, późniejszy uczestnik konfederacji targowickiej, przydzielono mu pałac. W ogóle mieszkańcy Kazania wykazali się dużym zrozumieniem trudnej sytuacji zesłańców i „niektórych znaczniejszych oficerów naszych do siebie pobrali i pomimo traktament ze skarbu imperatorskiego dawany, mieli wzgląd o ich żywności i potrzebie”¹⁹. Różnica standardów zsyłki, choć wyzwalała współczucie dla szeregowców, uznawana była za naturalny porządek, przedłużenie praw działających w Rzeczypospolitej. Kiedy więc w kolejnej partii przybyli marszałkowie konfederacji, Piotr Potocki, wojewoda wołyński, i J.W. Czarnecki, niemal cała społeczność zesłańcza wyszła im naprzeciw, „dając to poznać, że nie tylko w Polszcze winni byli dla nich jako dla wodzów wszelkie posłuszeństwo, ale i w niewoli będąc pragnęli im wyrządzić wszelką cześć i uszanowanie”²⁰, a gubernator kazański wysłał po nich paradną karetę.

Hierarchię tę umacniało uposażenie otrzymywane od rządu rosyjskiego w zależności od pochodzenia stanowego (szlachcic 10 groszy, szeregowy – 4 grosze). Według świadectwa Chojckiego, „traktament nie wystarczał na nasze pożywienie, z którego to nie tylko żywić się, ale i okrywać nam się było potrzeba, a tylko po dziesięć groszy na dzień odbieraliśmy, cóż dopiero mówić o innych, którym tylko po cztery grosze na dzień dawano”²¹. Dlatego barszczanie zmuszeni byli do „dorabiania” sobie do swojego uposażenia: polowano w pobliskich lasach, łowiono ryby, a zdobycz wymieniano na chleb bądź pieniądze. Zesłańcy mieli taką możliwość, cieszyli się bowiem względną wolnością – tylko rano i wieczorem musieli stawać do raportu.

Niektórzy zesłańcy najmowali się do prac gospodarskich, inni – uzdolnieni muzycznie lub aktorsko – korzystali z protekcji miejscowych dygnitarzy. Część z nich była uwrażliwiona na losy Polaków. Takim na przykład był mieszkający w Solikamsku „pan znaczny” Turczeninow, „któryn dość znaczne dawał naszym jałmużny i często nas do siebie zapraszał na obiad a po obiedzie żadnego od siebie bez znacznej darowizny nie puścił”²², czy wierchoturyjski wojewoda „wielkiej polityki i grzeczności, któryn na nas dość był łaskawy i względny. Byliśmy u niego często i przyjmował nas grzecznie i zawsze do siebie zapraszał; takowa jego ludzkość i wspaniałość kochać nam go właśnie wszystkim rozkazywała”²³.

Ci, którym nie udało się znaleźć żadnego zajęcia bądź nie znaleźli opiekuna, byli zmuszeni do żebractwa.

¹⁹ Ibidem, s. 57.

²⁰ Ibidem, s. 64.

²¹ Ibidem, s. 78.

²² Ibidem, s. 83.

²³ Ibidem, s. 91.

Przedsiębiorczość była ceniona. Z tego względu powszechnym szacunkiem cieszył się Maurycy Beniowski, którego sława i pomysłowość szybko rozeszła się wśród zesłańców:

ten człowiek dosyć mizernie dostał się w niewolą, bo ze wszystkiego od wojska nieprzyjacielskiego obdarty i ogołocony. W Kazaniu jednak mianując się być ewangelickiej wiary, od ewangelików znacznie wsparty, a znając dobrze chemikę i z złotnikiem tamtejszym zaprzyjaźniwszy się, używali wspólnie tej sztuki, że wkrótce przyszedł do znacznych pieniędzy i porządnej garderoby²⁴.

Autor pamiętnika podkreśla, że był to „człowiek nie tylko wielkiej edukacji i wiele języków umiejący, ale przy tym bystrego i nader wykrętnego rozumu”²⁵.

Relacje związane z okresowymi poprawami sytuacji bytowej są utrzymane w tonie optymistycznym. Każdy etap zsyłki, często pokonywany „w śniegi wielkie i mrozy [...] srogie”²⁶, łączył się z nowymi – lepszymi lub gorszymi – warunkami. I tak na przykład Chojcecki wspomina, że:

wygodne w Tiumeniu mieliśmy życie, gdzie kupowaliśmy bardzo tanie kitaje – skóry łosie, z których to skór jeleni jedni spodnie, a drudzy żupany do mocniejszego chodzenia posprawiali sobie²⁷.

Ryb i mięsa niełatwowierna tanność, kiedy karasiów kopę po kopiejce jednej, to jest groszy dwa polskich płaciliśmy. Mięsa także funt po równej cenie i taniej dostać było można, a co należy do leguminy i nabiałów, te nadzwyczajną tannością kupowaliśmy²⁸.

W lasach wokół Solikamska z kolei było tak dużo „cietrzewi, że gałęzie okrywają, które chłopci tamtejsi bardzo łatwym sposobem łowią i one furami do miasta wożą, a nie drożej jak po groszy trzy polskich parę sprzedają”. W porównaniu z mięsem ptasim inne produkty były jednak drogie, co było związane z klęską w roku poprzednim: „chleba zaś drogość w tym mieście dość wielką mieliśmy, tak że traktament nie wystarczał na nasze pożywienie”²⁹.

Otuchy zesłańcom dodawała, jak wspomniano, postawa niektórych Rosjan, a także Tatarów, którzy „ludzko i przyjemnie” obchodzili się z zesłańcami. Nie dotyczyło to zresztą tylko napotkanych po drodze chłopów i gospodarzy, ale również konwojujących ich oficerów. Nierzadko, narażając się na duże nieprzyjemności ze strony przełożonych, ułatwiali oni zesłańcom przebycie trasy i pozwalali im jechać wozem, choć w założeniu miała ona być pokonywana pieszo³⁰.

²⁴ Ibidem, s. 61.

²⁵ Ibidem.

²⁶ Ibidem, s. 98.

²⁷ Ibidem, s. 94.

²⁸ Ibidem, s. 93.

²⁹ Ibidem, s. 78.

³⁰ Kapitan, „dobry, rozsądny i litościwy”, który konwojował grupę od Tobolska, wszedł wręcz w pewien układ z zesłańcami, który, gdyby wyszedł na jaw, przysporzyłby mu sporo kłopotów. „Oświadczył nam sekretnie, iż ma w ordynansie dołożono, że jeżeliby któren z nas zachorował, można brać na niego podwoję; rozkazał nam tedy niektórym, abyśmy się przez sierżanta chorymi raportowali, nie razem jednak, ale aż trzecią lub czwartą pominiemy stancję. Wdzięczniśmy byli swemu dobroczyńcy takowego dla nas dobrodziejstwa i zaraz osiemnastu

Prawosławie

Chojecki bardzo precyzyjnie podaje dane o znajdujących się w niewoli Polakach – „9 800 niewolnika Polskiego, z tego 5 600 do wojskowej służby zabrano, 356 różnemi czasy wymarło, 429 Moskiewską przyjęli religią”³¹.

Do armii od początku 1770 roku wcielano również szlachtę, mimo że na początku myślano, iż los ten spotka jedynie szeregowców. Tym samym pozbawiano szlachtę praw stanowych. Jednym ze sposobów uniknięcia służby wojskowej było przyjęcie wiary prawosławnej, do czego władze carskie namawiały Polaków. Na zachętę, oprócz zwolnienia z służby wojskowej, ofiarowywano dodatkowo 18 rubli. Z możliwości tej, którą Chojecki ocenia bardzo ostro: „z prostactwa, którzy swobodniejszego życia pragnąc, ten projekt jakoby z uszczęśliwieniem dla nich miał być przyjmowali”³², skorzystało wielu Polaków. Dokumentalista wylicza szczegółowo ilości nowochrzczeńców: w Tobolsku – 180, w Tarze – 75, w Tumeniu – 50, w Irkucku – 8, w Opończynie – 20, w Kazaniu – 96 osób.

Problem ten nurtował Chojeckiego. Piętnował przechodzenie Polaków na prawosławie, widząc w tym prostą drogę do utraty tożsamości narodowej tych zesłańców, którzy stracili kontakt z rodziną i nie wrócili do kraju, a także ich potomków.

Służba w wojsku

Polacy, którzy nie uniknęli służby w armii carskiej, przyjmując wiarę prawosławną, byli wcielani do rot kozackich. Przysięgę wojskową składali najczęściej po torturach i wielodniowym areszcie. Wymienionych z nazwiska Pawła Krzelowskiego, Michała Milewskiego i Wojciecha Tęczyńskiego rozebrano do naga,

przyniesiono kryminalne instrumenta, osobliwie drzewo jakoweś, do którego za szyję, ręce i nogi paskami rzemieniowymi na przęczkach przypięci i tak długo smagani byli, aż ciało miejscami odlatywało, a po takim ukaraniu do kordygardy pod areszt zaprowadzeni byli i tam cały dzień i noc zostawali³³.

Chojecki wspomina zresztą wiele innych narzędzi tortur, między innymi „pałki, batoże i pletnie”, którymi wyznaczeni do złożenia przysięgi wojskowej Polacy „po 800 i po półtora tysiąca kijów w plecy odbierali i po dwa razy takową odnosili karę”³⁴.

naszych w tej wsi zachorowało, a nasz kapitan podwody pod nich wziąć rozkazał, a gdyśmy dalej wyjechali, żadnego zdrowego nie było i dlatego wszyscy do miasta Tary na podwodach przybyliśmy” (ibidem, s. 106).

³¹ Ibidem, s. 162.

³² Ibidem, s. 146.

³³ Ibidem, s. 102. Wzmiankowanych szlachciców i tak siłą wcielono do służby wojskowej. Pawła Krzelowskiego i Michała Milewskiego objęła jednak amnestia w 1773 roku, na mocy której wrócili do kraju; Wojciecha Tęczyńskiego brak zaś na liście żyjących w 1773 roku zesłanych konfederatów barskich. Por. też: K.L. Chojecki, *Pamięć dzieł polskich. Podróż i niepomyślny sukces Polaków*, opracowanie, wstęp i przypisy W. Turek, Gdańsk 1992, s. 59.

³⁴ Idem, *Polak konfederat przez Moskwę...*, s. 120.

Polacy, wcieleni do armii carskiej, uczestniczyli jako zwykli szeregowi w akcjach kolonizacyjnych oraz pacyfikacyjnych wewnątrz Imperium. Zostali między innymi skierowani do tłumienia buntu Emiliana Pugaczowa (1773–1775). Uczestnictwo w działaniach ratujących sytuację wewnętrzną Imperium, którego, w pierwszej fazie buntu, znaczne siły były zaangażowane w kampanii tureckiej (1768–1774), wielu Polaków odebrało jako szansę na uwolnienie. Barszczanie obierali dwie – diametralnie różne – drogi: dezerterzy bądź zbiegowie (na wcześniejszych etapach zesłania) przystawali do buntowników, pozostający na służbie zaś – licząc na ulaskawienie po zwycięstwie – na ochotnika zgłaszali się do rot, kierowanych do uśmierzenia buntu. Prowokowało to bądź bratobójcze walki Polaków, którzy walczyli po różnych stronach w wojnie chłopskiej, bądź też okrutne kary za samo podejrzenie przejścia na stronę buntowników. Taki los stał się udziałem Polaków z pułku orenburskiego. Zostali oni wybatożeni, a następnie powieszeni.

Ze względu na nie w pełni zachowane dane dotyczące liczby Polaków w armii carskiej nie dowiemy się już dokładnie, ilu ich brało udział w tłumieniu buntu Pugaczowa. Relacja Chojeckiego daje jednak obraz udziału Polaków w tej kampanii. Sam autor znajdował się w połączonych siłach 11-tysięcznej armii generała de Cologne’a, 25-tysięcznego korpusu moskiewskiego generała Aleksandra Iljicza Bibkowa i 6-tysięcznej grupy żołnierzy byłego pułku orenburskiego. Armia, która rozkaz wymarszu dostała 9 września 1773 roku, dowodził generał Golicyn. Z bitwy o Orenburg Chojecki zapamiętał, że „wiele tak z naszej, jako i nieprzyjacielskiej strony pobitych i ranionych zostało. [...] Zginęło na tej bitwie dość wiele Moskałów, bo i naszych Polaków w tych wojskach około czterechset wtenczas na placu legło”³⁵.

Polacy polegli również w obronie Twierdzy Trockiej. Pugaczow „zdobył ją szturmem, gdzie wszystkich ludzi w pień wyciął, a miasto ze wszystkich bogactw złupił. Naszych także Polaków w tamtejszym znajdujących się garnizonie podobna z innymi spotkała klęska”³⁶.

Swój udział w tłumieniu buntu Pugaczowa mieli także Polacy niewcieleni do armii. W Kazaniu na pomoc wojskom rosyjskim ruszyli dobrowolne polscy jeńcy barscy pod dowództwem Antoniego Pułaskiego, starosty czeraszyńskiego, którzy – jak pisze Chojecki – „po zakończeniu tej wojny do Polski wypuszczeni zostali”³⁷. Relacja Chojeckiego nie jest ścisła: amnestia z 22 września 1773 roku, formalnie dotycząca kilku tysięcy konfederatów barskich, objęła jednak tylko około stu osób, które wzięły udział w tłumieniu buntu Pugaczowa. Nie mógł z niej skorzystać sam Antoni Pułaski, dowódca Polaków, „za grzechy ojca i braci”³⁸, oraz wielu innych konfederatów. Zgodnie ze świadectwem Chojeckiego „paszporty wolnego wypuszczenia ich do Polski”³⁹ odebrali oni dopiero w końcu 1774 roku, zapewne w wyniku ogłoszonej po zakończeniu wojny z Turcją

³⁵ Ibidem, s. 154.

³⁶ Ibidem, s. 156.

³⁷ Ibidem, s. 159.

³⁸ Idem, *Pamięć dzieł polskich...*, s. 81.

³⁹ Idem, *Polak konfederat przez Moskwę...*, s. 179.

amnestii dla Turków, Tatarów i Wołochów, która objęła również część „niewolników” polskich; niestety, i tym razem tylko tych, którzy nie byli wzięci do służby wojskowej.

W tym kontekście Chojecki opisuje przypadek Polaków, którzy choć uczestniczyli w tłumieniu buntu Pugaczowa, jeszcze półtora roku po ogłoszeniu amnestii w 1773 roku nadal pozostawali w wojsku carskim. Znajdujący się w garnizonie toboolskim Polacy najpierw wysyłali „memoriały” z prośbą o uwolnienie, a następnie, gdy nie otrzymali odpowiedzi, poszli na dziedziniec pałacu gubernatorskiego i pozrzucali mundury, zdali broń i „dopominali się odważnie odesłania w swój kraj”⁴⁰. Gubernator zalecił im wrócić następnego dnia do pałacu, gdzie czekało na konfederatów wojsko. Generał Cziczierin kazał wystąpić organizatorom przedsięwzięcia, w końcu z tłumu wyciągnięto siedmiu, dla których

przynieść kazano kryminalne kary, to jest drzewo, na którym do bicia przywiązany bywa kryminalista, i knuty. Kazano onym się rozebrać do naga i przywiązawszy ich bito do ośmiuset uderzeń knutem, a potem nozdrza im powyrywawszy, szubienice im na czole powypalano i okuwszy onych w kajdany w siłkę ich odesłano na wieczną do śmierci niedolę. Resztę zaś naszych podobnie w kajdany okuto i do surguckiej prowincji na długie więzienie odesłano. Którzy jednak kilka miesięcy tamże zostając, znowu do służby żołnierskiej do różnych regimentów lecz po małej już bardzo kwocie rozdzieleni będąc, odesłani zostali⁴¹.

Informacje Chojeckiego, pochodzące zapewne z przekazów ustnych, odbiegają od raportów gubernatora Cziczierina. Według niego, ze względu na brak zwolnienia na mocy ukazu zwalniającego, o którym opowiadali ponoć pułkownik Nenchka i niektórzy znaczniejsi szlachcice, 24 spiskowców planowało podczas parady 22 września 1774 roku wszcząć bunt formalny, to jest wypowiedzenie służby wojskowej, który następnie przeniesiono na 30 września. Sześciu konfederatów, którzy złożyli wówczas pismo z żądaniem uwolnienia i przewodniczyli zgromadzonemu tłumowi, natychmiast aresztowano i następnego dnia ukarano. Resztę konfederatów rozesłano w niewielkich grupach po różnych garnizonach, co doprowadziło do kolejnego buntu 4 października 1774 roku. Pokazowo ukarano wówczas czterech Polaków (wśród nich był główny organizator protestu Ksawery Kozicki, kwatermistrz konfederacji warszawskiej); 123 jeńców, którzy nie brali czynnego udziału w buncie, zmuszono do ponownego złożenia przysięgi na wierność. Większości jeńców, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu, udało się jednak wrócić do kraju na mocy amnestii z 28 lipca 1781 roku⁴².

⁴⁰ Ibidem, s. 176.

⁴¹ Ibidem, s. 179.

⁴² M. Janik, *Dzieje Polaków na Syberii*, Kraków 1928, s. 59; por. też artykuł *Sybir*, w: *Konfederacja barska. Wybór tekstów*, oprac., wstęp i objaśnienia W. Konopczyński, BN I, nr 102, Kraków 1928, s. 180–181.

Ucieczki z zesłania

Nie mając nadziei na uwolnienie, wielu znajdujących się w armii carskiej Polaków decydowało się na desperacki akt ucieczki. Szanse powodzenia tego przedsięwzięcia były nikłe, zarówno ze względu na ogromną odległość od granic Rzeczypospolitej (jak liczono – około 300 mil, czyli ponad 2100 km – J.G.), jak i niebezpieczną drogę przez syberyjskie lasy. Roilo się w nich nie tylko od dzikich zwierząt, ale i bezwzględnych przestępców. Na przeszkodzie stały również liczne posterunki carskie.

Nadzieja wolności często brała górę nad wszelkimi racjonalnymi przesłankami pozostania na miejscu. Najbardziej znanymi, bo też najbardziej brawurowymi ucieczkami z zesłania wsławił się kapitan Maurycy Beniowski. Pierwszą próbę ucieczki podjął on już w Kazaniu – spreparował rozkaz, na podstawie którego, udając kuriera, pojechał do Moskwy. Jego mistyfikacja wyszła jednak na jaw. Karą było zesłanie go na skraj Syberii, na Kamczatkę (do Ochocka, a następnie Bolszerecka), gdzie rok przesiedział w więzieniu, ale później, ze względu na przychylność gubernatora, karę złagodzono i dostał swobodę poruszania się po mieście. Jak stwierdza Chojecki, rok w więzieniu Beniowski przeznaczył na zawarcie znajomości z przetrzymywanymi tam kryminalistami, w oparciu o których zorganizował spisek: opanowano przybyły do miasta statek przewożący srebro i sobole (rzeczywiście była to łódź skarbową⁴³), którym spiskowcy na czele z Beniowskim odpłynęli do Francji. Pogoń Rosjan za statkiem zakończyła się fiaskiem.

Nieznane są natomiast losy 39 szeregowych Polaków, którzy zdecydowali się na dezercję z wojska i ucieczkę do Chin. Szczęścia nie miała 120-osobowa partia zesłańców, którzy mieli składać przysięgę wojskową. Ich ucieczka do kirgiskich Tatarów skończyła się kompletnym fiaskiem, czego świadectwo dało czterech śmiałków, którym udało się wrócić – część polskich zbiegów Tatarzy bowiem zabili, część uwięzili i wyznaczili do pasania bydła.

Wobec fatalnego stanu psychicznego Polaków, których na Syberii doszła wiadomość o I rozbiorze Rzeczypospolitej, a także niemających nadziei na uwolnienie na drodze amnestii w 1776 roku, znów zaczęły się masowe dezercje. W przypadku Chojeckiego sprzyjała temu sytuacja: jego pułk dostał rozkaz powrotu do swojej macierzystej siedziby w okolicy Nowoserbii, znacznie bliżej granic z Polską. Podczas drogi, trwającej od września 1776 roku, „jedni piechotą, drudzy z końmi i bronią śmiało i przebojem uciekali”⁴⁴. Niektórym się udawało, inni – złapani – „pędzeni przez różgi niemilosiernie byli”⁴⁵.

Wśród zesłańców, wiedzących o konsekwencjach, jakie czekają na zbiegów, ale jednak widzących w ucieczce jedyną szansę na ratunek, był również autor pamiętnika. Instrukcje dotyczące trasy zdobył od znajomego Wołocha:

rozpowiedział rzeczeki niektóre, które przechodzić mam, jako to Samarę, Wołczę, a potem Dniepr, przez którego przewozić się już należało, a przebywszy przez Zaporozę pustym stepem idąc mógłbym się wyróżnić ku Polsce. Informował mnie przy tym, że jeżeli w dzień bym

⁴³ Idem, *Pamięć dzieł polskich...*, s. 75.

⁴⁴ Idem, *Polak konfederat przez Moskwę...*, s. 189.

⁴⁵ Ibidem.

szedł, czego mi nie radził, ażebym trzymał się zawsze na zachód słońca, a w nocy zaś kurki czyli kwoczki, jakie są na niebie gwiazdy⁴⁶.

Chojecki wykorzystał moment, gdy jego pułk stacjonował blisko (jak na warunki Imperium Rosyjskiego) granic Rzeczypospolitej (około rzeki Kalmus – Kamy, dopływu Wołgi; Chojecki nazywa ją z tatarskiego Čulman): „na ostatek oddawszy się losowi, a bardziej opatrności Boga”⁴⁷ „roku 1776 i powróciwszy do Polski, przypadki swoje opisał”⁴⁸.

Zakończenie

Okrutna kara zesłania na Syberię oraz wcielenia do wojska rosyjskiego była dla uczestników konfederacji barskiej zaskoczeniem; nie spodziewali się takiego obrotu sytuacji, i byli kompletnie nieprzygotowani psychicznie. Za najczęściej krótkotrwały udział w konfederacji stracili wszystko: majątki, prawa polityczne (mowa o tych, którzy zostali wcieleni do armii carskiej) i wolność. Ciężkie warunki na zesłaniu powodowały dużą śmiertelność wśród nieprzygotowanych doń fizycznie i psychicznie Polaków.

Ci, którzy przeżyli, musieli się odnaleźć w nowej sytuacji. Łatwiej mieli wysoko postawieni dowódcy i majątni magnaci, którzy – niezależnie od lepszego własnego zabezpieczenia na zesłaniu – korzystali z uprzejmości miejscowych władz. W mniejszym stopniu z opieki rosyjskich urzędników korzystali szeregowi zesłańcy. Trudy niewoli i tęsknota za domem prowokowały ucieczki, które często kończyły się tragicznie. Wielu barszczan straciło życie, walcząc w szeregach armii carskiej, do której zostali wcieleni siłą. Jedynym sposobem na poprawę losu było przyjęcie prawosławia, na co jednak decydowało się niewielu zesłańców – byli bowiem przeświadczeni, że taka decyzja uniemożliwi im powrót do Ojczyzny.

Bibliografia

Materiały źródłowe

Chojecki, K.L. (1790). *Polak konfederat przez Moskwę na Syberię zaprowadzony. Razem wiadomość o buncie Puchaczewa*. Supraśl.

Chojecki, K.L. (1992). *Pamięć dzieł polskich. Podróż i niepomyślny sukces Polaków*. Oprac., wstęp i przypisy W. Turek. Gdańsk.

Czaplicki, F.W. (1871). *Obraz Syberyi*. Kraków.

Belcour, Th. de (1776). *Journal d'un officier français au service de la Confédération de Pologne, pris par les Russes et relégué en Sibérie*. Amsterdam.

Beniowski, M. (1790). *The Memoirs and Travels of Mauritius August Count de Benyowsky, Mag-nate of the Kingdom of Hungary and Poland. One of the Chiefs of the Confederation of Poland*.

⁴⁶ Ibidem, s. 190.

⁴⁷ Ibidem, s. 203.

⁴⁸ S. P[later], *Mała encyklopedia polska*, t. 1, Leszno – Gniezno 1841, s. 87.

Consisting of his Military Operations in Poland, His Exile into Kamchatka, His Escape and Voyage from that Peninsula through the Northern Pacific Ocean, Touching at Japan and Formosa, to Canton in China, with an Account of the French Settlement, He Was Appointed to Form upon the Island of Madagascar. Written by Himself. Translation from the Original Manuscript. London – Dublin.

Felińska, E. (1856). *Pamiętniki z życia*. Wilno.

Giller, A. (1867). *Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberyi*. Lipsk.

Gruszecki, M. (1873). *Z podróży po wschodniej Syberii*. Tygodnik Mód i Powieści 17–32.

[Kopeć, J.] (1837). *Dziennik podróży Józefa Kopcia przez całą wzdłuż Azję, lotem od portu Ochocka, oceanem przez wyspy Kurylskie, do niższej Kamczatki, a stamtąd na powrót do tegoż portu na psach i jeleniach*. Wrocław.

Niemojowski, L. (1875). *Obrazki Syberyi*. Warszawa.

Zmijewski, E. (1859–1862). *Sceny z życia koczującego*. Warszawa.

Opracowania

Brückner, A. (1931). *Dzieje kultury polskiej*. T. 3. Kraków.

Cieński, A. (1981). *Pamiętnikarstwo polskie XVIII w.* Studia z Okresu Oświecenia. T. 18. Wrocław.

Dąbrowska, M. (2010). *Konfederatów barskich podróże w głąb Rosji (Karol Lubicz Chojecki i Thesby de Belcour)*. W: J. Kazimierczyk, G. Lisowska (red.). *Wschód Zachód w dialogu międzykulturowym*. Słupsk.

Hordejuk, S. (2010). *Michał Jan Gruszecki (1814–1892). Zapomniany badacz Syberii*. Zesłaniec 45. [Online] <<http://zeslaniec.pl/45/Kronika.pdf>>, dostęp: 21.12.2012.

Janik, M. (1928). *Dzieje Polaków na Syberii*. Kraków.

Konopczyński, W. (1991). *Konfederacja barska*. Wyd. 2, pierwsze po wojnie. Warszawa [wyd. 1: Warszawa 1938].

Konopczyński, W. (oprac.) (1928). *Konfederacja barska*. BN I, nr 102. Kraków.

Kuczyński, A. *Polskie opisanie świata – Azja*. [Online] <http://www.swp.org.pl/indexa132.html?id=pos_az>, dostęp: 20.12.2012.

Kuczyński, A. (1995). *Syberia. 400 lat polskiej diaspory*. Wrocław.

Kuczyński, A., Wójcik, Z.J. (1998). *Między oczekiwaniem a spełnieniem. Działalność cywilizacyjna Polaków na Syberii (XVIII–XIX wiek)*. W: A. Kuczyński (red.). *Syberia w historii i kulturze narodu polskiego*. Wrocław.

Łukawski, Z. (1981). *Historia Syberii*. Wrocław.

Michalski, J. (1970). *Schylek tradycji barskiej*. Wrocław – Warszawa – Kraków.

P[later], S. (1841). *Mała encyklopedia polska*. T. 1. Leszno – Gniezno.

Polewoj, B.P. (1998). *Trzy pokolenia Kozyrewskich na Syberii na podstawie źródeł archiwalnych*. W: A. Kuczyński (red.). *Syberia w historii i kulturze narodu polskiego*. Wrocław.

Summary

Polish 18th Century Siberian Exiles. Strategies of Survival/Life in Exile

In line with the colonization of central Asian provinces of the Russian Empire, which started in the 16th century, also the Poles were sent as prisoners to these areas. The article relates to methods of survival in exile of representatives of the first large group of Polish exiles – members of the Bar Confederation (1768–1772). Some chose to more or less spectacular escape, which often ended in tragedy. Others settled in and converted to Orthodoxy, denying the possibility of returning home. A large group of exiles were eventually forcibly incorporated into the tsarist army. As ordinary

soldiers, deprived of state laws, the Poles have contributed not only to the further colonization of the Asian part of the Russian Empire, but also played an important role in regulating the internal affairs of Russia, including Emilian Pugachev rebellion damping (1773–1774).

The source of the research is a diary of exiled member of the Bar Confederation – Karol Lubicz Chojewski, *Pamięć dzieł polskich. Podróż i niepomyślny sukces Polaków*, first published in Warsaw in 1789, reprinted one year later (1790) in Supraśl, titled: *Polak konfederat przez Moskwę na Syberię zaprowadzony. Razem wiadomość o buncie Puchaczewa*.

Weronika Łaszkiewicz

Katedra Neofilologii

Uniwersytet w Białymstoku

PHENOMENOLOGY OF RELIGION AND THE STUDY OF MODERN FANTASY LITERATURE

Key words: fantasy literature, phenomenology of religion

Secondary worlds which modern fantasists invent as settings for their fantastic adventures are frequently equipped with various additional elements – history, culture, language and religion – which create a more or less well-defined background for the narrative. When inventing the artificial history or language, fantasists often utilize existing historical and linguistic data, so that they do not have to create everything from the very beginning and so that they can make their own inventions realistic enough to fulfill their purpose in the story. The same happens in the case of secondary religions which, to a varying degree, borrow concepts and symbols from existing religions and mythologies. The existence of such borrowings, in turn, gives rise to disputes whether certain books are appropriate readings for religious people and whether such books justly promote or reject specific religious values. These disputes¹ have focused particularly on John Ronald Reuel Tolkien's *The Lord of the Rings* and its usage of Christian imagery, Joanne Kathleen Rowling's *Harry Potter* series and its portrayal of magic and wizardry, and Philip Pullman's *His Dark Materials* trilogy and its critique of Catholicism. In the article *Finding God(s) in Fantasylands: Religious Ideas in Fantasy Literature* I took into consideration these and others fantasy novels, and argued that

a fantasy narrative may approach religious themes by inventing secondary religions that enrich the imaginary realm, by reworking particular religious themes and turning them into an axis

¹ See, for example, Richard Abanes' *Fantasy and Your Family. Exploring The Lord of the Rings, Harry Potter and Modern Magick* (2002), Russell W. Dalton's *Faith Journey through Fantasy Lands. A Christian Dialogue with Harry Potter, Star Wars, and The Lord of the Rings* (2003), Sarah Arthur's *Walking with Bilbo. A Devotional Adventure through The Hobbit* (2005), Kurt Bruner and Jim Ware's *Shedding Light on His Dark Materials* (2007).

of the narrative, and by supporting, promoting, or criticizing a certain faith through the means of fantasy fiction.²

These mechanisms imbue fantasy literature with various types of more or less well-developed religions which might remain in the center of the plot or on its periphery, depending on the author's vision. The study of these secondary religions and, generally, of an imaginary realm's secondary *sacrum* (i.e. sphere of the sacred) may reveal a lot about the fantastic world, its inhabitants and the author's inspirations, as well as initiate the reader's general reflection about certain problems and issues connected with religion. The aim of this paper is to prove that phenomenology of religion can provide appropriate tools for analyzing the secondary religions of modern fantasy literature. This claim will be developed in three stages which include a brief description of phenomenology of religion as a discipline, its applicability to the study of modern fantasy literature, and the study of a secondary religion present in Guy Gavriel Kay's *Fionavar Tapestry*.

The objective of phenomenology of religion is to identify and describe the religious phenomena which constitute the *sacrum* of human existence. A phenomenon is explained by Gerardus van der Leeuw as "an object related to a subject, and a subject related to an object; although this does not imply that the subject deals with or modifies the object in any way whatever, nor (conversely) that the object is somehow or other affected by the subject."³ The phenomenon's "entire essence is given in its 'appearance', and its appearance to 'someone'. If (finally) this 'someone' begins to discuss what 'appears', then phenomenology arises."⁴ In *An Introduction to the Phenomenology of Religion* (2010) James L. Cox provides a concise summary of the most significant stages of the phenomenological approach to religion.⁵ First of all, a phenomenological study of religion is based on the concept of epoché, i.e. withholding one's judgment on and prejudice to the object of the study in order to maintain a neutral position during the study. Epoché should be combined with an emphatic attitude so that the observer will be able to relate to the unfamiliar religious concepts which are the object of his study. The study revolves around a description of particular religious phenomena, which includes naming the phenomena, dividing them into categories, and defining their relations with other phenomena. Furthermore, the study includes a stage of "making informed comparisons,"⁶ i.e. comparing the identified phenomena with similar ones from other religious systems in order to see "into their broader comparative significance."⁷ All in all, by understanding the essence of the individual phenomena, a researcher may be able to comprehend the entire religion to which these phenomena belong.

² W. Łaszkiewicz, *Finding God(s) in Fantasylands: Religious Ideas in Fantasy Literature*, Crossroads. A Journal of English Studies 2013, no 1, p. 24.

³ G. van der Leeuw, *Religion in Essence and Manifestation*, vols. 1–2, trans. J.E. Turner, Gloucester: Peter Smith 1967, p. 671.

⁴ Ibidem.

⁵ J.L. Cox, *An Introduction to the Phenomenology of Religion*, London: Continuum 2010, p. 48–72.

⁶ Ibidem, p. 62.

⁷ Ibidem, p. 63.

Phenomenological studies of Gerardus van der Leeuw⁸ and Mircea Eliade⁹ establish several categories of religious phenomena. People's concepts of divinity might be, for instance, associated with various elements of the natural environment: the sky and earth, water, air and fire, the sun and the moon, trees and mountains, plants and animals, etc. Divine power might be also represented by intermediary figures such as kings, priests, saints and prophets, or even incarnated in a savior figure. Moreover, people can address the divine entity and express their religiosity through speech (prayers, blessings, curses, magical and ritual formulas), taboos, myths and sacred scriptures, rituals and rites of passage, and even through everyday behavior and activities if behavior and activities are defined by the laws of a given religion.

These abovementioned categories should be further complemented by the study of another phenomenologist – Rudolf Otto¹⁰ and his concept of *numinous* (from Latin *numen*, i.e. “a deity”). Otto focused on analyzing human experiences of and emotional responses to *sacrum*, whose subject is his *numinous*. He defined *numinous* as an inexplicable and logically incomprehensible divine force/entity, independent of culture, history and institutional religion. Its manifestations are related to such concepts as *mysterium tremendum*, *majestas*, *fascinas* and *augustum*. *Mysterium tremendum* means that the subject of *numinous* is mysterious and the experience of it

may at times come sweeping like a gentle tide, pervading the mind with a tranquil mood of deepest worship. [...] It may burst in sudden eruption up from the depths of the soul with spasms and convulsions, or lead to the strangest excitements, to intoxicated frenzy, to transport, and to ecstasy. It has its wild and demonic forms and can sink to an almost grisly horror and shuddering. [...] It may become the hushed, trembling, and speechless humility of the creature in the presence of – whom or what? In the presence of that which is a *Mystery* inexpressible and above all creatures.¹¹

Another attribute of *numinous* – *majestas* – highlights its magnitude and “absolute overpoweringness”¹² which leave a person in awe. *Fascinas* denotes people's fascination which lures them to *numinous* in spite of their fear. As Otto explains:

The deamonic-divine object may appear to the mind an object of horror and dread, but at the same time it is no less something that allures with a potent charm, and the creature, who trembles before it, utterly cowed and cast down, has always at the same time the impulse to turn to it, nay even to make it somehow his own.¹³

Augustum represents the humble obedience and respect of a person faced with the overpowering subject of *numinous*¹⁴.

⁸ G. van der Leeuw, op. cit., p. 23–590.

⁹ M. Eliade, *Patterns in Comparative Religion*, trans. R. Sheed, London: Sheed and Ward 1971, p. 38–409.

¹⁰ R. Otto, *The Idea of the Holy. An Inquiry into the Non-rational Factor in the Idea of the Divine and Its Relation to the Rational*, trans. J.W. Harvey, London: Oxford University Press 1923.

¹¹ Ibidem, p. 12–13.

¹² Ibidem, p. 20.

¹³ Ibidem, p. 31.

¹⁴ Ibidem, p. 54.

Even though van der Leeuw, Otto and Eliade focused on studying *sacrum* present in the real world, some of their comments acknowledge the fact that texts, particularly those relying on mythological motifs and patterns, may contain or recreate elements of that *sacrum*. Van der Leeuw, for example, highlights the connection between myths and fairy stories; he claims that fairy stories “have deep significance not merely for the history of religion, since they contain much ancient religious material, but for religion itself also. Telling fairy tales is therefore no affair of pure delight in fabulous narration, but has a magical effect.”¹⁵ Similarly to van der Leeuw, Otto argues that people’s fascination with *numinous* “became an untiring impulse, prompting to inexhaustible invention in folk-tale and myth, saga and legend [...] and remaining till to-day [...], whether in the form of narrative or sacrament, the most powerful factor that keeps the religious consciousness alive.”¹⁶ Finally, Eliade announces that “[a] whole volume could well be written on the myths of modern man, on the mythologies camouflaged in the plays that he enjoys, in the books that he reads.”¹⁷ Eliade believes that “the sacred may be seen under any sort of form, even the most alien”¹⁸ and reconstructions of religious and mythological themes, though they alter the original forms, allow the themes to function within the consciousness of the modern man. Taking all of these claims into consideration, it is justifiable to study modern fantasy literature – a genre which draws heavily from both myths and fairy tales – for its literary experiences of *numinous*, transformations of religious patterns and symbols, and inventions of secondary religions. Such study will reveal a lot about imaginary realms and also prompt a reflection on the way a given author describes religion and its significance for human life.

The application of phenomenology of religion to the study of modern fantasy literature is a fairly recent approach; it is present in the works of two Polish scholars. In *Degradacja mitu w literaturze fantasy* [*Degradation of Myth in Fantasy Literature*, 2009; translation of the title mine – W.Ł.] Bogdan Trocha uses the phenomenological approach to analyze several groups of mythological borrowings within fantasy narratives. By analyzing different categories of borrowings, Trocha comments on the mechanisms of incorporating mythological elements into fantasy, as well as on the results of such incorporation. He argues that while fantasy fiction preserves elements of our mythological heritage by combining them with a fantasist’s vision of the imaginary world, it may at the same time distort the mythological borrowings, because they are removed from their original structures. Meanwhile, in *Idee religijne w literaturze fantasy* [*Religious Ideology in Fantasy Literature*, 2010; translation of the title mine – W.Ł.] Jolanta Łaba concentrates on the secondary religions appearing in a group of selected fantasy series in order to analyze their treatment of *sacrum*. Łaba focuses on such issues as representation of magic/power within a secondary realm, portrayal of people approaching and wielding that power, instances of the heroes’ religious behavior, and usage of mythological symbols

¹⁵ G. van der Leeuw, op. cit., p. 416.

¹⁶ R. Otto, op. cit., p. 66.

¹⁷ M. Eliade, *The Sacred and the Profane. The Nature of Religion*, trans. W.R. Trask, New York: Harcourt, Brace & World 1959, p. 205.

¹⁸ M. Eliade, *Patterns in Comparative Religion*, p. 29.

and archetypes. She argues that the reason for fantasy's reconstructions of spiritual/religious themes is an ever-present human need of *sacrum*, which modern fantasy texts, with their descriptions of otherworldly experiences and emphasis put on morality, might (perhaps only partially) satisfy, and as a result reconnect the readers with the *sacrum* of their own world.

Taking into consideration Trocha's and Łaba's works, the aim of this paper is to apply the notions of phenomenology to the study of religious/spiritual concepts appearing in a single fantasy series – Guy Gavriel Kay's *Fionavar Tapestry* – in order to grasp a better understanding of the imaginary reality and to reveal the spiritual message hidden behind the fantastic journey. Though the tools used by phenomenologists of religion were devised for the study of *sacrum* manifested in the real world, they can be easily modified and applied to secondary worlds of fantasy fiction. First of all, phenomenological epoché and emphatic attitude are still required (even when the researcher is dealing with literary religions) in order to approach the concepts present in a fantastic religion without prejudice or presuppositions. Secondly, the fantastic religious phenomena will be grouped in categories similar to those proposed by van der Leeuw and Eliade, and analyzed in terms of their own properties and their relations with other phenomena. Finally, the phenomena will be juxtaposed with certain concepts found in existing religions/mythologies.

Guy Gavriel Kay (b. 1954) is a contemporary Canadian writer of fantasy fiction; *Fionavar Tapestry*, consisting of *The Summer Tree*, *The Wandering Fire*, *The Darkest Road* (published between 1984–1986), was his debut work. Given Kay's involvement in the posthumous publication of J.R.R. Tolkien's *The Silmarillion* (1977),¹⁹ it is not surprising that his first work was greatly influenced by Tolkien's vision of Middle-earth. Nonetheless, *Fionavar Tapestry* is more than just a copy of Middle-earth, because Kay highlighted issues which did not appear or were not so conspicuous in Tolkien's texts: variants of secondary religions and the heroes' experience of *numinous*. The trilogy follows the adventures of five young people – Kevin Laine, Paul Schafer, Dave Martyniuk, Kimberley Ford, and Jennifer Lowell – who are transported from Toronto to the magical kingdom of Brennin in Fionavar, where they become entangled in a cosmic conflict between good and evil. Their adventures gradually uncover, and allow the heroes to experience several aspects of Fionavar's *sacrum*.

Fionavar's supreme deity is called "the Weaver." He is worshipped as the ultimate creator of all worlds and their inhabitants, and regarded as a benevolent god who deeply cares for his Children. He never makes a direct appearance in the story, but is indirectly present through the heroes' repetitive references to him and the eventual prevalence of good over evil. Thus, he seems to particularly represent that aspect of Otto's *numinous* (divinity) which was described as a great and incomprehensible mystery to humanity – *mysterium tremendum*. The Weaver's divine antagonist is Rakoth Maugrim (also called the Unraveller, Sathain – an obvious derivation from Satan – and "the first and fallen god"²⁰), an evil god-like being obsessed with the desire to control and destroy. Rakoth is

¹⁹ Kay assisted Christopher Tolkien who edited and published *The Silmarillion*.

²⁰ G.G. Kay, *The Summer Tree*, New York: Roc Trade 2001, p. 208.

not subjected to the Weaver's power, because he comes from outside the Weaver's Loom; as a result, he cannot be killed, but only imprisoned. When freed from his prison, Rakoth adopts a bodily form, restores his fortress and gathers an army; he also rapes Jennifer (one of the five heroes) and fathers a child. Having a child with a mortal woman makes Rakoth part of the Loom and mortal himself – the war against evil ends when he is killed. The trilogy never reveals Rakoth's origins; it is only mentioned that he appeared in the Weaver's world when the first man killed his brother.²¹ If Rakoth ever gained reign over Fionavar, his destructive desires would distort the balance between all existing worlds.

The people of Fionavar also worship some lesser gods and goddesses. The most important among them is Mörnir of the Thunder; his sacred place is the Summer Tree in Godwood (a place of ritualistic sacrifice) and his companions are two ravens, Thought and Memory. Mörnir's counterpart is the Goddess (also called Dana the Mother) identified with fertility, earth and the moon. Dana is the only deity in Fionavar whose worship was turned into institutional religion (with temples, priestesses and holy rituals). Other minor deities briefly appearing or mentioned in the trilogy are the twin goddesses of war – Macha and Nemain, Cernan of the Beasts who is the lord of woods and wilderness worshipped by the tribes of the Dalrei, his twin sister Ceinwen of the Bow who is the goddess of hunting, and Liranan – the god of the sea. These minor deities, though powerful, are bound by the Weaver's laws and cannot freely intervene in the affairs of mortals – thus, they are neither omnipresent nor omnipotent. Their origins are never revealed, and readers might only assume that since the Weaver is the ultimate creator, these lesser deities are also his creations.

The inhabitants of Fionavar occasionally encounter these minor gods, hence their heightened awareness of their world's *sacrum*, which affects their speech and behavior. They frequently say that something is "brightly woven" when it is good, or they talk about "threads of one's days" in recognition of the Weaver's reign. They are also painfully aware of the threat posed by Rakoth's desires to rule, and the history of wars against the evil deity is a vital part of Fionavar's mythology. The Kings of Brennin are particularly close to Mörnir to whom they sacrifice their own lives by hanging on the sacred Summer Tree when the kingdom is in need of divine help. Dana is worshipped in consecrated temples by numerous virgin priestesses; her annual celebration is a fertility rite called Maidaladan, and her symbols – the moon and a holy axe. The Dalrei, a tribe of hunters, are naturally closer to Cernan of the Beasts and Ceinwen of the Bow. The Dalrei believe in totem animals (obtained in adolescence during a ceremonial fast), and their hunting is regulated by taboos and sacred laws that define which animals can be killed and how. In general, the people of Fionavar display an attitude of great reverence for their deities (*augustum*) and do not disobey the divine rules (the King of Brennin's refusal to perform the self-sacrifice is a shameful exception which dooms the entire kingdom).

Apart from the already mentioned Summer Tree and Dana's temples, Fionavar possesses other sacred places, where the sense of something divine and otherworldly (*numinous*) is ever-present. Mount Rangat, Rakoth's prison, is both a memory of the

²¹ Ibidem, p. 296.

past victory over evil and a threat for the future generations. Starkadh, Rakoth's fortress which resonates with his evil powers, is the place of utmost dread. Cader Sedat (the Spiral Castle) is sacred, because it is situated in the center of all worlds and because it is a place of eternal rest for the mightiest people of all worlds. Pendaran Wood, a forest which possesses a kind of collective consciousness, turns against any mortal trespasser. The Wood's holy glade has been the place of many notable events: the birth of a beautiful forest spirit, Lisen, and a flying unicorn, Imraith-Nimphais, Amarigen's obtaining of the runes of skylore, and the battle between an earth-demon and Lancelot of the Lake. Another sacred place is Calor Diman (Crystal Lake) of the dwarves, which is the residence of the Crystal Dragon. The Dragon functions as the dwarves' protective spirit and decides who can be the next dwarf king through a ritual in which the potential king must spend a night of a full moon on the Lake's shore and not become insane. The king is then forever bound by the Lake's power. Whenever the main heroes or Fionavar's inhabitants visit any of these places, they instantly sense that they are surrounded by otherworldly powers, which are incomprehensible, but nonetheless awe-inspiring (*mysterium tremendum* and *majestas*).

In a similar manner, every meeting with one of Fionavar's fantastic creatures is an experience of the awe-inspiring *numinous*. Kay's secondary reality is inhabited by several extraordinary creatures – representatives of both Light and Darkness – which become an extension of Fionavar's *sacrum*. Apart from the Crystal Dragon, the heroes are supported by Imraith-Nimphais and the Paraiko. Imraith-Nimphais, a beautiful blood-red flying unicorn, was created by the goddess Dana as a weapon in the up-coming war against Rakoth. The unicorn's beauty, gentleness and mercilessness are also the attributes of Dana, hence the animal can be treated as the goddess's symbol. The beast later becomes spiritually united with a boy from the Dalrei as his totem animal, and eventually sacrifices herself to protect the child. As for the Paraiko, they are Kay's version of giants, described as one of the Weaver's first children and presented as gentle creatures protected by a bloodcurse, i.e. anyone shedding their blood will be cursed. The bloodcurse lasts until the Paraiko are called to war against Rakoth, and taught about hatred and violence – their Edenic innocence is then disrupted by knowledge of evil. Rakoth, on the other hand, has his own allies. The Black Dragon, Avaia – a carnivorous black swan, and a sea-serpent called the Soulmonger are embodiments of his evil powers and a mockery of the Weaver's perfect creations. Yet even though Rakoth is able to corrupt the already existing life and the Weaver's work, he is not an omnipotent god, because, e.g. he cannot restore his severely injured hand. The difference between the extent of the Weaver's and Rakoth's powers is best emphasized by their creation of the lios alfar (elf-like beings) and the svart alfar (who resemble traditional fantasy orcs). The beauty of the former and the perversity of the latter exemplify the powers of both gods. In addition to the creatures of Light and Darkness, there are some other – the Wild Hunt, Eilathen, Curdardh – that seem neutral or even indifferent to the cosmic conflict. The Wild Hunt is a group of ghostly horse-riders who roam the skies and kill without hesitation anyone in their way. They are described as random and unpredictable; the Weaver created them as such in order to prepare the foundation for the freedom (and unpredictability) of human will. Eilathen is a water spirit

resembling a merman; his powers allow him to create a series of visions which introduce one of the heroes to the entire history of Fionavar. However, he creates them only because he is enslaved; when he is set free, he does not have any intentions of helping the heroes. Similarly, Curdardh, the metamorphosing earth-demon living under and protecting the glade of Pendaran Wood, is presented as neither evil nor good; if anything, he is a symbol of the brute force of nature. Whenever any of these beings appears, it arouses both fascination and fear (*fascinas*).

Fionavar's *sacrum* is also connected to magic powers and the ways people use them. One type of power is accessible only to the virgin priestesses of Dana; its source is the earthroot (*avarlith*). The second type is the power wielded by the mages. It was established when the first mage, Amairgen, received from Mörnir the runes of skylore, which made the mages independent from the priestesses. Thus, Kay clearly separates the male and female powers. The third kind of power is the so called "wild magic" or "blood magic" – a power released in service of a god/goddess during a holy ritual (so accessible only to a few and temporarily). In addition, Fionavar's magic is connected to sacred objects. The Cauldron of Khath Meigol has the power to restore the dead to life. Owein's Horn can call the Wild Hunt to battle. Lökdal is a cursed dagger which will kill anyone who uses it without love in his heart – the weapon which ultimately kills Rakoth. The Circlet of Lisen, made by lios alfar, is the embodiment of Light. The ring Baelrath, also called the Warstone, is powered by the goddesses Macha and Nemain, and allows its bearer to call anyone to war. These objects are, in general, extensions of different magical powers, and in Fionavar all types of power are related to divinity.

During their adventures in Fionavar, the five people from Toronto directly experience, or even become part of, Fionavar's *sacrum*. Kim, for instance, becomes the new Seer of Brennin and discovers her gift to foresee the future. As the bearer of Baelrath, she is the intermediary to Macha and Nemain, and calls other characters to war. Jennifer, the other female protagonist, is violated by Rakoth and gives birth to his son, Darien, who is poised between Light and Darkness. The woman also discovers her true identity as Guinevere and eventually, having earned redemption for the sins committed in her previous life, she sails to a realm beyond time. Paul willingly sacrifices himself on the Summer Tree, is accepted by Mörnir, and then restored to life; he becomes the god's intermediary on earth and is given divine powers to cleanse and redeem the sinners. Similarly, Kevin makes a sacrifice of his life and he becomes a divine lover to Dana during the ceremony of Maidaladan – celebration of fertility and sexuality. Thanks to his sacrifice an evil spell is broken and spring finally returns to Fionavar. Dave also becomes a lover to a goddess, though he does not have to sacrifice his life like Paul and Kevin. Dave meets Ceinwen of the Bow and eventually impresses her with his courage and fighting skills; she takes him as her lover and later reveals that she will give birth to a child created from their union. All in all, though the encounters with Fionavar's god and goddesses force the heroes to acknowledge their human frailty, they at the same times contribute to their spiritual and psychological development. Kay particularly emphasizes the freedom of human will and

praises his heroes for making difficult moral choices and sacrificing their own well-being (Paul, Kevin, Darien) in exchange for a greater good.

If all of the given examples are taken into consideration, it becomes clear that Fionavar's *sacrum* is an odd blend of various religious ideas. Some of the religious references pertain to monotheism, particularly Christianity. The Weaver, described in masculine terms, a benevolent deity and the ultimate Creator, resembles the Christian God, the Heavenly Father. Consequently, Rakoth, called the first and fallen god and Sathain, is his Luciferian adversary who intends to corrupt the divine creation. The lesser gods and goddesses of Fionavar – bound by the laws established by the supreme Weaver, interacting with humans according to his will, and tending to various parts of the created world – might be seen as functioning in the roles of angels. What is more, the themes of creation, Edenic innocence, first murder among brothers, temptation, fall, and redemption through sacrifice which reappear through the trilogy are reconstructions of patterns appearing in the Old and New Testament. In addition, the freedom of human will – which is such a prominent factor to the spiritual development of Kay's heroes – is elevated by Christianity as one of God's greatest gifts to His children. Finally, the values promoted by the trilogy (self-sacrifice and love for other), as well as the ultimate victory of good over evil fit the Christian tradition.

Nevertheless, images from various mythologies appear as frequently as references to the biblical tradition. Though the Weaver, Rakoth and the lesser gods might be interpreted according to the Christian tradition, they might as well be seen as a pantheon of deities, borrowed from different mythologies. In terms of Norse myths,²² Kay's Mörmir of the Thunder is a combination of Odin and Thor, while his ravens, Thought and Memory, resemble Odin's ravens called Hugin and Munin. The sacred Summer Tree is similar to the Yggdrasil: Odin sacrificed himself on the tree to receive the magic runes, while Paul sacrifices his life in exchange for the salvation of Brennin. Finally, the Wild Hunt,²³ which Kay so heavily reconstructed in his story, also appears in the Norse mythology. Some other names and concepts used in the trilogy were borrowed from Celtic mythology.²⁴ Dana resembles the Celtic mother-goddess, Ana; the names of Kay's war goddesses, Macha and Nemain, sound almost like Macha and Nemai, which are the names of the Irish goddesses of war; Cernan of the Beasts is similar to the Celtic god Cernunnos; and the name of Kay's sea god, Liranan, is a derivation from the name of the Celtic sea god, Manannán Mac Lir. In addition, Kay's Cauldron of Khath Meigol, which can restore the dead to life, resembles a similarly powerful Cauldron appearing in Celtic myths. As far as classical mythology²⁵ is concerned, Ceinwen of the Bow resembles Artemis – the Greek goddess of hunting, and Curdardh, with his battle hammer, deformed leg and connection to earth, is similar to Greek Hephaistos, the lame smith-god that worked under a volcano.

²² J. Lindow, *Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs*, New York: Oxford University Press 2002.

²³ C. Eason, *Fabulous Creatures, Mythical Monsters, and Animal Power Symbols. A Handbook*, Westport: Greenwood Press 2008, p. 105–108.

²⁴ G. Matson, J. Roberts, *Celtic Mythology A to Z*, 2nd ed, New York: Chelsea House 2010.

²⁵ A. Cotterelle, *The Encyclopedia of Mythology. Norse, Classical, Celtic*, London: Hermes House 2006.

In addition, Kay's Andain – the offspring of gods and mortals – resemble the semi-immortal heroes that appear in several world mythologies.

What is more, the trilogy contains reference to some other world religions. Kay's emphasis on balance and harmony (which will be sustained between the existing worlds only if Fionavar is protected) is close to the teachings of Taoism for which harmony is one of the primary goals. In addition, the text frequently relies on the concept of dualism similar to the dualism of yin and yang: the Crystal Dragon is opposed by the Black Dragon; the white swan, Lauriel, by the black Avaia; the female power derived from the earthroot by the male power of the skylore. However, while Taoism believes in the balance of powers, in Kay's Fionavar Light eventually triumphs over Darkness. Moreover, the trilogy introduces the motif of reincarnation: Guinevere, Arthur and Lancelot are punished for their sins by an unending cycle of death-rebirth. Only after Light triumphs over Darkness are they forgiven and allowed to move on to afterlife. The idea of reincarnation appears in many world religions, e.g. in Buddhism. Finally, the practices of the Dalrei, which involve shamans, totem animals, ritual fasts and hunts regulated by divine law, are similar to the practices of the Native Americans.

A more in-depth analysis of Kay's world could probably uncover even more religious and mythological references. Nevertheless, even such a brief study of *Fionavar Tapestry* reveals a lot about the realm's multi-faceted *sacrum*, its inhabitants' various attitudes and concepts of divinity, as well as the author's several sources of inspiration. This, in turn, proves that studying fantasy literature through the prism of phenomenology of religion can be a rewarding task. Secondary religions and variants of secondary *sacrum* are a vital part of numerous fantastic realms. It is frequently through the reconstructions of religious/spiritual themes that fantasists convey the most vital messages of their books. In *Fionavar Tapestry*, the heroes' reactions to (secondary) religion and *sacrum* help Kay argue that willingness to sacrifice oneself for the benefit of others, courage to make difficult choices and strength to bear their consequences are the most desirable features of character. Phenomenology of religion supplies the tools which allow to appropriately evaluate secondary *sacrum* and disambiguate the spiritual message of a fantasy text.

Bibliography

- Cotterelle, A. (2006). *The Encyclopedia of Mythology. Norse, Classical, Celtic*. London: Hermes House.
- Cox, J.L. (2010). *An Introduction to the Phenomenology of Religion*. London: Continuum.
- Eason, C. (2008). *Fabulous Creatures, Mythical Monsters, and Animal Power Symbols. A Handbook*. Westport: Greenwood Press.
- Eliade, M. (1959). *The Sacred and the Profane. The Nature of Religion*. Trans. W.R. Trask. New York: Harcourt, Brace and World.
- Eliade, M. (1971). *Patterns in Comparative Religion*. Trans. R. Sheed. London: Sheed and Ward.
- Kay, G.G. (2001). *The Summer Tree*. New York: Roc Trade.
- Kay, G.G. (2001). *The Wandering Fire*. New York: Roc Trade.
- Kay, G.G. (2001). *The Darkest Road*. New York: Roc Trade.

- Leeuw, G. van der (1967). *Religion in Essence and Manifestation*. Vols. 1–2. Trans. J.E. Turner. Gloucester: Peter Smith.
- Lindow, J. (2002). *Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs*. New York: Oxford University Press.
- Łaba, J. (2010). *Idee religijne w literaturze fantasy. Studium fenomenologiczne*. Gdańsk: Gdański Klub Fantastyki.
- Łaszkiewicz, W. (2013). *Finding God(s) in Fantasylands: Religious Ideas in Fantasy Literature*. *Crossroads. A Journal of English Studies* 1, p. 24–36.
- Matson, G., and Roberts, J. (2010). *Celtic Mythology A to Z*. 2nd ed. New York: Chelsea House.
- Otto, R. (1923). *The Idea of the Holy. An Inquiry into the Non-rational Factor in the Idea of the Divine and Its Relation to the Rational*. Trans. J.W. Harvey. London: Oxford University Press.
- Trocha, B. (2009). *Degradacja mitu w literaturze fantasy*. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Summary

Phenomenology of Religion and the Study of Modern Fantasy Literature

The aim of the following paper is to prove that the tools applied by phenomenology of religion to the study of *sacrum*, i.e. various religious phenomena and manifestations appearing in our world, can be successfully applied to the study of *sacrum* present in the secondary worlds of modern fantasy fiction. When applied, the phenomenological approach will contribute to a better understanding of the imaginary world and of the spiritual dimension of the heroes' adventures, and reveal the author's inspiration with particular religions/mythologies. The following paper, first of all, provides a brief summary of phenomenology of religion as a discipline; secondly, discusses this discipline's applicability to fantasy literature, and finally provides a sample study of a fantastic religion present in Guy Gavriel Kay's *Fionavar Tapestry*.

Grzegorz Ojcewicz

Szczytno

ZINAIDA GIPPIUS O IWANIE BUNINIE W PRYWATNEJ KORESPONDENCJI Z LAT 1926–1932

Key words: Zinaida Gippius, Ivan Bunin, the first wave of the Russian emigration, private letters, Nobel Prize in Literature

Zinaida Gippius (1869–1945) i Iwan Bunin (1870–1953) należą do luminarzy rosyjskiej emigracji pierwszej fali. Byli rówieśnikami. I chociaż historia okazała się dla nich wspólna – przeżyli w Rosji I wojnę światową, jej koniec oraz upadek caratu i triumf bolszewików – ich życiorysy różnią się dość znacznie, chociaż nie brakuje w nich miejsc wspólnych.

Gippius i Bunin znali się jeszcze na długo przed okresem paryskim, bacznie obserwowali, badali i wzajemnie siebie oceniali, przekonani o wyższości własnego warsztatu pisarskiego nad poetyką rywala¹. Dla Gippius Bunin zawsze był i pozostał „opisywaczem” przyrody, co zostało potraktowane przez autora *Listopada* jako jawna zniewaga i obraza jego talentu². Buninowi zaś Gippius kojarzyła się niezmiennie z autorką dość

¹ Zob. np.: 3. Гиппиус, *В целомудренных одеждах (к 25-летию литературной деятельности И.А. Бунина)*, Солнце России 1912, nr 141(42), s. 2. Podaję za: Н.Г. Мельников (red.), *Литературный мир о творчестве И.А. Бунина. Критические отзывы, эссе, пародии (1890-е–1950-е годы)*. Антология, Москва 2010, s. 217–219. Gippius konstatowała nie bez jadu: „Бунину дано много; но все-таки «Деревня» его – не «Война и мир», а он сам – не Лев Толстой” (ibidem, s. 219).

² We wspomnieniach Geоргіја Adamowicza odnajdujemy charakterystyczną scenę, dobrze odzwierciedlającą złożone relacje pomiędzy Mierieżkowskimi i Buninem (podaję we własnym tłumaczeniu):

„Z wiekiem [Bunin – G.O.] zyskał na urodzie i stał się bardziej rasowy. Siwizna pasowała do niego, pasowało i to, że zgolił brodę i wąsy. Pojawiło się w jego obliczu coś majestatycznego, rzymsko-senatorskiego, co wzmacniało się z biegiem lat. Bunin był bardzo ożywiony, powiedział, że zmusił się do wyrwania tylko na godzinke – dwie, »bo wciąż piszę, piszę, nie przestając«. Ale od pytań Zinaidy Nikolajewny zrobił unik. »Przecież to pani nie interesuje, ponieważ nie uważa mnie pani za pisarza, lecz opisywacza... Ja tego wam, droga, do samej śmierci nie zapomnę!«. Mogę poświadczyć, że tego słowa – »opisywacz« – które wkrađło się do jednego z krytycznych artykułów Gippius, rzeczywiście nie zapomniał. Pod koniec życia Mierieżkowskich ich relacje z Buninem zepsuły się, lecz w tym czasie były jeszcze przyjacielskie, chociaż i wtedy bardziej powierzchownie przyjacielskie, zabarwione ironią, nieufnością z obydwu stron. Wzmiankowanie o rzekomym »opisywactwie« słyszałem potem od Bunina nie jeden raz. Niezmiennie towarzyszyły mu gniewne sprzeciwy na temat tego, że on wcale nie »opisuje« przyrody albo bytu, lecz je odtwarza. »Ona jest blagierem, przecież ona chce tego,

przeciętnych, emocjonalnie wystudzonych, „elektrycznych wierszy”³. Obydwoje nosili wypowiedziane animozje w swoich sercach do końca życia, a spotkania towarzyskie stawały się okazją do wymiany kąśliwych uwag na temat twórczości adwersarza; byli wytrawnymi szermierzami słowa, świetnie wiedzieli, w jaki sposób można dokuczyć drugiemu autorowi, posługując się tą wyrafinowaną sztuką. Korzystali w tym względzie bardzo skutecznie zarówno z nabytej wiedzy literackiej, jak i bogatego życiowego doświadczenia, uciekając się nierzadko do aluzji, które miały zabość⁴.

Gippius przyjechała do Francji w październiku 1920 roku jako pisarka, poetka i krytyk literacki oraz organizatorka życia kulturalnego w Rosji carskiej, jako ta, która zrobiła dla rosyjskiego symbolizmu bardzo wiele, stając się jego głównym ideologiem i wybitnym przedstawicielem srebrnego wieku. Do końca życia nie pogodziła się z utratą ojczyzny i ze zwycięstwem bolszewików. Namietnie piętnowała ich postęпки w swojej twórczości emigracyjnej. Jako żona Dmitrija Mierieżkowskiego aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym na obczyźnie, a spotkania w ramach „Zielonej lampy” stały się symbolem aktywności inteligencji rosyjskiej na wygnaniu w latach 1925–1939⁵.

Bunin przybył do Francji wcześniej od Gippius, w lutym 1920 roku, również jako pisarz o określonym dorobku, sławie i zasługach na niwie literatury rosyjskiej. Zagranica stanowiła dla niego bardzo poważne wyzwanie, zresztą jak dla większości przymusowo opuszczających Rosję inteligentów, i zmuszała do tworzenia w warunkach wyjątkowych, które opierały się na głębokiej retrospekcji i utrwalaniu w poezji i prozie rosyjskiego ducha. Bunina nie można było tak łatwo jednoznacznie zakwalifikować, jak symbolistkę Gippius. Do końca życia ciągnęło się za nim nacechowanie dziewiętnastowieczną tradycją i najlepszymi literackimi wzorami – Puszkinem, Lermontowem, Gogolem, Tołstojem, Czechowem. Tworzył w czasach niespokojnej awangardy, wnosząc do swoich utworów ład typowy dla złotego wieku, lecz zabarwiony emocjami wieku dwudziestego.

Pomiędzy Gippius i Buninem były różne stopnie zażyłości: najpierw przyjaźń, która z latami stygła i przekształcała się w znajomość, znajomość zaś wyraźnie ewoluowała we Francji w podtrzymywanie kontaktów na zasadzie, że tak wypada. W rzeczy samej

czego nie ma na świecie» – mówił Bunin, mrużąc przy tym oczy i nie bez manieryzmu odwodząc rękę, jakby się przed czymś opędał, naśladować Gippiusowski styl recytacji. Jednakże bystrość jej umysłu szanował, tak samo jak uznawał suchawy wdzięk jej poezji, jej »elektrycznych«, jak mawiał, wierszy” (Г. Адамович, *Бунин. Воспоминания*, Знамя 1988, nr 4, s. 178–191, [online] <<http://az.lib.ru>>, dostęp: 3.05.2013).

³ Przykładowo w autobiograficznych wspomnieniach Niny Berberowej można przeczytać: „Wiersze Gippius pobudzały go do gniewnej drwiny” (N. Berberowa, *Podkreślenia moje. Autobiografia*, tłum. E. Siemaszkiewicz, Warszawa 1998, s. 282).

⁴ Ze wspomnień N. Berberowej: „Bunin zachowywał wobec niej [Zinaidy Gippius – G.O.] rezerwę, rzadko jednak udawało mu się pokonać ją w sporze. Czarująca, staromodna prostoduszność Bunina bawiła ją i budziła w niej przekorną chętkę, by prowokować z nim spór wedle własnych reguł, bo jego reguły – wypływające z doświadczeń codzienności, elementarne, dwuwymiarowe, powszechne – śmieszyły ją, a D.S. [Dmitrija Siergiejewicza Mierieżkowskiego – G.O.] nudziły” (ibidem, s. 278).

⁵ Berberowa w cytowanym powyżej tomie bardzo trafnie scharakteryzowała Gippius, eksponując na przykład jej hermafrodytyczną osobowość niczym u Gertrudy Stein, manieryzm, skłonność do klócenia się z ludźmi, zawierania z nimi byle jakich zgód, odnoszenie się z pogardą do normalnej miłości, egocentryzm, ignorowanie złych książek tych autorów, którzy byli przychylni jej lub jej mężowi, ciętość języka, mocną potrzebę zadziwiania i szokowania innych, świadome budowanie muru między sobą a światem. Zob. ibidem, s. 267–278.

w ich relacji od samego początku było coś z cichej, lecz ostrej męskiej rywalizacji, w której nie brakowało wzajemnych gorzkich i ironicznych słów. Francja wzmocniła animozje pomiędzy nimi, chociaż były one łagodzone przez dobre wychowanie i konieczność podtrzymywania solidarnej jedności w wielu sprawach, które łączyły rosyjskich emigrantów. Bunin, zwłaszcza po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla (1933), stał się wyrocznią literacką i pierwszym pośród rosyjskich luminarzy. Tej sławy, pieniędzy i znaczenia w środowisku rosyjskich emigrantów nigdy Gippius Buninowi nie darowała. Każdy rok po otrzymaniu Nobla przez Bunina oddalał ich od siebie, wnosząc do wzajemnych relacji uszczypliwość i nieżyczliwość, a na samym końcu – jawną wrogość.

Listy, ten szczególnie gatunek wypowiedzi, zawierają nierzadko informacje, które pozwalają prześledzić stosunki pomiędzy ludźmi z odmiennej perspektywy. Tę odmienną zapewnia pojawienie się trzeciego punktu odniesienia, kogoś poza Gippius i Buninem, kogoś, kto znał zarówno ją, jak i jego, i mógł zająć określone stanowisko w poruszanej sprawie. Gippius chętnie pisała o Buninie, chociaż nie ma wielu listów, w których odnosiłaby się do niego jako pisarza i człowieka. To jednak, czym dziś dysponujemy, pozwala na zweryfikowanie jej sądów o rosyjskim nobliście z punktu widzenia czasu i najnowszego stanu badań o rosyjskiej emigracji pierwszej fali.

Znanych jest pięć listów autorki *Pamiętników Martynowa* dotyczących Iwana Bunina, pisanych w latach 1926–1932, a skierowanych do Niny Berberowej (jeden list), Władysława Chodasiewicza (trzy listy) i Aleksandra Amfiteatrowa (jeden list). Chronologicznie pierwszy list pochodzi z października 1926 roku. Został on zaadresowany do Niny Berberowej (1901–1993), wówczas jeszcze żony Władysława Chodasiewicza (1886–1939)⁶. Drugi, skierowany do Chodasiewicza, został napisany 5 lipca 1927 roku. Trzeci, również do męża Berberowej, powstał 28 sierpnia 1929 roku. Czwarty, też do Chodasiewicza, wyszedł spod pióra Gippius 26 września 1929 roku, a piąty, którego odbiorcą był Aleksander Amfiteatrow (1862–1938), nosi datę 8 listopada 1932 roku.

Jak widać, głównymi odbiorcami listów Gippius na temat Iwana Bunina byli mężczyźni: Chodasiewicz i Amfiteatrow. Obydwaj znali się na pisarstwie, uprawiali krytykę literacką, znali rosyjską emigrację od podszewki i słabości rosyjskich emigrantów. Obydwaj znali Bunina. Nie musieli zatem przyjmować na wiarę słów Gippius, ale mogli się do nich odnieść z dystansem, z pozycji eksperta, co niekoniecznie odpowiadało żonie Mierieżkowskiego, przekonanej o swojej wyjątkowości, nieomylności i geniuszu. Ze względu na porę roku można powiedzieć, że temat Bunina powracał w korespondencji Gippius latem i jesienią – w okresie między lipcem a listopadem. Z uwagi na ramy czasowe – swoimi wrażeniami na temat rosyjskiego noblisty żona Mierieżkowskiego dzieliła się bez większej systematyczności między 1926 a 1932 rokiem. Ponieważ w listach pisanych do Chodasiewiczów i Amfiteatrowa Bunin nie jest jedynym obiektem jej korespondencji, można przyjąć, że Gippius pisze o nim jedynie przy okazji innych spraw, w danym czasie dla niej istotnych. Ale nawet te fragmentaryczne wypowiedzi dostarczają ciekawej wiedzy o ich wzajemnych relacjach i stanowią ważne źródło dla historyków literatury rosyjskiej.

⁶ Małżonkowie rozeszli się w 1932 roku i do śmierci Chodasiewicza w 1939 roku pozostali przyjaciółmi.

W liście do Niny Berberowej (październik 1926 roku) Gippius pisze między innymi:

Хочу «посплетничать»: сегодня я видела Бунина, и совершенно неожиданно он мне говорит: я очень обижен, что меня не пригласили в Новый Дом. Я: да ведь вы все равно ничего не дали бы, вот и в «Возрождении» старые рассказы печатаете, притом плохие, да еще телепатией их портите. (Вставка: мы с Буниным были друзья, теперь приятели, но я всегда все ему говорю в глаза, совершенно прямо. Впрочем, я очень давно держусь правила говорить и о ком-нибудь за глаза только то, что могу, или могла бы, сказать в глаза. Не всегда удается, но стараюсь по возможности. Хотя это делает меня резкой, но все-таки практичнее.) Бунин продолжает: ну и не дал бы, а все-таки Ходасевич мог бы меня позвать. Я: это вовсе и не Ходасевич, это «мальчики и девочки»... Он: Однако вы... Я: Потому что я вообще ими интересуюсь. Он: Ну, хорошо, все равно, я не гоняюсь за молодежью...

После этого я, решив, что довольно, далее не продолжала. На мой взгляд Бунин вам реальной пользы не даст, а «имя» – свяжет, если кто-нибудь захочет (я, например) написать о нем по существу, а не только наказать обыкновенного, Кульмановского, фимиаму.

Но, впрочем, дело ваше⁷.

Plotka ma swoje prawa: przekazuje się w niej informacje, za które odpowiedzialność ponosi ktoś inny. Plotka pochodzi przecież z ust trzecich, ale to wcale nie przeszkadza, by po drodze dorzucić do niej coś od siebie. „Plotkarski” komunikat odzwierciedla dialog pomiędzy dwoma zaimkami, albowiem podmiotami mówiącymi i graficznie wyodrębnionymi przez nadawczynię są „Ja” i „On” jako elementy scenki z życia rosyjskich literatów na wygnaniu. Pomiedzy „Ja” i „On” wyczuwa się wyraźny dystans oparty na pojedynku sił i domyślnych znaczeń oraz aluzji całkowicie czytelnych dla każdej ze stron dialogu. Znaczenia te i aluzje są także znane adresatce pisma, Berberowej, gdyż Gippius nie komentuje swego listu w celu przejaśniania jego treści.

Z tego listownego plotkowania – co ciekawe, domeny kobiecej wymiany informacji, zauważmy bowiem, że w listach do mężczyzn ten kanał komunikacji nie jest uruchamiany – dowiadujemy się kilku ważnych rzeczy zarówno o emigracyjnym Paryżu, jak i samym Buninie. To, co się wydarzyło danego dnia pomiędzy Gippius i Buninem, musiało być na tyle istotne dla rozmówczyni, że jeszcze tego samego dnia zdecydowała się na podzielenie się wrażeniami z Berberową. Autor *Wsi* został przedstawiony jako osobnik obrażony na Gippius za to, że nie zaproszono go do współpracy w „Nowym Domu”⁸. Wiadomo, w warunkach emigracyjnej, trudnej egzystencji drukowanie w każdym cza-

⁷ З. Гиппиус, *Письма к Берберовой и Ходасевичу*, Ann Arbor 1978, s. 10. Podają za: Н.Г. Мельников (red.), op. cit., s. 779–780.

⁸ Czasopismo „Новый Дом” ukazywało się w Paryżu w latach 1925–1927. Było to pismo młodych rosyjskich emigrantów. W latach 1926–1927 redakcję tworzyli: Dawid Knut (1900–1950), Jurij Terapiano (1892–1980) i Wsiewołod Fogt (Фохт, 1895–po 1940).

sopiśmie oznaczało określony dochód, a więc pozbawianie go mogło być odbierane jako świadome szkodenie drugiemu. Spotkanie z Buninem staje się dla żony Mierieżkowskiego szczególnie nadarzącą się okazją, by dopiec swojemu dawnemu rywalowi po piórze i uzmysłowić mu, że nie od dzisiaj trwa w twórczym kryzysie, drukując w czasopiśmie „Возрождение” swoje stare opowiadania, a do tego – w ocenie Gippius – są to opowiadania złe artystycznie i skażone telepatią. Czy przesadnie wrażliwy na punkcie swojego pisarstwa Bunin mógł kiedykolwiek przebaczyć Gippius te słowa krytyki, nawet gdyby były absolutnie prawdziwe? Wątpliwe. Potem odbywa się szybki dialog, w którym pojawia się Chodasiewicz oraz występują „chłopcy i dziewczęta”. To właśnie świadome skierowanie rozmowy na „młodzież” umożliwia Gippius zamknięcie żalów Bunina, który ciętą ripostą kwituje jej kontakty z „chłopcami i dziewczętami”. Gippius czerpała przyjemność z upokorzenia Bunina, co potwierdzają jej słowa: „После этого я, решив, что довольно, далее не продолжала” [podkr. tu i dalej – G.O.].

W analizowanym liście do Berberowej Gippius sugeruje adresatce, że inicjatywa, o której im wiadomo, a związana z Buninem, może nie mieć szans na powodzenie: „На мой взгляд Бунин вам реальной пользы не даст”. Nie wiadomo, czy Gippius ironizowała, gdy zgłaszała gotowość do napisania studium o twórczości Bunina, czy rzeczywiście wyrażała chęć stworzenia tekstu krytycznego, który nie byłby średniej klasy kadzidlęm słownym o twórczości Bunina; w roli przykładu negatywnego Gippius przywołała nazwisko Nikołaja Karłowicza Kulmana (1871–1940), historyka literatury i filologa, ich rówieśnika, który – jak sugeruje autorka listu – miał schlebiać autorom, a nie rzetelnie podchodzić do ich twórczości⁹.

Istotne znaczenie dla zrozumienia relacji pomiędzy Buninem i Gippius mają następne jej słowa, w których poetka ujawnia negatywną ewolucję wzajemnych stosunków, pisze bowiem, że na początku łączyła ją z Buninem przyjaźń, teraz – znajomość, ale bez względu na tę sytuację interpersonalną ma w zwyczaju mówić o kimś „poza oczy” tylko tego, co powiedziałyby danej osobie prosto w twarz. Z pokorą Gippius zaznacza jednak, że wciąż uczy się tej trudnej sztuki dyplomacji, a jej szczerość sprawia, że inni postrzegają ją jako ostrą. Praktyczność bierze wszakże górę nad powściągliwością i autorka *Romana carewicz* jest pewna, że postępuje słusznie.

Po prawie ośmiomiesięcznej przerwie w pierwszym liście do Chodasiewicza (5 lipca 1927 roku) Gippius donosi:

Он [Бунин], наконец, «пишет». Для этого ему нужно грандиозное устройство и несколько жертв. Хорошее хозяйство; самоотверженная машинка; и допинг тут же под рукой, чтобы не терять времени на поездки в другое место. Для полноты удобств и для виду к двум служительницам гения (разнослужащим) еще должно быть домашнее прибавление: оно найдено, за отъездом Фондаминского, в виде...

⁹ Nikołaj Karłowicz Kulman przed opuszczeniem Rosji był profesorem Wyższych Kursów Bestużewa i Żeńskiego Instytutu Pedagogicznego. Od 1919 roku przebywał w Belgradzie, gdzie wykładał literaturę rosyjską na Uniwersytecie w Sofii i Uniwersytecie w Belgradzie. Od roku 1928 – w Paryżu. Był znawcą francuskiej literatury średniowiecznej. Emigrant o prawicowych poglądach. Współpracował z pismem „Русская мысль”. Zmarł w Paryżu i został pochowany w podparyskiej nekropolii Rosjan, na cmentarzu de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Рощина. Это маленькое, покорное ничтожество – находка. Ведь оно тоже «творящее», и никому этим творчеством не мешающее.

Посмотрим, какая «красота» будет создана в таких, на мой взгляд, уродливых условиях. Мораль...je m'en fiche pour le moment¹⁰... Но что это все уродливо – я не видеть это никак не могу. Притом совершенно¹¹.

W przytoczonym fragmencie listu z łatwością można odnaleźć ironię na temat dokonanych twórczych Bunina. Wyraża się ona jawnie we wziętym w cudzysłów czasowniku „pisze”, mającym za zadanie podkreślić bezwartościowość tego, co wychodzi spod pióra Iwana Aleksiejewicza. Zresztą cały cytat jest przepełniony drwiną typową dla Gippius, a ostrze kpiny zostało wymierzone w najbliższe otoczenie Bunina, jego rodzinę oraz Nikołaja Roszczina (1892–1956), pisarza, który w tamtym czasie pojawił się w domu Buninów¹². Gippius zazdrości Buninowi prawie wszystkiego: i warunków do pracy, i opieki ze strony dwóch kobiet – żony, Wiery Muromcewej-Buninej (1881–1961), i sekretarki, Galiny Kuzniecovej (1900–1976). Roszczin został potraktowany przez Gippius instrumentalnie, jak mebel, który zastąpił inny ludzki mebel – Ilję Fondamińskiego (1879–1943). Nie znamy powodów, dla których autorka listu nazywa Roszczina „maleńką, pokorną miernotą”, krytycznie odnosi się do twórczości owej „miernoty” i twierdzi, że dorobek „nowego nabytku Bunina” nikomu nie jest w stanie zaszkodzić. Jej szyderczy ton dotyka przyszłych dokonań pisarskich Bunina, nazwanych tutaj prześmiewczym „pięknem”. Gippius negatywnie ocenia także w aspekcie moralnym skomplikowaną sytuację natury osobistej w domu Buninów w Grasse, związaną z bliską zażyłością pisarza z młodszą od niego o 30 lat Galiną Kuzniecową i stałą obecnością z nimi prawowitej żony Iwana Aleksiejewicza, Wiery z Muromcewów Buninej. To, co dzieje się w Grasse, wywołuje u Gippius obrzydzenie i dość potoczny komentarz, który nie licował z manierami światowej damy: „je m'en fiche pour le moment...”. Znając gwałtowną i egocentryczną naturę autorki listu do Chodasiewicza, można z całą pewnością przyjąć, że każdy, kto usiłowałby wpłynąć na zmianę sądu żony Mierieżkowskiego, poniósłby całkowitą klęskę, tak bardzo była ona przekonana o swojej wyższości i nieomyślności.

Minął ponad rok, a wraz z nim nastąpiło wzmocnienie pisarskiej pozycji Bunina. W drugim liście do Chodasiewicza (28 sierpnia 1929 roku) nie bez emocji Gippius informuje:

Хотелось написать вам и после «Державина», и после вашей умной статьи о Бунине. Умной, доброй, искусной. Что он ею недоволен – зависит уже не от вас, а от него. Желала бы, чтоб обо мне хоть в четверть кто-нибудь написал! Но я, конечно, не пример, а уж для Бунина особенно. Я даже – вообразить не могу сейчас статьи, которой он мог бы быть доволен. [...]

¹⁰ Mam to w nosie (fr).

¹¹ З. Гиппиус, *Письма к Берберовой...*, s. 78–79. Podają za: Н.Г. Мельников (red.), op. cit., s. 780–781.

¹² Nikołaj Jakowlewicz Roszczin (właśc. Fiodorow) zamieszkał w domu Buninów w Grasse w 1926 roku i przebywał w nim aż do 1929 roku, do chwili przyjazdu Leonida Zurowa (1902–1971), prozaika, opiekuna archiwum Buninów. Pod koniec listopada 1946 roku powrócił wraz z pierwszą grupą repatriantów do ZSRR. Zob. И.А. Бунин, *Новые материалы. Выпуск II*, составители О. Коростелев и Р. Дэвис, Москва 2010, s. 214.

По каким причинам, разным или одинаковым, *нельзя* сказать печатно: бунинские стихи лишены поэтической магии – и нельзя обозвать **Даманскую** старой курицей» (хотя она старая курица)? Знаю, что нельзя, но почему – не объясняю себе¹³.

List ten dotyczy nie tylko Bunina, albowiem jego autorka odnosi się również do twórczości samego Chodasiewicza, wspominając jego biograficzną książkę o rosyjskim poecie i dramaturgu Gawriile Dzierżawinie (1743–1816). Zarówno ukazanie się w paryskim obiegu *Dzierżawina*, jak i artykułu Chodasiewicza o Buninie stanowiły dwa potencjalne impulsy do napisania listu już znacznie wcześniej, lecz tak się z różnych powodów nie stało. Jednym z nich mogła być zwykła ludzka wstrzemięźliwość, która chroni przed pochwaleniem innego za jego literackie osiągnięcia. Gippius była przecież znana ze świadomej głuchoty na sukcesy innych i niesłyszenie tego, czego nie chciała; w ten właśnie sposób przez całe życie ignorowała na przykład twórczość Władimira Nabokowa. Tym razem stać było autorkę *Diabelskiej lalki* na obiektywizm i docenienie rzeczywistych walorów artykułu Chodasiewicza o Buninie. Z listu Gippius wynika, że adresat dał jej wcześniej do zrozumienia, iż artykuł ten nie bardzo się spodobał Buninowi, stąd pocieszenie i słuszna uwaga: „Что он ею недоволен – зависит уже не от вас, а от него”. I zaraz po tym – pragnienie tej sławy i zainteresowania, jakiego nigdy nie zaznała na obczyźnie żona Mierieżkowskiego, wzmocnione wykrzyknikiem: „Желала бы, чтоб обо мне хоть в четверть кто-нибудь написал!”. I za chwilę ironia, ulubiony epistolarny element idiolektu Gippius: „Но я, конечно, не пример, а **уж для Бунина особенно**. Я даже – вообразить не могу сейчас статьи, которой он мог бы быть доволен”.

Następnie – niezwykle drażliwy dla Bunina temat: jego poezja, o której nieustannie myślał jako o mającej **tę samą** wartość artystyczną, co jego proza; zdania w tym względzie wśród wielbicieli były podzielone, a sam Bunin bardzo przeżywał niedocenianie jego wierszy. Instynktownie jednak słusznie przeczuwał, że jego poezja jako formalnie i tematycznie tradycyjna, a więc w sporej mierze uniwersalistyczna, przetrwa wszelkie „-izmy”, które załazy przełom wieków i były jeszcze długo aktywne w awangardzie Zachodu. Poezja Bunina przetrwała wstrząsy historii, wiele zaś awangardowych pomysłów na literaturę XX wieku poszło w całkowite zapomnienie; w tym także symbolizm i jej luminarz – Zinaida Gippius. Wykorzystując skrzętnie okazję, niepozabawiona w gruncie rzeczy dobrego smaku autorka *Blasków* dokonuje oceny wierszy Bunina, wskazując na to, że nie ma w nich poetyckiej magii, a magia słowa jest przecież jednym ze stałych i najważniejszych wskaźników poezji.

Pozostała część cytowanej korespondencji dotyczy Augusty Filippownej Damańskiej (1875–1959), znanej w środowisku emigracyjnym pisarki, dziennikarki i tłumaczki¹⁴. Tej również Gippius nie pożałowała negatywnej oceny, utożsamiając Damańską ze starą kwoką.

¹³ З. Гиппиус, *Письма к Берберовой...*, s. 97–98, 100. Podaje za: Н.Г. Мельников (red.), op. cit., s. 784.

¹⁴ Augusta Damańska (Августа/Августина Даманская) – na emigracji od 1920 roku. Współpracowała w Paryżu z wieloma liczącymi się czasopismami, jak „Последние новости”, „Сегодня”, „Воля России”, „Перезвоны”, „Дни”, „Спохои”, „Жар-Птица”. Niejednokrotnie pisała pochlebnie o twórczości Bunina.

I jeszcze tego samego roku, przed upływem miesiąca, w trzecim liście do Chodasiewicza (26 września 1929 roku) czytamy między innymi:

Бунин книгу мне свою не дал (специально), но дал Маковскому, и я ее посмотрела; да, ничего не напишешь: хуже, чем я, по памяти, воображала... хотя опять говорю, согласна (и после вашего последнего письма – совершенно), что написать этого, по тактическим соображениям, *нельзя*¹⁵.

Tutaj również Gippius daje do zrozumienia, że nie ceni pisarstwa Bunina, lecz zdaje sobie sprawę, że o pewnych rzeczach z wielu powodów publicznie nie należy mówić, inaczej niż w korespondencji prywatnej z osobą, do której ma się zaufanie. Kategoryczne „нельзя” zamyka podjęty przez Chodasiewicza temat. Być może pytał on w swoim poprzednim liście, czy wypada napisać o utworze (utworach?) Bunina w taki sposób, o jakim myśli, a Gippius mu odradziła szczerłość – ze względów „taktycznych”, jak to sama ujęła.

Z kolei w liście do Amfiteatrowa (8 listopada 1932 roku) Gippius dzieli się następującymi refleksjami na temat Bunina i wydarzeń wokół literackiej Nagrody Nobla:

Дорогой Александр Валентинович,

[...] Сегодня, по получении Вашего письма к Д.С. [Мережковскому], спешу Вам сказать, что Ваши «поздравления» даже не преждевременны, а просто тщетны. Мы определенно знаем, что никакой премии Д. С-чу дано не будет. Шведы уже дали понять, что «русскому» и вообще им давать премию, «пока не придет Россия к нормальному порядку», неудобно, и, с их, особенно глупой, не воевавшей и ничего не понимающей, точки зрения, это естественно: к большевикам они, скорее, благосклонны и только побаиваются их «карманно»; премировать «эмигранта», да еще Дм. С-ча, столь бурного антибольшевика, – это был бы «вызов Советам», как они выражаются. Уж если бы что, скорее, на второго кандидата решался, на Бунина, который себя в смысле антибольшевизма не выражает, чистый художник, и сочинения его большевиками и теперь издаются. С другой стороны, не так уж разумно, с их точки зрения, и Горького увенчать, соединиться слишком явно со Сталиным [...].

Скажу Вам еще, положи руку на сердце, что я глаз не закрываю на положение, в котором мы бы в некотором смысле оказались, случись это чудо [...]. Кругом – нужда собратий, больших и малых; теперь мы делим ее с ними, да еще как! А тогда? Мы делим с ними теперь и помощь, которую (нищенскую, положим) оказывают писателям кое-какие страны... Тогда, если бы мы премией разделились, помощи этой никогда уж мы не увидим. Бунин знаю, как распорядится: заберет свою неправильную (и довольно некрасивую) семью и отправится путешествовать – в Индию, вокруг света... Давно уж жалуется, что не имеет «новых впечатлений», сидя сам-четверг на горке в Грассе. И я его понимаю. [...]

9 ноября. Вчера не успела дописать письмо, а сегодня любопытное письмо Д.С. получил из Швеции, иллюстрирующее выборы и подтверждающее, что выше написано, впрочем с поправкой: партия Горького очень сильна среди 80 человек нобелевцев, шансы Д. С-ча невелики (между прочим из-за антибольшевизма), после газетного «бума» еще уменьшились (эти господа не любят, чтобы им указывали). Зато у Bunina есть серьезные адепты из числа не большевицких, а большевицанствующих евреев. Ну, Бунину дай Бог,

¹⁵ 3. Гиппиус, *Письма к Берберовой...*, s. 102. Podaje za: Н.Г. Мельников (red.), op. cit., s. 784.

а вот если Горькому... Это, Вы правы. Такая пощечина России и всем нам, что стоила бы хорошего плевка ему в лицо!¹⁶

Emigracja rosyjska w latach trzydziestych XX wieku wyraźnie się zaktywizowała w kwestii przyznania literackiej Nagrody Nobla jednemu z dwóch rosyjskich kandydatów: Dmitrijowi Mierieżkowskiemu i Iwanowi Buninowi. W grę wchodził jeszcze inny pisarz rosyjskojęzyczny – Maksym Gorki. Stał się on ofiarą rozgrywek politycznych, od jakich nie był wolny Komitet Noblowski.

Ważna jest data ostatniego z analizowanych listów: 8 listopada 1932 roku. To moment, w którym w Akademii Szwedzkiej zapadała decyzja o przyznaniu literackiej Nagrody Nobla. Z odpowiedzi Gippius można się domyślać, że być może Amfiteatrow dyplomatycznie pogratulował Mierieżkowskiemu otrzymania tego międzynarodowego i najwyższego wyróżnienia, a Gippius bez entuzjazmu odniosła się do przedwczesnych i zbędnych życzeń. Przy okazji ujawniła mechanizmy rządzące wówczas decyzją Szwedów, wskazując na relacje szwedzko-radzieckie. Gippius cytuje w liście do Amfiteatrowa czyjeś stanowisko, kiedy pisze, że «пока не придет Россия к нормальному порядку», nie można liczyć na premiowanie pisarzy rosyjskich, gdyż wiąże się to z międzynarodową niezręcznością. Szwedzi, według Gippius, najbardziej obawiają się nagrodzenia kogoś, kto wyraźnie opowiedział się przeciwko bolszewikom i nie skrywa tego ani w słowie, ani w czynie. Wiadomo zaś, że zarówno Mierieżkowscy, jak i Bunin ostro krytykowali bolszewizm i aparat radzieckiej władzy. Prorocze okazały się przypuszczenia Gippius o wyborze Bunina: „Уж если бы что, скорее, **на второго кандидата решатся, на Бунина**, который себя в смысле антибольшевизма не выражает, чистый художник, и сочинения его большевиками и теперь издаются”. Trudno zgodzić się z ostatnią opinią Gippius: Bunin do końca życia pozostał antybolszewikiem, a jego twórczość należała do zakazanych w ZSRR; sytuacja ta zmieniła się zasadniczo dopiero po 1953 roku wraz z opublikowaniem pod okiem Lwa Nikulina wszystkich dzieł Bunina w pięciu tomach (1956)¹⁷. Szwedzi znaleźli się między młotem a kowadłem, ponieważ stałe ignorowanie Gorkiego byłoby jawnym nietaktem wobec popierających go noblistów, a nagrodzenie oznaczałoby jednocześnie akceptację na forum międzynarodowym totalitarnego reżimu Stalina, na co Komitet Noblowski nie był jeszcze w pełni przygotowany.

Dokonując teatralnego gestu, kładąc rękę na serce, Gippius wyznaje Amfiteatrowowi, że bierze jednak pod uwagę możliwość przyznania nagrody Mierieżkowskiemu. Mówi o ciężkim położeniu emigrantów: „Кругом – нужда собратий, больших и малых; теперь мы делим ее с ними, да еще как!”. Zastanawia się, co będzie, gdy to się gwałtownie zmieni: „А тогда? Мы делим с ними теперь и помощь, которую (нищенскую, положим) оказывают писателям кое-какие страны... Тогда, **если бы мы премией разделились, помощи этой никогда уж мы не увидим**”. Autorka listu właściwie ocenia szanse Bunina na literackiego Nobla, i to chyba jedynie poprawny sąd w tamtym momencie. Nie sprawdziły się jej ironicznie zabarwione słowa o swoim rywalu, który

¹⁶ З. Гиппиус, *Письмо к Александру Амфитеатрову*, Новый журнал 1992, nr 192, s. 305–306. Podaje za: Н.Г. Мельников (red.), op. cit., s. 785–786.

¹⁷ И.А. Бунин, *Собрание сочинений в пяти томах*, red. Л. Никولين, Москва 1956.

„заберет свою неправильную (и довольно некрасивую семью и отправится путешествовать – в Индию, вокруг света... Давно уж жалуется, что не имеет «новых впечатлений», сидя сам-четверг на горке в Грассе”. Zrozumiałaby decyzję Bunina, być może postąpiłaby podobnie, lecz los chciał inaczej. Skądinąd wiadomo także, że Mierieżkowski chciał jeszcze przed listopadem 1933 roku zawrzeć z Buninem dżentelmeńską umowę, na mocy której ten, kto pierwszy otrzyma Nagrodę Nobla, podzieli się nią po połowie z drugim; Bunin nie przyjął jednak tej propozycji, co również nie wpłynęło na poprawę relacji z Mierieżkowskimi.

Dopisek z 9 listopada 1932 roku wniósł pewne korekty do tego, co Gippius napisała poprzedniego wieczora. Z listu, który Mierieżkowski otrzymał ze Szwecji, wynikało, że Gorki ma wielu zwolenników wśród noblistów, a szanse jej męża są niewielkie i winę za ten stan rzeczy ponosi zdesperowana antybolszewicka postawa Dmitrija Siergiejewicza. Gippius wspomina również o przyczynie wzmacniającej się pozycji Bunina, który ma poważnych adeptów, wywodzących się nie z kręgów bolszewickich, ale żydowskich. Żona Mierieżkowskiego jest skłonna pogodzić się z ewentualną wygraną Bunina, lecz zwycięstwo Gorkiego byłoby dla niej i dla Rosji osobistym ciosem oraz wymagałoby równie teatralnego gestu: plunięcia Gorkiemu w twarz.

Pięć przedstawionych powyżej listów, adresowanych do różnych osób i powstałych w różnym czasie, łączy postać ich autorki, Zinaidy Gippius, piszącej o Iwanie Buninie i jego twórczości, oraz sam Bunin – obiekt ocen. Bez względu na względny obiektywizm jej spostrzeżeń można zauważyć w wypowiedziach żony Mierieżkowskiego konsekwencję, z jaką negatywnie odnosi się ona do rosyjskiego noblisty, niesłabnącą ironię oraz świadomość (wyrażoną w liście do Amfiteatrowa), że los obejdzie się z autorem *Porażenia słonecznego* lepiej niż z nią samą i Mierieżkowskim, jeśli Bunin otrzyma literackiego Nobla (co się zresztą stało rok później). I Gippius, i Bunin zostali pochowani na tym samym podparyskim cmentarzu de Sainte-Geneviève-des-Bois. Odchodząc z tego świata, zakończyli długi spór literacki, który toczyli między sobą za życia – a być może go kontynuują, lecz w innym zupełnie wymiarze. Przypomnienie napiętych relacji, jakie wyłoniły się z prywatnej korespondencji Gippius na temat Bunina, niczego już między nimi nie zmienia, lecz może stanowić przyczynek do zrozumienia złożoności ludzkiej osobowości i jej wpływu na ocenę dokonań innych twórców rosyjskich wywodzących się spośród emigrantów pierwszej fali.

Bibliografia

- Berberowa, N. (1998). *Podkreślenia moje. Autobiografia*. Tłum. E. Siemaszkiewicz. Warszawa.
- Адамович, Г. (1988). *Бунин. Воспоминания*. Знамя 4, s. 178–191. [Online] <<http://az.lib.ru>>, dostęp: 3.05.2013.
- Бунин, И.А. (1956). *Собрание сочинений в пяти томах*. Red. Л. Никулин. Москва.
- Бунин, И.А. (2010). *Новые материалы. Выпуск II*. Сост. О. Коростелев, Р. Дэвис. Москва.
- Мельников, Н.Г. (red.) (2010). *Литературный мир о творчестве И.А. Бунина. Критические отзывы, эссе, пародии (1890-е–1950-е годы)*. Антология. Москва.

Summary

Zinaida Gippius about Ivan Bunin in the Private Correspondence of 1926–1932

The article studies the contents of five letters written by Zinaida Gippius in 1926–1932 to three persons: Nina Berberova, Vladislav Khodasevich and Alexandr Amfiteatrov. All the interlocutors, including Ivan Bunin, represent the first wave of the Russian emigration. In her letters to the acquaintances Gippius shares remarks about Bunin as a man and an artist. With typical for her irony and arrogance, she refers to the works of her competitor revealing negative features of her character. Gippius letters also portray mechanisms of the social and cultural life of Russian emigrants originating from the older generation of writers.

Andrzej Pilipowicz

Katedra Filologii Germańskiej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

JENSEITS DES SALOME-TANZES. ANHAND EINER BEZIEHUNG ZWISCHEN DEM 2. TEIL DES GEDICHTS *DREI BLICKE IN EINEN OPAL* VON GEORG TRAKL UND DEM GEDICHT *SCHLEIERTANZ* VON GÜNTER GRASS

Key words: Austrian literature, German literature, Georg Trakl, Günter Grass, Salome

Zum ersten Mal taucht Salome in der Bibel auf, wo sie den Kopf von Johannes dem Täufer für ihren Tanz verlangt. Ein besonders reges Interesse erlebt diese Gestalt in der Literatur zu Ende des 19. Jahrhunderts und zu Anfang des 20. Jahrhunderts. 1891 schreibt Oscar Wilde das Drama *Salome* (*Salomé*), in dem die Titelfigur ein wichtiges Attribut bekommt – Schleier, die sie beim Tanzen begleiten und die von nun an ihr Bild indentifikatorisch prägen. Die Schleier erscheinen auch im 2. Teil des Gedichts *Drei Blicke in einen Opal* von Georg Trakl (1887–1914), das 1912/1913 entstanden ist und im Gedichtband *Gedichte* veröffentlicht wurde, und im Gedicht *Schleiertanz* von Günter Grass (geb. 1927), das aus der 2003 herausgegebenen Gedichtsammlung *Letzte Tänze* stammt.¹ Der Analyse der genannten Gedichte liegen Fragen zugrunde, die den Untersuchungsbereich des vorliegenden Textes ausmachen. Es soll erforscht werden, in welchem Maße die im Text von Trakl und im Text von Grass erwähnten Schleier ein Ambiente bilden, in das sich das semantische Feld einpassen lässt, das von dem in der Bibel und in Wildes Drama dargestellten Tanz Salomes geschaffen wird.² In diesem Kontext ist es notwendig, die

¹ Im Werk *Beim Häuten der Zwiebel* nennt Grass Trakl einen der Dichter, deren Gedichte von ihm nicht nur gelesen wurden (vgl. G. Grass, *Beim Häuten der Zwiebel*, Göttingen 2006, S. 309 und 462), sondern auch sein frühes Schaffen inspirierten (vgl. ibidem, S. 342–343). Trakls Gedichte bezeichnet er als Werke, die sehr traurig und sehr schön sind (ibidem, S. 461).

² Die Geschichte von Salome erscheint im Neuen Testament, wo aber von keinen Schleiern die Rede ist. Die zweite Ehe von Herodes Antipas mit seiner Schwägerin Herodias wurde von Johannes dem Täufer wegen der inzestuösen Merkmale kritisiert (vgl. Die Bibel, *Die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments*, Köln 1964, S. 20 [das Evangelium des Matthäus: 14,4]). Das Inzestoid der Beziehung zwischen Herodes und Herodias wird noch von dem Inzestoiden der Beziehung zwischen Herodes und seiner Stieftochter-Nichte Salome

Funktion des Tanzes von Salome im trilateralen Spannungsfeld zwischen Tod, Leben und Kunst zu bestimmen. Nicht minder wichtig ist der Zusammenhang, der zwischen dem im Werk von Trakl verborgenen Salome-Tanz und dem im Werk von Grass mitschwingenden Salome-Tanz besteht. In Anlehnung an ein Verfahren, das Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf beide Gedichte diagnostizieren lässt, wird nach Elementen gesucht, die die kanonische – in der literarischen Tradition fixierte – Dramaturgie von Salomes Tanz um neue Aspekte erweitern bzw. nach neuen Impulsen modellieren.

Im 2. Teil des Gedichts *Drei Blicke in einen Opal* von Trakl lassen die den Tanz mitbestimmenden Schleier das Bild der tanzenden Salome im Stück *Salome* von Wilde aufsteigen und können auf den Inzest bezogen werden, der das Verhältnis zwischen dem Dichter und seiner Schwester Margarethe kennzeichnet und Trakls Dichtung motivisch durchzieht³:

Der ihn befeuchtet, rosig hängt ein Tropfen Tau
Im Rosmarin: hinfließt ein Hauch von Grabgerüchen,
Spitälern, wirr erfüllt von Fieberschrein und Flüchen.
Gebein steigt aus dem Erbbegräbnis morsch und grau.

In blauem Schleim und Schleiern tanzt des Greisen Frau,
Das schmutzstarrende Haar erfüllt von schwarzen Tränen,
Die Knaben träumen wirr in dürrn Weidensträhnen
Und ihre Stirnen sind von Aussatz kahl und rauh.

Durchs Bogenfenster sinkt ein Abend lind und lau.
Ein Heiliger tritt aus seinen schwarzen Wundenmalen.
Die Purpurschnecken kriechen aus zerbrochenen Schalen
Und speien Blut in Dorngewinde starr und grau.⁴

Vor dem Hintergrund des Rosmarinstrauchs, dessen dunkles Inneres das menschliche Innere reflektiert, weist das an das Rote des Bluts erinnernde Rosige des Taus, das ein Konnotat des lebensspendenden Wassers bildet, auf die Formung eines Organismus hin, dessen Knochengerüst von dem Gezweig versinnbildlicht wird. Im Kontext des aus dem Grab steigenden Gebeins und des aus dem Grab kommenden Geruchs, der wegen seiner Unsichtbarkeit und Gasförmigkeit auf den Geist zu beziehen ist, ist an dem sich

verstärkt, der er seine grenzenlose, mit Liebe einhergehende Aufopferungsbereitschaft entgegenbringt (vgl. *ibidem* [das Evangelium des Matthäus: 14,6–12]). Der Tod von Johannes dem Täufer wird im Evangelium des Markus dramatisiert (vgl. *ibidem*, S. 47–48 [das Evangelium des Markus, 6,14–28]), wo darauf hingewiesen wird, dass Herodias Salome nach dem Kopf von Johannes dem Täufer verlangen lässt, um sich an ihm für die Kritik ihrer Ehe mit Herodes zu rächen (vgl. *ibidem*, S. 47 [das Evangelium des Markus: 6,19]). Im Drama *Salome* von Wilde dagegen fordert Salome nach dem Kopf von Jochanaan aus eigener Initiative, wodurch sie sich als eine autonome Person zeigt, die ihren Bedürfnissen allein nachkommt (vgl. O. Wilde, *Salome*, Stuttgart 2009, S. 44).

³ Vgl. Ch. Saas, *Georg Trakl*, Stuttgart 1974, S. 36.

⁴ G. Trakl, *Dichtungen und Briefe*, Salzburg 1987, S. 38–39. Davon, dass Trakl das Drama *Salome* von Wilde kannte, zeugt sein Feuilleton, das sich auf die am 3. März 1906 stattgefundenen Aufführung von Wildes Stück am Salzburger Stadttheater bezieht (vgl. G. Trakl, *Sämtliche Werke und Briefwechsel*, Bd. 1, Frankfurt a. Main, Basel 2007, S. 51). Trakl lobt besonders die Form des Stücks: „An diesem Werk ist nichts, das nicht mit eiserner Konsequenz auf die Einheit – Wesenheit des Werkes hinarbeiten würde, bis es dasteht als ein Ganzes – die Wirklichkeit überragend, ein Guß ohne Sprung und Bruch“ (*ibidem*, S. 54).

neu formenden Organismus der Wille zu erkennen, in die Außenwelt zurückzukehren. Dies kann durch die im Gedicht erwähnten ‚Spitäler‘ begründet werden, weil sie die Welt aus der Perspektive der Kranken betrachten lassen, die an den Tod rücken und sich allmählich in Verstorbene verwandeln. Die Richtung der sich gegen den Tod wehrenden und sich an das Leben klammernden Kranken initiiert das Zurücklaufen der Zeit, was für die Situation der Inzest-Geschwister von ausschlaggebender Bedeutung ist. Versuchen die Verstorbenen, zu denen die in den Bereich des Todes geratenen Kranken werden, aus der Erde als ‚Schoß‘ der Toten über den Rosmarinstrauch in die Außenwelt zurückzukommen, so streben die Inzestgeliebten den ebenfalls über den Rosmarinstrauch führenden Austritt aus der Außenwelt und den Eintritt in den lebendigen Schoß der Mutter an, wo die im Geburtsakt getrennten Existenzen der ein und demselben Schoß entstammenden Geschwister wieder zusammengeführt werden.⁵ Auf diese Weise wird die Bewegung der Inzestbetroffenen ‚aus der Außenwelt in den Schoß‘ von der Bewegung der Verstorbenen ‚aus dem Grab in die Außenwelt‘ provoziert.

Die Inzestgeliebten versuchen sich dem Tod nicht anzunähern und ihn zu vermeiden, was damit zusammenhängt, dass der Tod als ein sehr stark individuell geprägtes Ereignis jeden Menschen separat ‚austilgt‘, wodurch der Geist des Menschen im Jenseits zwar verstreut wird, so wie er sich infolge der Rückgeburt im Schoß verstreut, aber nicht mit dem Geist der geliebten Person, sondern mit dem Geist aller Verstorbenen verbunden wird. Darüber hinaus gilt das Jenseits als ein christlich bestimmter Bereich der Verstorbenen, was die Inzestbetroffenen zwingt, ihrer Existenz eine andere Richtung zu verleihen. Das Christentum fungiert nämlich als eine Religion, die den Inzest verurteilt und somit alle Inzestbetroffenen ablehnt. Deswegen erweist sich die Antike, deren Polytheismus die vieldimensionale – auch den Inzest implizierende – Natur des Menschen widerspiegelt, als menschenfreundlicher, wenn man sie mit dem Christentum vergleicht, dessen Monotheismus auf seine vereinheitlichenden Tendenzen hinweist.⁶ Da die Wege der Antike und des Christentums in konzeptioneller, die Menschenauffassung betreffender Hinsicht auseinandergehen, suchen die Inzestbetroffenen in dem Schoß, der einen zum Jenseits in Opposition stehenden Bereich bildet, nach antiken Werten und nach einem Zufluchtsort – umso mehr, als die Außenwelt von dem Christentum, das zur geltenden Religion in der Gesellschaft wird, ‚beschlagnahmt‘ wird und mit dem Christlichen ‚gefüllt‘ ist, das auch das Jenseits prägt. Einen kritischen Blick auf das Christentum bringt die tanzende Frau eines Greises mit sich. Darauf, dass ihr Tanz mit dem Christlichen verknüpft ist, weist das Blaue hin, das als Farbe des Himmels den ‚Sitz‘ Gottes andeutet und nicht nur den Schleim kennzeichnet, sondern auch auf die Schleier ‚überzuspringen‘ scheint. Lässt sich der blaue Schleim, der die Bewegungen der tanzenden Frau erschwert, auf die christlichen Prinzipien beziehen, die die Bewegungen der Menschen fesseln und in Form eines aufgestellten Kodexes von Geboten und Verboten in der Antike nicht

⁵ Vgl. G. Rusch, S.J. Schmidt, *Das Voraussetzungssystem Georg Trakls*, Braunschweig, Wiesbaden 1983, S. 305.

⁶ Dafür, dass die antike Kultur der komplizierten Individualität und der ambivalenten Identität des Menschen mehr Verständnis als das Christentum entgegenzubringen vermag, spricht u.a. die inzestuöse Beziehung zwischen den Geschwistern Hera und Zeus (vgl. Z. Kubiak, *Mitologia Greków i Rzymian*, Warszawa 2003, S. 172–173).

vorkommen, so kann das Blaue der Schleier auf das Bild des mit den christlichen Dogmen gebändigten Menschen zurückgeführt werden, der zu seinen eigenen, von der Ideologie des Christentums verschleierte Schichten des Ichs nicht mehr vorzudringen vermag. Die einzige Möglichkeit der Begegnung mit dem eigenen Ich, das vom kollektiven Charakter des Christentums nicht ‚verseucht‘ wird, bietet der Tanz, mit dem die tanzende Frau die christlichen ‚Schleier-Hüllen‘ wirbeln lässt und sich selbst entgegentritt. Da sie sich in ihr Inneres hineindreht, verschwindet sie hinter dem Schleier-Gewirbel.⁷

Die von dem Christentum propagierte Askese, die in dem Zuschneiden der komplizierten und differenzierten menschlichen Natur auf ein Schema besteht, wird auch von den verklebten Haaren der Frau ausgedrückt. Mit den schwarzen Tränen, deren Farbe auf das dunkle Innere und somit auf das tief verborgene Eigene zu beziehen ist und deren Wasser die Belebung der eigenen Ich-Bereiche chiffriert, versucht die Frau die Haare auseinanderzufitzen, um ihren Bedürfnissen folgen zu können, d.h. aus dem ihre Persönlichkeit verengenden Kreis herauszukommen, der auf den Kreis ihrer sakramental sanktionierten Ehe mit einem Greis zu übertragen ist.⁸ Der Tanz der Frau kann aber in einem breiteren Kontext als Versuch ausgelegt werden, aus dem Kreis des Christentums auszutreten, das von dem bildhaft als Greis dargestellten Gott angedeutet wird.⁹ In Bezug

⁷ Man kann das Blaue nicht nur auf die blaue Farbe des Himmels, der in semantischer Hinsicht an den Bereich Gottes denken lässt, sondern auch auf die blaue Blume beziehen, die im Roman *Heinrich von Ofterdingen* von Novalis erscheint. Die blaue Blume indiziert die Begegnung mit dem unbekannten Teil von sich selbst und initiiert den Eintritt in die Innenwelt, deren Spontaneität und Originalität der Kalkuliertheit und Uniformisierung der Außenwelt gegenübergestellt werden: „Was ihn aber mit voller Macht anzog, war eine hohe lichtblaue Blume, die zunächst an der Quelle stand, und ihn mit ihren breiten, glänzenden Blättern berührte. Rund um sie her standen unzählige Blumen von allen Farben, und der köstlichste Geruch erfüllte die Luft. Er sah nichts als die blaue Blume, und betrachtete sie lange mit unnennbarer Zärtlichkeit. Endlich wollte er sich ihr nähern, als sie auf einmal sich zu bewegen und zu verändern anfang; die Blätter wurden glänzender und schmiegt sich an den wachsenden Stengel, die Blume neigte sich nach ihm zu, und die Blütenblätter zeigten einen blauen ausgebreiteten Kragen, in welchem ein zartes Gesicht schwebte“ (Novalis, *Heinrich von Ofterdingen*, Stuttgart 2008, S. 11–12).

⁸ In dieser Hinsicht wird das Bild der tanzenden Frau durch das Bild von Margarethe Trakl deutlich überlagert, die auch künstlerisch (pianistisch) veranlagt war und als 21-jährige Frau den 33 Jahre älteren Arthur Langen heiratete (vgl. Ch. Chiu, *Frauen im Schatten*, Wien 1994, S. 54).

⁹ Im Gedicht *Auf ein Porträt (Hadnucь na nopmpeme)* von Anna Achmatowa ist Salome als eine dämonische Gestalt dargestellt, die sich der christlichen Transzendenz bedient, um die (generisch weibliche, auf Salome zu beziehende) Liebe und den (generisch männlichen, auf Johannes den Täufer zu übertragenden) Tod zu synthetisieren: „Rauchiges Geschöpf der Vollmondnächte, / weißer Marmor in Alleennacht, / Tänzerin, du, Wesen höherer Mächte, / leuchtender als der Kameen Pracht – / ja, um solche starb manch Mensch in Qualen, / und nach solcher Tschingis' Bote frug; / solche war es, die auf blut'ger Schale / im Triumph das Haupt des Täufers trug“ (A. Achmatowa, *Die roten Türme des heimatlichen Sodom*, Berlin 1988, S. 119). In Wildes Drama wird diese transzendente Synthese im Satz „(D)as Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes ...“ (Wilde, op. cit., S. 53) ausgedrückt sowie in der runden, unversehrten Form des Mondes, des Kopfes von Jochanaan dem Täufer und der Jungfräulichkeit von Salome verschlüsselt, die den ‚unbeschädigten‘ Vollmond mit dem ‚unbeschädigten‘ Hymen assoziiert (vgl. ibidem, S. 11). Die Transzendenz kennzeichnet die Position von Salome, die nicht nur ihre Jungfräulichkeit bewahrt, sondern sich über sie hinwegsetzt und in einen Mann verwandelt. Sie küsst den toten Mund von Jochanaan, dessen Gestalt auf einen die Geschlechtszüge nur schwach hervorbringenden Kopf reduziert und des den Penis enthaltenden Korpus entledigt wird, wodurch sie von seinem Körper nicht dominiert wird, sondern ihren Körper über ihn dominieren lässt (vgl. K. Sauerland, *Das Spiel mit dem abgeschlagenen Haupt oder der Salome-Stoff bei Heine, Flaubert, Oscar Wilde und Jan Kasprovicz*, in: J. Lehmann, T. Land, F. Lönker, T. Unger (Hg.), *Konflikt. Grenze. Dialog. Kulturkontrastive und interdisziplinäre Textzugänge*, Frankfurt a. Main, Berlin, Bern 1997, S. 255). So wird Jochanaans Mund zu einer

auf die die Haare der Frau reflektierenden Weidensträhnen lassen auch die Knaben an das Innere des Schoßes denken, was von ihrem im Inneren des Menschen entstehenden Traum unterstrichen wird. Dadurch, dass der aus einer zu großen Schwingung des Ichs in die Außenwelt resultierende Aussatz der Knaben im Bereich der Weide nachlässt, wird eine heilende Balance hergestellt, die in der Eliminierung eines zu starken Andrangs der Außenwelt auf das Ich besteht. So gewinnt der Mensch in seinem den Schoß der Mutter widerspiegelnden Inneren wieder einen Raum, wo er seinem Wesen freien Lauf lassen kann. Ergeben sich die Existenzstörungen der Knaben aus einer zu weit in die Außenwelt hinreichenden Auspendelung des Ichs, so kann es auch zu einer Existenzdisfunktionalität infolge einer zu tiefen Abkapselung in dem Inneren kommen, was der aus den schwarzen Wundmalen tretende Heilige veranschaulicht. Die Askese, die in dem Martern des eigenen Körpers besteht und von den Wunden indiziert wird, fördert die Annäherung an das im Inneren aufbewahrte Geistige. Andererseits führt ein zu intensiver Aufenthalt im eigenen Inneren zu einer Überforderung des Geistes, der einen Kontakt zur Außenwelt braucht, um seine Kondition revitalisieren zu können. Der Austritt des Heiligen aus seinem dunklen Inneren wird durch den Eintritt des Abends begleitet, wodurch nicht nur auf den Aufruf der Inzestbetroffenen zum Abbau der christlichen Rigorosität und zur Realisierung des von Christus aufgestellten Postulats der Nächstenliebe, sondern auch auf die konspirative Existenz der Inzestgeliebten angespielt wird. Erst in der Dunkelheit des Abends dürfen sie nämlich ihr dunkles Inneres verlassen, das mit dem Inneren des Hauses verglichen wird, dessen Fensterbogen die Augen reflektieren und die Sehnsucht nach dem Ausbruch aus dem Inneren ins Äußere nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tag ausdrücken. Das Problem des Verhältnisses zwischen der Materie und dem Geist wird auch von den aus den Schalen kriechenden Schnecken angedeutet.¹⁰ Wird mit den zerbrochenen Schalen der Schnecken die Sublimation des Geistes infolge der Deformation des Körpers zum Ausdruck gebracht, so können die mit dem Blut der Schnecken bespritzten Dornengewinde, in denen sich die Dornenkrone Christi widerspiegelt, als Appell um einen ‚Wiedertod‘ Christi ausgelegt werden, da sein die Rettung der Menschen voraussetzender Tod sich als unwirksam erwiesen hat: Die Menschen begehen neue Verbrechen

die Jungfräulichkeit von Salome betonenden Vagina, während Salomes Mund in ein den Penis mit einbeziehendes Konnotationsfeld gebracht wird, wenn man sich vorstellt, dass sie ihre den Penis imitierende Zunge in seinen Mund während des Kusses steckt. Dadurch, dass Salome den Kopf von Jochanaan auf einer Schüssel als einem horizontal geformten Gegenstand und nicht auf einem Speiß als einem vertikal konzipierten Gegenstand bekommt, werden Jochanaans ‚Entmännlichung‘ und seine ‚Verweiblichung‘ unterstrichen, weil man in seinem Kopf den schwangern Bauch einer liegenden Frau erblicken kann, was als Folge des Koitus zwischen dem Salome-Mann und der Jochanaan-Frau zu betrachten ist. Wenn sich Salome zum Verlust ihrer Jungfräulichkeit bekennt – „Ich war eine Fürstin, und du verachtetest mich, eine Jungfrau, und du nahmst mir meine Keuschheit“ (Wilde, op. cit., S. 53) – begreift sie ihre Defloration im metaphorischen Sinne. Ihre Liebe zu Jochanaan lässt nicht seinen Körper in ihren Körper, sondern seine die Christus-Welt vertretende Männlichkeit in ihre die Moses-Welt repräsentierende Weiblichkeit eindringen. Deswegen kann der abgeschnittene Kopf von Jochanaan nicht nur eine Assoziation mit dem schwangeren Bauch einer aus einem Mann abgeleiteten Frau, sondern auch mit dem ‚schwangeren‘, von der Idee des Christentums ‚aufschwellenden‘ Kopf von Salome hervorrufen.

¹⁰ Vgl. K.E. Webb, *Trakl/Schiele and the Rimbaud Connection: Psychological Alienation in Austria at the Turn of the Century*, in: J.P. Strelka (Hg.), *Internationales Georg Trakl-Symposium*, Bern, Frankfurt a. Main, Nancy, New York 1984, S. 16.

und erstarren in alten – auch den Inzest betreffenden – Vorurteilen. Im Zusammenhang mit dem Tod Christi und dessen Auferstehung im Jenseits ist die von den Inzestbetroffenen verfolgte Idee zu verstehen, die ontische Dimension der Existenz ‚auszulösen‘ und nur deren ontologische Dimension im Schoß der Mutter zu rekonstruieren.¹¹

Während die in Trakls Gedicht tanzende Frau die blau-christlichen Schleier abzuwerfen bzw. die blau-individuellen Schleier zur Schau zu stellen versucht, lässt eine in Grass' Gedicht *Schleiertanz* tanzende Frau ihre individuellen Schleier von sich abfallen, um dem ‚Kern‘ ihres Ichs¹²:

Und noch einer fällt,
weil unerschöpflich dein Fundus:
die Grabbelkiste im Schlußverkauf.

Und in jeden weniger
ist eine Geschichte verstrickt:
Fortsetzung folgt.

Und immer aufs Neue verhüllt
gibst du Pointen preis,
mal tragische, mal komische.

Und jedes Gewebe verrät durchsichtig
das nächste, das wiederum
durchsichtig ist.

Und um dich, nur um dich
dreht, dreht sich
in Zeitlupe alles.

Und unberührt bleibt,
was dein Geiz – reich an Tränen –
erspart hat.

Und so bleibt, Mal um Mal,
verhängt Schönheit

¹¹ Vgl. O. Basil, *Georg Trakl in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Reinbek bei Hamburg 1965, S. 136.

¹² In einer variierten Form wird der Salome-Stoff im Film *Boulevard der Dämmerung* (*Sunset Boulevard*) von Billy Wilder verwendet, wo die Stummfilmschauspielerinnen Norma Desmond ihr Comeback mit der Rolle von Salome plant, deren Geschichte sich auch über das private Leben der Schauspielerinnen ausbreitet. Da Normas Schleiertanz am Silvesterabend stattfindet, gewinnt die Szene einen transzendentalen Charakter, der durch den Wechsel vom alten zum neuen Jahr gekennzeichnet ist. Zwar tanzt sie – wie bei Wilde und in der Bibel – vor Herodes, der in ihrem zu einem Lakaia degradierten ehemaligen Ehemann zu erblicken ist, aber nicht allein, sondern mit dem Propheten, für den man Joe Gillis halten kann, der Drehbücher schreibt und sich in ihren Geliebten verwandelt. Während des Tango-Tanzes wirft sie ihren Schleier auf den Boden, wodurch sie den Anfang ihrer intimen Beziehungen andeutet (vgl. B. Wilder, *Sunset Boulevard*, 0:40:46–0:42:05): Der geworfene Schleier erinnert nämlich nicht nur an den Brautschleier, sondern auch an den Brautstrauß, der von der Braut am Hochzeitsabend in die Menge der Gäste geworfen wird. So verletzt sie die Normen der christlich geprägten Gesellschaft, die eine erotische Beziehung erst nach der Trauung zulässt, und realisiert den Wunsch der tanzenden Frau bei Trakl nach der Abschaffung der religiös bestimmten Barrieren. Dadurch, dass sich Norma direkt nach dem Tanz infolge eines Streits mit Gillis abgestoßen fühlt und sich die Adern aufschneidet, nimmt sie – trotz der misslungenen Selbstmordes – die männliche Rolle des ums Leben kommenden Propheten an, während dem mit ihr tanzenden Gillis die weibliche Rolle von Salome zukommt, die erst nach dem Tod des Propheten stirbt..

Spekulation.

Und weil fünftausend Jahre und mehr
verschleiert vorrätig sind,
hört er nie auf, dein Tanz.

Und ich – an Striptease gewöhnt –
schaue dir zu, ungeduldig,
ein wenig genervt.¹³

In der letzten Strophe des Gedichts erscheint das Bild einer Stripteasetänzerin, die im Laufe des Tanzes ihre einzelnen Kleidungsstücke auszieht und von einem Mann beobachtet wird, der mit dem lyrischen Ich gleichzusetzen ist.¹⁴ In diesem Bild fallen das Weibliche (Tänzerin) und die Kunst (Tanz) zusammen, wodurch die sich entkleidende Stripteasetänzerin nicht nur das Erotische ausstrahlt, sondern als Objekt der Kunst betrachtet werden kann. Lässt die Ungeduld des Mannes auf dessen erotisch bedingte Gereiztheit schließen, so verrät seine Genervtheit die Konfrontation mit dem, was er schon mehrmals gesehen hat und ihm bekannt ist: mit dem weiblichen Körper.¹⁵ Während der Körper jeder Frau in biologischer Hinsicht immer der gleiche ist, machen die individuellen und von Emotionen gesteuerten Bewegungen der Tänzerin deren Körper zu einem immer neuen ‚Kunstwerk‘. Dieses Prinzip konstituiert das Wesen der Kunst, deren sich je nach Zeit und Kultur ändernde Form den aus dem Inneren des Künstlers herausgeholt und den ‚Inhalt‘ seines Kunstwerks ausmachenden Geist in sich birgt. Der Inhalt eines Kunstwerks ist insofern unerschöpflich, als er zu einem Auslöser von verschiedenen, sowohl mit dem Traurigen als auch mit dem Lustigen verbundenen Gefühlen wird, wodurch ihm eine inspirierende Funktion zugeschrieben werden kann. Deshalb ‚wandert‘ der im Kunstwerk untergebrachte Geist des Künstlers nicht in das Innere des Rezipienten, sondern ‚drückt‘ sich in dessen Geist ‚ab‘ und aktiviert die ihm bisher unbekannten Gebiete seiner Persönlichkeit.¹⁶ Dieser Prozess weist Züge eines Striptease auf: Indem man ein Kunstwerk betrachtet, steigt man in einen immer tiefer gelegenen Teil des Ichs hinab, wodurch sich die mit den Kleidungsschichten vergleichbaren Ich-Schichten von der Persönlichkeit des Betrachters so wie die Kleidungsstücke vom Körper der Stripteasetänzerin lösen.¹⁷

¹³ G. Grass, *Letzte Tänze*, Göttingen 2003, S. 42.

¹⁴ Vgl. M. Doerry, V. Hage, „*Siegen macht dumm*“, *Der Spiegel*, Nr. 35/2003, S. 141.

¹⁵ Vgl. M. Reich-Ranicki, *Unser Grass*, München 2005, S. 203.

¹⁶ Vgl. P. Becker, *Tango mortale*, *Der Tagesspiegel* (8.10.2003), S. 31.

¹⁷ Der Tanz als eine Form der Kunst, die das Leben und den Tod im Kontext der Erotik vereint, erscheint in vielfältig modifizierter Form auch in anderen Gedichten von Grass aus der Sammlung *Letzte Tänze*. Besonders die Körperkonstellationen, die im sexuellen Akt entstehen, bekommen den Status von Tanzfiguren, in denen das Leben und der Tod zusammenfallen, weil beide Kräfte im Sexualtrieb vereint werden. Die künstlerisch geprägten Beziehungen zwischen dem Leben und dem Tod werden nicht nur in Bezug auf die sich im Tanz bewegenden Körper der Menschen dargestellt, sondern auch in Bezug auf die einzelnen Körperteile problematisiert. Im Gedicht *Schamlos* (vgl. G. Grass, *Letzte Tänze*, S. 80) wird die Zunge erwähnt, die während des Gesprächs über Beethovens letzte Quartette in dem Mund tanzt, wodurch das tänzerische Potenzial von Beethovens Kompositionen betont wird. Im Gedicht *Ein Wunder* (vgl. *ibidem*, S. 62) dagegen ist von dem ‚tanzenden‘ Penis die Rede: Er wacht aus einem dem Todeszustand ähnlichen ‚Schlafzustand‘ auf und wird zu einer aufrechtstehenden Statue, die als Kunstwerk betrachtet wird. Interessant ist auch das Gedicht *Zugabe* (vgl. *ibidem*, S. 48), wo auf die Freiheit der Kunst hingewiesen wird, die in Anlehnung an die strengen Regeln entsteht. Die tanzenden Menschen

Die Zugänglichkeit eines jeden Menschen zu seinem Inneren wird durch die Durchsichtigkeit der Schleier wiedergegeben. Wird die Stripteasetänzerin einen immer neuen Schleier los, wodurch ihr Körper zwar immer mehr, aber nie völlig entblößt wird, so wird dem Rezipienten sein Ich-Kern zwar immer zugänglicher, aber nie völlig erreichbar. Der unter der Wirkung eines Kunstwerks stimulierte Aufbruch in den ‚authentischsten‘ und ‚eigensten‘ Teil des Ichs wird von dem Geiz kodiert, der die allerletzte Schicht des Ichs unberührt bleiben lässt: Gewinne der Mensch die Erkenntnis über seinen allertiefsten Punkt des Ichs, verlöre das Leben seinen im Drang nach Erkenntnis bestehenden Sinn, dessen Mangel ihn die Position des Todes einnehmen ließe, der alles in der Sinnlosigkeit auflöst.¹⁸ So ist dem Geiz zu verdanken, dass der Abgrund des Ichs einen spekulativen Charakter hat, wodurch die binare Struktur des Menschen als eines sowohl konkret-logischen als auch abstrakt-absurden Wesens aufrechterhalten wird.¹⁹

Die Aufgabe der Kunst beruht nicht darauf, dass ein konkretes und deshalb tot anmutendes Ding vorgezeigt und zum Erleben vorgelegt wird, sondern besteht darin, dass die ‚flüssigen‘ und deswegen lebendig anmutenden Eindrücke, die von einem Kunstwerk im Rezipienten freigesetzt werden, die Erkenntnis von sich selbst und somit die Erkenntnis der Welt unterstützen. Deswegen enden die Versuche, hinter das im Kunstwerk Verborgene zu kommen, in jedem Falle tragisch, worauf die entweder Enttäuschung oder Resignation verratenden Tränen hinweisen. Zwar unterliegt die Kunst einem ständigen Wandel, aber die Kunstwerke, die in der ‚Grabbelkiste‘ zu finden sind und zum Trödel abgestempelt werden, erweisen sich in Bezug auf die eigene Individualität als wertvoll, weil verschiedene Ausdrucksformen der Kunst verschiedene Aspekte der Menschheit verbergen. In der Variabilität der Kunst manifestiert sich deren Wille, zu jeder Person zu gelangen und jeden Menschen in ihren Bann zu ziehen, wodurch sich ihm auch das ‚Innere‘ der Menschheit aufschließen kann. Die Kunstwerke – sowohl diejenigen aus der Vergangenheit als auch diejenigen von der Zukunft – bilden ein miteinander verzahntes Ganzes, in dem sich das Ganze der Menschheit widerspiegelt.²⁰ Die Kunst ist für eine Tänzerin zu halten, denn ihr Tanz gilt als Spiel der Form, die aus der Außenwelt geschöpft wird, mit dem Inhalt, der von der Innenwelt fundiert wird und auf das Erleben bzw. Erkennen zurückzuführen ist. So inkarniert die tanzende Frau die Kunst, die den Rezipienten von der Welt weg- und in ihren ‚Schoß‘ aufnimmt. Dadurch, dass der Mensch seine Existenz in einem Kunstwerk ‚unterbringt‘, schützt er sich vor dem Tod, der nur das volle und unversehrte Dasein angreift und gegenüber einem Dasein, das sich in den einzelnen Kunstwerken verstreut und so mit dem Geist der sie schaffenden Künstler verbindet, hilflos ist. Andererseits kann das Publikum als Tänzer angesehen werden. Indem sich der Rezipient ein Kunstwerk von allen Seiten anzusehen versucht, bewegt er sich auf eine tanzende Weise, wodurch er der Monotonie seines Alltags entflieht und auf eine der

werden in den ‚steifen‘ Rahmen des Musiktaktes eingesperrt, der als einziges ‚Gefängnis‘ fungiert, in dem man sich der Freiheit erfreuen kann.

¹⁸ Vgl. E. Fuhr, *Das ist der Danziger Tango, Monsieur*, Die Welt (11.10.2003), S. 6.

¹⁹ Vgl. H. Vormweg, *Günter Grass mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Reinbek bei Hamburg 1986, S. 87.

²⁰ Vgl. D. Stolz, *Günter Grass, der Schriftsteller*, Göttingen 2005, S. 71.

Wirkung des Todes ähnliche Weise für einen Augenblick aus der Außenwelt tritt.²¹ Auch die tanzende Frau in Grass' Gedicht scheint vor der von Männern dominierten Welt zu flüchten und im Bereich der Kunst nach Zuflucht zu suchen. Dadurch, dass sich die ihre Kleider ausziehende Frau (aktives Element) vor dem Hintergrund eines sie beobachtenden Mannes (passives Element) abhebt, nähert sie sich dem Bereich der Männer an, die ihre Körper häufiger als Frauen ohne sexuellen Kontext freimachen und auf weniger sittliche Begrenzungen stoßen.²² Da männliche und weibliche Merkmale während des Tanzes der Frau abwechseln, ist anzunehmen, dass der Tanz nicht nur die Grenze zwischen dem Leben und dem Tod, sondern auch die Grenze der Geschlechter aufhebt, was die Kunst als einen androgyn bestimmten Bereich klassifizieren lässt.²³

²¹ Vgl. E.L. Thomas, *Antanzen, Antasten. Günter Grass' Tanzende Paare*, in: M. Brandt, M. Jaroszewski, M. Ossowski (Hg.), *Günter Grass. Literatur, Kunst, Politik*, Gdansk 2008, S. 237.

²² In dem Solotanz, zu dem der Striptease zählt, manifestiert sich die Dominanz der tanzenden Frau über den nicht tanzenden Mann im sozialen Kontext, worauf sich die Sage von den toten Tänzerinnen bezieht, die von Heinrich Heine in seiner Schrift *Elementargeister* dargestellt wird: „In einem Teile Österreichs gibt es eine Sage, die [...] ursprünglich slawisch ist. Es ist die Sage von den gespenstischen Tänzerinnen, die dort unter dem Namen »die Willis« bekannt sind. Die Willis sind Bräute, die vor der Hochzeit gestorben sind. Die armen jungen Geschöpfe können nicht im Grabe ruhig liegen, in ihren toten Herzen, in ihren toten Füßen, blieb noch jene Tanzlust, die sie im Leben nicht befriedigen konnten, und um Mitternacht steigen sie hervor, versammeln sich truppenweise an den Heerstraßen, und wehe dem jungen Menschen, der ihnen da begegnet! Er muß mit ihnen tanzen, sie umschlingen ihn mit ungezügelter Tobsucht, und er tanzt mit ihnen, ohne Ruh und Rast, bis er tot niederfällt“ (H. Heine, *Sämtliche Schriften*, Bd. 3, München 2005, S. 654). Der Tanz lässt die Frauen, deren Aktivität in der patriarchalen Gesellschaftsordnung von der Aktivität der Männer unterdrückt wird, ihre Persönlichkeit ausdrücken. Deswegen erreicht die tanzende Frau in Grass' Gedicht vor dem Hintergrund des sie beobachteten Mannes solch einen Grad der Dynamik, der ihr im gesellschaftlichen Bereich vorenthalten bleibt. Versuchen die Willis bei Heine den Existenzbereich der Frauen durch den Tod der Männer zu erweitern, so lähmt die Stripteasetänzerin bei Grass den auf den Tanz konzentrierten Mann und eliminiert ihn – wenn auch nur für einige Zeit – aus seinen Tätigkeitsbereichen. Der Tanz, der ebenso wie der Tod das maskuline Genus vertritt, wird zum Verbündeten des Todes: Zwar entzieht er den Bräuten den Tanz mit einem Mann während der Hochzeitsfeier, aber er lässt sie nach ihrem Tod mit vielen Männern tanzen, wodurch die ihr Leben bestimmenden Einschränkungen aufgehoben werden.

²³ Der Spannungsfeld zwischen dem Künstlerischen und dem Weiblichen wird in der Danziger Trilogie von Grass androgyn geprägt, was auch in Bezug auf den bei Trakl thematisierten Inzest der Fall ist, wenn man die Liebe zwischen dem Bruder und der Schwester als Form des Geistes betrachtet, der sie die Grenzen ihrer Körper verschwinden lässt und zu einem Organismus zusammenfügt. Im Roman *Die Blechtrommel* beginnt Agnes Matzerath, Oskars Mutter, Klavier zu spielen, als sie von ihrem Mann bedrängt wird, eine Aalsuppe zu essen (vgl. G. Grass, *Danziger Trilogie. Die Blechtrommel. Katz und Maus. Hundejahre*, München 1997, S. 119), was sie zum Erbrechen reizt und zur Flucht ins männliche Geschlecht zwingt. Sie verwandelt sich in einen Mann, indem sie ein von einem Mann komponiertes Musikstück spielt, das aus der zu einer Klavierfassung umgestalteten Oper *Der Freischütz* von Carl Maria Weber stammt, in dem die Freude über die Jagd besungen wird. Dank ihrem Spiel identifiziert sie sich mit den Opernprotagonisten so stark, dass sie der Jagdgesellschaft beizutreten scheint, wodurch sie mit einem wichtigen ‚Requisit‘ ausgestattet wird: Sie bekommt nämlich ein Jagdgewehr, mit dem sie sich gegen das lästige Verhalten ihres Mannes zu verteidigen versucht. In der Novelle *Katz und Maus* dagegen hat der Zusammenhang zwischen der Frau und der Kunst einen androgynen Charakter in der Szene, in der Tulla Pokriefke eine Jungengruppe zur Masturbierung und Ejakulation anspornt (vgl. *ibidem*, S. 467). Darin, dass Tulla immer wieder nach einem Samenerguss verlangt und ihn stark erlebt, manifestiert sich ihr Wunsch, ein Mann zu sein – umso mehr, als sie dem Aussehen nach einem Jungen sehr ähnlich ist (vgl. *ibidem*). Andererseits zeichnet sich das Weibliche von Tulla in der Szene ab, in der sie das Ejakulat mit einer Zehe auf den rot gefärbten Rost verreibt. Somit verwandelt sie das Weiße des Spermas in das Rote des Bluts, in dem man das Monatsblut erblicken kann. Da das Rühren des Spermas an das Mischen der Farben auf der Malerpalette erinnert, weist die männlich aussehende Tulla auf den Kunstbereich hin, in dem die Kinder von Männern geboren werden, wenn man an die Maler denkt, deren Bilder im Schaffensakt aus ihrem Inneren in der Weise treten, in der die Kinder im Geburtsakt

Im 2. Teil des Gedichts *Drei Blicke in einen Opal* von Trakl dient der Tanz als Mittel, das nicht mehr den Tod von einem Menschen (Johannes dem Täufer) nach sich zieht, sondern mit der Rückgeburt der tanzenden Person zusammenhängt. In der tanzenden Frau ist Trakls Schwester Margarethe zu erblicken, die die dem Tanz von Salome innewohnende Kraft des Todes benutzen will, um ihre Geburt zurücklaufen zu lassen und die Liebe zu ihrem Bruder Georg im Schoß der Mutter zu verwirklichen. Im Gedicht *Schleiertanz* von Grass gilt der Tanz als Form der Kunst, die dem sie kontemplierenden Menschen ermöglichen soll, sich mit den unbekannten Segmenten des Ichs vertraut zu machen. Der Tanz bewirkt weder einen todbedingten Austritt aus der Welt, wie es bei Johannes dem Täufer in der Bibel und in Wildes Drama *Salome* der Fall ist, noch einen durch die Rückgeburt bestimmten Austritt aus der Welt, worauf in Trakls Werk angespielt wird, sondern einen durch die Affirmation der Kunst gekennzeichneten Austritt aus der Welt. Jenseits des Salome-Tanzes ist also nicht der Tod, sondern der Schoß zu finden: der Schoß der Mutter in Trakls Gedicht und der Schoß der Kunst in Grass' Gedicht.²⁴

Bibliographie

- Achmatowa, A. (1988). *Die roten Türme des heimatlichen Sodom*. Berlin.
 Basil, O. (1965). *Georg Trakl in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*. Reinbek bei Hamburg.
 Becker, P. (2003). *Tango mortale*. Der Tagesspiegel (8.10.2003), S. 31.
 Chiu, Ch. (1994). *Frauen im Schatten*. Wien.
 Die Bibel (1964). *Die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments*. Köln.
 Doerry, M., Hage, V. (2003). „Siegen macht dumm“. Der Spiegel, Nr. 35/2003, S. 140–144.

aus dem Inneren der Frauen kommen. Schließlich wird die Verbindung zwischen der Frau und der Kunst auch im Roman *Hundejahre* dargestellt, wo Jenny, ein Roma-Kind, zur Balletttänzerin wird (vgl. ibidem, S. 780). Ihr Ballettunterricht hat es nicht zum Ziel, sie gesellschaftlich als Künstlerin zu nobilitieren, sondern sie schlanker zu machen und in die Gesellschaft zu integrieren, was aber misslingt: Sie bleibt dick, worin sich ihre Reaktion auf die Verfolgung der Roma in der Nazi-Zeit äußert. Trotzdem entwickelt sie sich zu einer Balletttänzerin, die in ganz Europa bekannt wird. Sie wird nämlich von Tulla Pokriefke mit Schnee bedeckt und in einen Schneemann verwandelt, dessen Inneres die Funktion eines Schoßes übernimmt und sie als schlanke Person hervorgehen lässt (vgl. ibidem, S. 696–697). Die androgyne Geburt von Jenny als Balletttänzerin findet auf zwei Ebenen statt. Sie kommt aus dem männlichen Inneren des Schneemanns heraus und teilt das Schicksal mit einem männlichen Protagonisten – Eduard Amsel, der als Halbjude ebenfalls eine Randposition in der Gesellschaft einnimmt und auch zu einem Schneemann gemacht wird, dem er als schlanker Mann ent schlüpft, um aktiver gegen die ihn in Schnee einhüllenden Nazis aufzutreten (vgl. ibidem, S. 699). In demselben Roman kommt auch die desillusionierend-therapeutische Funktion der Kunst zum Ausdruck, wodurch die Kunst den Menschen nicht nur eine Zuflucht bietet, sondern sie auch die Wahrheit sagen lässt. Die von Amsel geplante, wegen eines Bombardements nicht zustande gekommene Ballettvorstellung wird zu einem Medium erhoben, das es möglich macht, dem Publikum die Auswirkungen des Nazismus in kompilierter Form in den Kopf zu ‚schleudern‘ (vgl. ibidem, S. 782–783). Die Ränder der Ballettbühne gelten nicht mehr als Rahmen eines Spiegels, in dem die Zuschauer ihr Abbild finden können, sondern erinnern an die Öffnung eines Beichtstuhls, wo Amsel über sein von dem Nazismus vernichtetes Leben erzählen kann.

²⁴ In Wilders Film befindet sich der Schoß der Kunst auch jenseits des Salome-Tanzes. Am Ende des Films geht Norma die Treppe hinunter und kommt mit tanzenden Schritten auf die Kameras der Reporter zu, die in ihr Haus wegen des Mordes an Joe Gillis kommen. Als sie am Treppenfuß steht, wird ihr in den Kameras erscheinendes Bild immer unschärfer, wodurch der Eindruck entsteht, dass sie in den Film tritt (vgl. B. Wilder, op. cit., 1:43:29–1:45:14)

- Fuhr, E. (2003). *Das ist der Danziger Tango, Monsieur*. Die Welt (11.10.2003), S. 6.
- Grass, G. (1997). *Danziger Trilogie. Die Blechtrommel. Katz und Maus. Hundejahre*. München.
- Grass, G. (2003). *Letzte Tänze*. Göttingen.
- Grass, G. (2006). *Beim Häuten der Zwiebel*. Göttingen.
- Heine, H. (2005). *Sämtliche Schriften*. Bd. 3, München.
- Kubiak, Z. (2003). *Mitologia Greków i Rzymian*. Warszawa.
- Novalis (2008). *Heinrich von Ofterdingen*. Stuttgart.
- Reich-Ranicki, M. (2005). *Unser Grass*. München.
- Rusch, G., Schmidt, S.J. (1983). *Das Voraussetzungssystem Georg Trakls*. Braunschweig, Wiesbaden.
- Saas, Ch. (1974). *Georg Trakl*. Stuttgart.
- Sauerland, K. (1997). *Das Spiel mit dem abgeschlagenen Haupt oder der Salome-Stoff bei Heine, Flaubert, Oscar Wilde und Jan Kasprowicz*. In: J. Lehmann, T. Land, F. Lönker, T. Unger (Hg.). *Konflikt. Grenze. Dialog. Kulturkontrastive und interdisziplinäre Textzugänge*. Frankfurt a. Main, Berlin, Bern, S. 249–262.
- Stolz, D. (2005). *Günter Grass, der Schriftsteller*. Göttingen.
- Thomas, E.L. (2008). *Antanzen, Antasten. Günter Grass' Tanzende Paare*. In: M. Brandt, M. Jaroszewski, M. Ossowski (Hg.). *Günter Grass. Literatur, Kunst, Politik*. Gdańsk, S. 235–240.
- Trakl, G. (1987). *Dichtungen und Briefe*. Salzburg.
- Trakl, G. (2007). *Sämtliche Werke und Briefwechsel*. Bd. 1. Frankfurt a. Main, Basel.
- Vormweg, H. (1986). *Günter Grass mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*. Reinbek bei Hamburg.
- Webb, K.E. (1984). *Trakl/Schiele and the Rimbaud Connection: Psychological Alienation in Austria at the Turn of the Century*. In: J.P. Strelka (Hg.). *Internationales Georg Trakl-Symposium*. Bern, Frankfurt a. Main, Nancy, New York, S. 12–21.
- Wilde, O. (2009). *Salome*. Stuttgart.
- Wilder, B. (1950). *Sunset Boulevard* (DVD).

Summary

Beyond Salome's Dance. On the Basis of a Relation between the 2nd Part of the Poem *Three Gazes into an Opal* by Georg Trakl and the Poem *Veil Dance* by Günter Grass

The death of John the Baptist is the result of Salome's dance in the Bible. In the 2nd part of the poem *Three Gazes into an Opal* by Georg Trakl and in the poem *Veil Dance* by Günter Grass the image of Salome is evoked by veils which are identification marks of that figure in the drama *Salome* by Oscar Wilde. The dance of a woman in both poems is not connected with death any more but with life – with the return into mother's womb in the text by Trakl and with the entrance to the art's womb in the text by Grass.

Татьяна Шарыпина

Кафедра зарубежной литературы

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

СОРБСКИЙ МИФ О КРАБАТЕ В КОНТЕКСТЕ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

Key words: myth, interpretation, postmodernism, intertext, the author's myth, the problem of tradition and influences, mythopoetry, reception, Jurij Brězan

Роман-диалогия Юрия Брезана о Крабате представляет собой уникальное событие в современной литературе последней четверти XX века и начала XXI столетия прежде всего благодаря включенности этого произведения, как и творчества названного выше писателя в целом, в процесс поликультурализма (иначе – мультикультурализма) – одного из магистральных явлений на европейском социокультурном пространстве эпохи глобализации. Явление мультикультурализма присуще немецкой культуре с древнейших времён. Так, например, неотъемлемой частью её издавна была серболужицкая литература. Тенденции поликультурализма проявили себя в литературном (и шире – эстетическом) сознании Германии задолго до их теоретического осмысления учёными. Черты поликультурализма ощутимы в художественной практике многих известных немецких авторов. Достаточно вспомнить Райнера Рильке, родившегося в Праге, Франца Фюмана – по происхождению выходца из в судетского городка Рокитнице (теперь находящегося на территории Словакии), Гюнтера Грасса, появившегося на свет в Данциге (польском городе Гданьске), что уже свидетельствует о специфике его культурного окружения, формировавшего духовный мир писателя, Иоганнеса Бобровского, родом из бывшего Мемельского края, Клайпеды, Шилуте. Этот ряд может быть продолжен.

Тенденции поликультурализма ярко проявили себя в творчестве автора, до сих пор находящегося на периферии изучения как российских, так и немецких германистов, – Юрия Брезана (Jurij Brězan, 1916–2006), представителя небольшого западнославянского народа – лужицких сорбов. В творчестве этого писателя нашли своё отражение не только животрепещущие проблемы сорбского народа, связанные с тысячелетним противостоянием и одновременно сосуществованием и культурным взаимодействием с немецкой социокультурной традицией, но и, по мнению Вальтера

Кошмал¹, процесс социального и национального «выравнивания», сближения двух весьма различных народных менталитетов. Это, в конечном счете, должно привести, по мысли учёного, к окончанию «немецко-сорбского противостояния». Процесс этот начат был, с его точки зрения, публикацией в 1951 году сборника рассказов и стихов Брезана на немецком языке, что по сути и положило начало двуязычию, билингвизму сорбской литературы.

Уникальность Брезана состоит уже в том, что ярко выраженная национальная специфика и перегруженность поэтики его произведений мотивами и образами сорбского фольклора подчинены всегда постановке и разрешению высоких общечеловеческих нравственно-этических проблем. Цель его творчества лаконично сформулирована устами одного из героев первой части известного романа-дилогии о Крабате *Krabat, или Преображение мира* (J. Brězan, *Krabat oder Die Verwandlung der Welt*, 1976), появившегося параллельно на сорбском и немецком языках, биогенетика Яна Сербина: «Наряду с изучением человека как биологической категории заняться им как категорией нравственной». За роман-эпопею о Феликса Хануши в 1964 году Брезан получает Национальную премию ГДР. Однако подлинную известность ему приносит не эта трилогия, а роман о герое сорбского фольклора Крабате, где в фаустовских традициях вечных поисков истинного знания и цели жизни человеческой на земле писатель проводит своего героя от начала времён до современности. Сам образ героя и многие сюжетные мотивы позаимствованы Брезаном из многочисленных устных и письменных источников, наиболее важные из которых относятся к последней трети девятнадцатого века². Среди прочих особо следует отметить доклад Георга Пилка, музыковеда и учителя гимназии из Дрездена, *Der Wendische Faust*³, в котором автор впервые приводит убедительные параллели как с немецкими легендами о докторе Фаусте, так и с содержанием всемирно известного произведения Гёте⁴.

К материалу о Крабате Брезан обращался и раньше. Так в 1968 году появляется его первая обработка этого сорбского материала – *Die Schwarze Mühle*. Однако, как свидетельствовал сам автор, в этом небольшом произведении ему не удалось исчерпать заложенный в образ Крабата глубинный смысл, прежде всего фаустовскую составляющую народного сорбского героя. Писатель констатирует, что в Средние века в недрах немецкого народа возникают сказания о Фаусте и легенды о Фридрихе Барбароссе, у сорбов в это же время появляются сказания о Крабате⁵. С точки зрения Брезана, немецкого Фауста и сорбского Крабата роднит прежде всего та черта, что отличает подлинного героя любого народа – «der immer strebend

¹ W. Koschmal, *Perspektiven sorbischer Literatur. Eine Einführung*, in: idem (hrsg.), *Perspektiven sorbischer Literatur*, Köln – Weimar – Wien 1993, S. 46.

² Подробно об этом см.: M.-L. Erhardt, *Die Krabat-Sage. Quellenkundliche Untersuchung und Wirkung eines literarischen Stoffes aus der Lausitz*, Marburg 1982.

³ Венды – собирательное наименование группы западных славянских племен, некогда занимавших обширную часть территории современной Германии между Эльбой и Одером.

⁴ G. Pilk, *Der Wendische Faust*, Sächsischer Erzähler. Illustrierte Beilage 1896, № 14.

⁵ J. Brězan, *Raubewusstsein – Zeitbewusstsein*, in: idem, *Ansichten und Einsichten. Aus der literarischen Werkstatt*, Berlin 1976, S. 97.

sich bemüht»⁶. Роман о Крabbате по праву можно назвать эпосом сорбского народа, в котором в иносказательной форме, имитирующей библейские сюжеты и мотивы, в совокупности с реминисценциями из древнегреческой мифологии, воплощается история сорбского народа, его чаяния и надежды, вековое противостояние, воплощающееся в противостоянии вечно живущих антагонистов: волшебника Крabbата, его друга мельника Якуба Кушка и противника Вольфа Райсенберга, своеобразный «восьмой день» творения, когда человек остаётся один на один со всеми проблемами и катастрофами бытия.

Структура этого романа Брезана чрезвычайно сложна: смешение времен и эпох, использование библейских притч и образов, легенд и научной фантастики, философских размышлений, античных мифов и сюжетов, образов классических произведений и исторических деятелей. Поэтика эпохи постмодерна⁷, связанная с уходящими в бесконечность интертекстуальными связями, используется Брезаном, однако не для праздной игры с читателем. Интертекстуальная подоснова позволяет расширить хронотоп романа, подключив смысловые пласты по сути всех времён и народов, выбрав из них знаковые для немецкого менталитета произведения, мотивы, образы. События в романе развиваются отнюдь не в хронологическом порядке. Для автора важна внутренняя связь событий, ассоциативная соотнесенность времён. Определить границы и суть мифологизации в романе Брезана сложно, так как процесс этот воплощается не в переносном, но в буквальном смысле в «ста ипостасях Крabbата».

Миф в анализируемом произведении не «проживается», а «цитируется», порой в «стенографическом» стиле. Библейские, античные и литературные образы в силу своей специфики становятся в *Крabbате* одним из средств обобщения, своеобразной типизации. В этом несомненно сказывается опыт мифологизации, осуществленный Томасом Манном в тетралогии об Иосифе. Ян Сербин-Крabbат, подобно Иосифу-Адонису, воплощает в себе определенный мифический тип, не только и не просто «идущий по следу», но поднимающийся «по спирали», активно вмешиваясь в процесс бытия, совершенствуясь, утверждая гуманистические основы существования⁸. В сложной образной структуре романа Брезана каждый из героев наделяется рядом двойников в различных временных пластах, эпохах, сюжетных линиях романа. Брезана занимает идея многомерности образа, осмысливаемая им в традициях Т. Манна. Так, главный герой Крabbат, вечно обреченный искать для людей Страну Счастья, имеет в современном временном плане романа в качестве двойника учёного-биогенетика Яна Сербина, получившего «формулу счастья», при помощи которой можно влиять на генетическую природу человека. Семейство Сербинов

⁶ Известная цитата из *Фауста* Гёте: «Кто жил, трудясь, стремясь весь век, – достоин искупленья» («Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen», 11936).

⁷ О постмодернистских тенденциях анализируемого произведения см. также: D. Scholze, *Postmoderne Tendenzen in der sorbischen Literatur*, Weimarer Beiträge 1999, № 3, S. 423–431.

⁸ См. подробно об этом: Т. Шарыпина, *Миф как смыслопорождающая модель в литературном сознании Германии второй половины XX века*, в: *Модели в современной науке: единство и многообразии*, Калининград 2010, с. 427–433.

в обоих романах о Крабате репрезентирует историю сорбского народа, аккумулируя в себе лучшие черты и традиции национального менталитета.

Ряд двойников Крабата уходит в бесконечность. Крабат – это Адам и Христос, Янус, Геракл, Атлант, Брут и Спартак, Христиан, Петер, Хендриас и Ян Сербин, который в свою очередь получает двойников из различных времён и народов: Персей, Фауст, Одиссей. Через своего двойника Яна Сербина волшебник Крабат превращается в вечно ищущего свою Итаку Одиссея, становится современным Фаустом и одновременно Персеем, обуздывающим зло. Ян Сербин, рассуждая о своем предназначении на земле и проводя аналогию между своими исканиями и стремлениями Фауста, горько констатирует:

И в конце концов, «кто жил, трудясь, стремясь весь век, достоин искупленья». Искупленья – от чего и для чего? Чем дольше я об этом думаю, тем меньше я понимаю как раз это место, я всегда подозревал, что Фауст выступает здесь в роли Геракла и в награду за сверхчеловеческие усилия милостиво возводится в ранг полубога или вроде того, миф и выдумка – в ранг решения, а человек остается человеком – ибо прах ты и в прах возвратишься⁹.

В древнем мифе Геракл – герой ранней классики – олицетворение мощи физической силы человека и исполнения воли Зевса на земле. Его предназначение – уничтожить хтонических чудовищ. В романе происходит сближение образов Геракла и Персея (также героя ранней классики): «Я – Геракл, и я отсеку все головы на змеином теле гидры». Однако Персей – Ян Сербии олицетворяет в романе (что идет вразрез с традициями ранней классики) идею победы разума человека над силами зла и коварства. Благодаря этому сближению изменяется и смысл образа Геракла в романе *Крабат*: «Я соединяю в себе власть и разум, и, когда я свершу то, что предначертано, я устрою Новые Олимпийские игры [...] И в мире не будет страха»¹⁰. Однако миф повествует о том, что однажды Геракл держал на своих плечах небесный свод, подобно Атланту. Этот мотив также обыгрывается в романе. Крабату-Гераклу

показалось, будто небесный свод опустился на его плечи, и ему надо его удержать, он понял, что на нем лежит ответственность за еще не наступивший Седьмой День: [...] Тяжесть ответственности пригнула Крабата почти к самой земле, но он выпрямился и, подняв свод – от напряжения жилы на руках чуть не лопнули, – поставил его основанием на линию горизонта¹¹.

Образ Крабата-Геракла-Атланта ассоциируется с героем романа Ромена Роллана *Жан-Кристоф*, двойник которого, Святой Христофор, несет в эпилоге на своих плечах Грядущий день человечества.

Как видим из анализа текста произведения, герой, представленный несколькими ипостасями, превращается во множество героев, наделенных той или иной степенью самостоятельности. Эти образы получают собственную «биографию»,

⁹ Ю. Брезан, *Крабат, или Преображение мира*, Москва 1987, с. 191.

¹⁰ Ibidem, с. 343.

¹¹ Ibidem, с. 418.

круг врагов и друзей, вступают в сложные взаимоотношения друг с другом. Миф о Персее, победившем Горгону Медузу и отдавшем её голову на щит Афине Палладе, а не богу войны Марсу-Аресу, символизирует в романе неизбежную победу разума над злом и насилием. По мысли Брезана, всё в мире взаимосвязано. Если бы Персей не убил Медузу Горгону, а затем не спас Андромеду, «будущую мать своих детей», то не родился бы не только Геракл, не было бы Спартака, Христа и Брута. Однако древний миф не знает рефлектирующего героя, каковым является современный биогенетик Ян Сербин – Персей нового времени. Трактровка этого образа в романе подтверждает то, что в каждой конкретной исторической ситуации актуализируются потенциальные возможности толкования мифологического образа. Мифология оказывается удобным языком описания вечных моделей личного и общественного бытия человека.

Особое значение в романе играет образ Януса – одной из ипостасей Крabbата – бога начала и конца, всегда стремящегося вперед и вечно оглядывающегося в прошлое, символ связи прошлого и будущего. Для Крabbата этот двойник имеет особое значение, ибо, начиная в каждой новой исторической эпохе свой нравственный подвиг заново, он всегда знает, что в очередной раз будет мучительно распят и снова осознанно во имя справедливости и правды идёт на подвиг. Подвиг Крabbата-Януса ассоциируется в этом контексте с притчей Альбера Камю *Миф о Сизифе*, утверждающей, что, осознав трагизм человеческого бытия, мужественная личность не должна предаваться отчаянию, а обязана выполнять свой долг, проявляя силу духа и нравственную стойкость. Во втором романе дилогии о Крabbате *Крabbат или Сохранение мира* (*Krabat oder Die Bewahrung der Welt*, 1993) эта притча актуализируется в финале произведения, когда, отчаявшись вразумить погрязшее в неразумии, лени, грехах и взаимных обидах человечество, губящее в войнах, социальном и идеологическом противостоянии не только себя, но и самоё природу, среду обитания, Крabbат начинает новый – «экологический» подвиг, пытаясь, принося воду к иссякшим источникам, оживить пересохшую, питаемую ими реку, в сложной образной системе романа символизирующую реку жизни: «Damit das Natürliche wieder natürlich ware»¹². Деяние невозможное с точки зрения обыденного смысла, но в художественной системе мифологической эпопеи Брезана, как и в нравственно-этических воззрениях писателя эпохи объединения Германии «Nichts ist unmöglich» – «Нет ничего невозможного»¹³. Даже само употребление этого изречения весьма симптоматично: рекламный слоган одного из автомобильных концернов Германии обретает во второй части романа иной, отнюдь не потребительский смысл, хотя против идеологии общества потребления писатель иронично выступал в первой части своей дилогии. В этом по сути проявление новой идейной насыщенности произведения, когда начинают обретать свой подлинный смысл замутненные и оболганные эрой бездумного потребления подлинные человеческие ценности.

¹² J. Brězan, *Krabat oder Die Bewahrung der Welt*, Bautzen 2010, S. 258.

¹³ Ibidem, S. 259.

В первой части романа также возникала тема бездумного отношения человека к природе. Волшебный посох Крабата был способен творить не только добро, но и зло, если герой не вложил в свои чудесные творения сердце, разум и волю. Пробирая силу посоха, Крабат однажды пожелал, чтобы на одних деревьях росла черника, а на других брусника, и довольный, что вместо брусники получилась рябина, а вместо черники – бузина, приходит к выводу, что «достаточно хотеть добра, чтобы и получилось добро». Но оказалось, что попутно, вне желаний Крабата, посох сотворил и волчьи ягоды, способные убивать будущих детей Крабата, чем испугал его жену Смялу. Только потеряв её, герой понимает, что недостаточно пассивно хотеть добра, необходимо, проверяя свои стремления разумом, творить добро самому. Иначе природа, мстя за насилие над собой, начинает создавать монстров. Мысль актуальная и для нашего времени. Чудесный посох Крабата и его сила ассоциируются в романе и со смертоносной силой головы Горгоны Медузы, и с формулой жизни Яна Сербина, способной изменять генетическую природу человека. Во второй части дилогии поднятая проблема приобретает глобальное звучание, связанное с возможностью грядущей экологической катастрофы.

Для Брезана миф – воплощение идеи всеединства, а потому каждое единичное явление, каждый образ сорбской, древнегреческой, римской, германо-скандинавской мифологии напоминает о бесчисленном множестве других. Осмысление мифа в романе *Крабат* во многом, на наш взгляд, опирается на теорию Карла Густава Юнга о «коллективном бессознательном», а также испытывает на себе влияние *Мифологий* Ролана Барта, парадоксально уподоблявшего миф интеллектуальному «вампиру»:

Миф – язык, не желающий умирать; питаясь чужими смыслами, он благодаря им незаметно продлевает свою ущербную жизнь, искусственно отсрочивая их смерть, и сам удобно вселяется в эту отсрочку; он превращает их в говорящие трупы¹⁴.

Не только Крабат имеет в романе сто ипостасей, но и его друг – Якуб Кушк, путешествующий с Крабатом, как Санчо Панса с Дон Кихотом, как Ламме Гудзак с Тилем Уленшпигелем. Трубоч, принимающий жизнь в её первозданной красоте, служит также своеобразным *alter ego* вечно философствующего Крабата. Подруга Крабата – Смяла находит своё воплощение в образах Евы, Айку, Гайне, Марии и Сигне Сербин и Девы Марии, с иконописным ликом которой связана притча, обрамляющая роман и всю дилогию.

Следует сказать, что постепенно во второй части дилогии активную позицию по обустройству большой и малой вселенной романа начинают занимать женские образы – общая тенденция для современной немецкой литературы, достаточно вспомнить произведения Ханса Эриха Носсака, Кристи Вольф, Ирмтрауд Моргнер. Однако в этом можно увидеть и развитие общей мифологической традиции: мифология любого народа включает в себя образ Великой Матери, созидательной и сохраняющей жизнь. В этом плане любопытен образ Женщины с Большой Реки

¹⁴ Р. Барт, *Мифологии*, Москва 1996, с. 259.

из второй части дилогии. Роман по сути открывается сценой беседы Крабата и Кушка с перевозчицей через реку и заканчивается беседой Крабата с нею же. Как было отмечено, во второй части постепенно место героя на все времена – Геракла, Атланта, держащего небесный свод, и Персея, убившего Медузу Горгону, занимает героиня, женщина, осуществляющая от века миссию сохранения мира, семьи, земли, охранительница всего сущего. Однако в «железный век» она вынуждена выполнять и несвойственные ей функции. И тогда жертва, прикованная к скале обстоятельствами (в тексте даётся намёк на упоминаемую в первой части романа Андромеду), не дождавшись своего героя Персея, начинает трудный путь по преодолению роковых жизненных обстоятельств самостоятельно. Любопытно, что Женщина с Большой Реки, образ которой создаёт рамочную композицию романа, становится участницей решения одной из замечательных логических задач в истории человечества, корнями уходящей в VIII век, о Перевозчике, Козе, Капусте и Волке. Эту задачу ещё Алкуин поместил в свой трактат *Задачи для оттачивания ума юношей*. Женщине с Большой Реки не удалось её разрешить: Волк разорвал Козу, съевшую капусту, река обмелела, мост не был построен, её тяжкий труд потерял смысл. Притча эта из древних времён оказывается на злобу дня и напоминает об объединении Германии и возникших в связи с этим проблемах. Не преуспев в разрешении жизненной задачи, Женщина с Большой Реки латает лоскутками собственной юбки «Reichsmütze» (имперский колпак), удивительно напоминающий в своих превращениях то блестящий военный шлем, то ночной филистерский колпак. Этот гротескный образ, также появляющийся и в начале и в конце второй части дилогии, символизирует и былые имперские амбиции Германии, начиная от Карла Великого, названного в романе Созидателем, до кайзера Вильгельма, именного Разрушителя¹⁵, и ограниченность немецкого филистера, осмеянного ещё романтиками. Образ «Reichsmütze» явно навеян курьёзным прозвищем немецкого короля Фридриха III (1415–1493), прозванного современниками за неудачную внешнюю и внутреннюю политику «Des Heiligen Römischen Reichs Erzschlafmütze»¹⁶ («Архиночной колпак Священной Римской Империи»).

Во второй части дилогии писатель значительно расширяет рамки повествования, затрагивая не только события немецкой истории, но вписывая её в общемировую. Есть в тексте реминисценции и аллюзии, связанные с войной в Боснии, международным терроризмом, общечеловеческими экологическими катастрофами, что подключает жизнь сорбов у речки Саткулы к событиям всеобщей истории. Не случайно родители Сигне Сербин (Гёрансон), шведской внучки Петера Сербина, погибают от бомбы террориста. Сигне Сербин, образ которой появляется в конце первой части *Крабата*, символизируя ждущую своего Одиссея Пенелопу. Она, в отличие от Женщины с Большой Реки, более удачлива в своих гуманистических

¹⁵ «Die Reichsmütze, von der weder der Reichsgründer Karl noch der Reichsverlierer Wilhelm je gehört hatten, auch rtiner ihrer Köche oder Generale» (J. Brëzan, *Krabat oder Die Bewahrung...*, S. 11).

¹⁶ См. об этом: Th. Ebendorfer, *Chronica Austriae*, Berlin 1967; J. Grünpeck, *Die Geschichte Friedrichs III. und Maximilians I.*, Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit, 15. Jahrhundert, Bd. 3, übersetzung von Th. Ilgen, Leipzig 1891.

начинаниях. Отказавшись от значительного состояния, она начинает борьбу за экологически чистое, здоровое существование и строит рядом с холмиком у Саткулы детскую деревню, необычный детский дом, жизнь в котором должна строиться на естественных началах добра и естественности, принципах Нагорной проповеди. Сигне становится своеобразной хранильницей детства, т.е. будущего, своеобразной Матерью Человеческой. Не случайно её лицо и улыбка напоминает чудесным образом спасённую икону Девы Марии в эпоху Тридцатилетней войны в Германии. Если в первой части диалогии неоднократно появляется упоминание крестного подвига Христа, повторяемого во все последующие эпохи Крабатом, то во второй книге диалогии таким христианским символом становится Нагорная проповедь, жить по заповедям которой человечество за две тысячи лет так и не научилось.

Эта новая Пенелопа дожждется, видимо, своего Одиссея (намёк на это даётся в конце второй части) в образе Роберта В. Теармонта, который также включается автором в бесконечную череду мифологических, исторических, легендарных двойников. Однако двойничество этого героя имеет в идейном плане романа особый смысл: он – потомок одновременно и Крабата (а, следовательно, семьи Сербинов, спасшегося в кораблекрушении на пути в Америку) и Вольфа Райсенберга, причём оба пращура имеют одно имя – Христиан. И в этом заключается глубинный смысл романа и убеждение писателя в том, что история сорбского народа потому уникальна и сорбы сумели во все эпохи сохранить свою самобытность, что народная мудрость заставляла их за тысячелетнюю историю несвободы следовать простому правилу: «не стремиться к трагическим вершина, а всегда искать дорогу, чтобы обойти катастрофу»¹⁷, т.е. всегда искать разумный компромисс. Это и пытаются делать герои романа, как в реальном плане повествования, так и в мифологической стихии романа.

Для многих произведений неомифологической направленности характерно, что функцию мифов в них выполняют художественные тексты, а роль мифологем – цитаты и перефразировка из этих текстов. Зачастую изображаемое декодируется сложной системой отсылок и к мифам, и к произведениям искусства. Эти тенденции характерны и для анализируемого романа, включающего цитаты из текста *Фауста* Гёте, Дени Дидро, реминисценции из гомеровского эпоса, обращение к римской истории (образы Спартака, Брута, Цезаря, Катона), события Тридцатилетней войны в Германии, аллюзии из произведений Сервантеса, Роллана, Франса и т.д. Однако определяющими в пестрой «мифологической палитре» романа, наряду с образом главного героя произведения – мифического сорбского Крабата, становятся образы античной мифологии. Именно они в силу своей всеобщности и универсальности цементируют сложную художественную структуру романа, не позволяя ей рассыпаться на ряд разрозненных, хотя и мастерски выполненных фрагментов. Одним из главных становится образ Одиссея, занимающего в силу различных причин особое место в немецкой литературе XX века, что с успехом заимствует Брезан, ассимилировав этот образ в ткани сорбской мифологии. В образной ткани романа

¹⁷ J. Brězan, *Ansichten und Einsichten. Reden, Aufsätze und andere Nebenarbeiten*, Berlin 1989, S. 30.

Одиссей – двойник Яна Сербина, блуждающего среди чудовищ и химер современного мира в поисках своей будущей путеводной звезды-истины и своей Итаки и Пенелопы-Смялы.

Вопрос об ответственности учёного за последствия своего открытия – центральный в романе. В конце произведения герой приходит к выводу, что человечество спасут не формулы, а оно само на пути нравственного и социального совершенствования, отказавшись от насилия над природой как таковой и личностью человека как частицей мироздания. Брезан развивает тему нравственной ответственности учёного за свои открытия как гарантии на пути научного прогресса, поднятую ещё Бертольтом Брехтом во второй редакции *Жизни Галилея* и столь актуальную сейчас. Финал первой части романа символичен. Ян Сербин в борьбе со своим антиподом Лоренцо Чебалло, стремящимся завладеть формулой, уничтожает своё открытие и гибнет сам. Как Жан-Кристоф в одноименном романе Роллана, уходя из жизни, сливается с рекой вечного обновления, так и Ян Сербин, в мифологическом плане романа, спасая человечество от возможных пагубных последствий своего открытия, становится, погибая, вечно защищающим справедливость и ищущим счастье Крабатом, который всегда на пути к Саткуле:

Я обошел весь свет, был на его краю, истинном и мнимом, но земля кругла, и время тоже, и я вижу себя, сына Хендриаса Сербина, возвращающимся домой. Еще немного и я нагоню самого себя¹⁸.

Не случайно название второй части дилогии, написанной почти через двадцать лет, – *Krabat oder Die Bewahrung der Welt* (*Крабат или Сохранение мира*). Роберт Райсенберг, начавший свой путь нравственного совершенствования и «сохранения» мира также становится своеобразным Одиссеем, вернувшимся на свою древнюю родину – Итаку – холмик у Саткулы.

После объединения Германии и долгих, мучительных раздумий над судьбами своей и большой, и малой родины, Брезан изменяет концепцию своего произведения: не в жестокой и бескомпромиссной классовой борьбе сорба Крабата против угнетателя и поработителя Вольфа Райсенберга человечество обретёт искомую Страну Счастья. В поздней фазе своей жизни писатель рассматривал «сохранение мира» как условие существования Страны Счастья, что может быть результатом добровольного, осмысленного союза разума, силы и денег, что в образной системе романа выражается союзом Сигне Сербин, Кристера Гёрансона и потомка Вольфа Райсенберга, а в мифологическом плане долгим, болезненным, прежде всего для Крабата, примирением этих основных антагонистов романа: пытаюсь оживить высохшую реку, чтобы «естественное вновь стало естественным», Крабат мысленно надеется не только на здравомыслие и разум, но и на помощь Райсенберга («Nichts ist unmöglich»). Только совместные усилия по сохранению природы и человечества, а не искусственный новый Ковчег, который строит Вольф Райсенберг для спасения

¹⁸ Ю. Брезан, *Крабат, или Преображение...*, с. 440.

человечества, помогут сохранить землю и будущее, заключающееся прежде всего в детях, которых и пытаются сохранить общие потомки антагонистов.

Спустя тридцать лет после написания первого романа, можно констатировать, что Юрий Брезан вновь актуализировал в своём творчестве удивительно ёмкий образ сорбской мифологии, включив его в контекст европейского и, прежде всего, немецкого мультикультурализма.

Библиография

- Барт, Р. (1996). *Мифологии*. Москва.
- Брезан, Ю. (1987). *Крабат, или Преображение мира*. Москва.
- Шарыпина, Т. (2010). Миф как смыслопорождающая модель в литературном сознании Германии второй половины XX века. В: *Модели в современной науке: единство и многообразии*. Калининград, с. 427–433.
- Brëzan, J. (1976). *Raubewusstsein – Zeitbewusstsein*. In: J. Brëzan, *Ansichten und Einsichten. Aus der literarischen Werkstatt*. Berlin, S. 111–115.
- Brëzan, J. (1989). *Ansichten und Einsichten. Reden, Aufsätze und andere Nebenarbeiten*. Berlin.
- Brëzan, J. (2010). *Krabat oder Die Bewahrung der Welt*. Bautzen.
- Ebendorfer, Th. (1967). *Chronica Austriae*. Berlin.
- Erhardt, M.-L. (1982). *Die Krabat-Sage. Quellenkundliche Untersuchung und Wirkung eines literarischen Stoffes aus der Lausitz*. Marburg.
- Grünpeck, J. (1899). *Die Geschichte Friedrichs III. und Maximilians I.* Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit. 15. Jahrhundert. Bd. 89. Übersetzung von Theodor Ilgen. Leipzig, S. 3–69.
- Koschmal, W. (1993). *Perspektiven sorbischer Literatur. Eine Einführung*. In: W. Koschmal (hrsg.). *Perspektiven sorbischer Literatur*. Köln – Weimar – Wien, S. 7–50.
- Pilk, G. (1896). *Der Wendische Faust*. Sächsischer Erzähler. Illustrierte Beilage 14, S. 191–201.
- Scholze, D. (1999). *Postmoderne Tendenzen in der sorbischen Literatur*. Weimarer Beiträge 3, S. 423–431.

Summary

A Sorbian Myth about Krabat in the Context of German Cultural Tradition

Multiculturalism in German literature is most vividly displayed in the creative work of Jurij Brëzan, a representative of Lusatian Sorbs. The uniqueness of the bilingual writer is that well-defined national particularity of his literary compositions and profusion of poetics of his novels with motives and images of Sorbian folklore are harmoniously interwoven into the cultural context of German aesthetic tradition and subjected to lofty panhuman moral and ethical issues.

Roman Szubin

Instytut Filologii Rosyjskiej

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ФЕНОМЕН ВАСИЛИЯ МАКАРОВИЧА ШУКШИНА В ПЕРСПЕКТИВЕ РУССКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ

Key words: hermeneutics, Vasily Shukshin, Promethean and Epimeteian triads, trikster, myth coin-age (myth-making), Vardan Hayrapetyan

Творчество Василия Макаровича Шукшина хорошо знакомо исследователям русской литературы. В данной статье мы покажем несколько иное прочтение творчества русского писателя: с позиций некоторых положений русской герменевтики ереванского русиста Вардана Айрапетяна. Под герменевтическим прочтением следует понимать 1) возможность различения того, что неразлично в самом феномене русского писателя и его творчества и 2) возможность истолкования своего (в данном случае Шукшинского) слова.

Предпосылки герменевтического прочтения заложены в немалой степени в работах польских исследователей. В знаменитых работах Мариана Броды¹ о российской ментальности, о пресловутой русской загадке (Сфинксе), проявляется самообъяснительный характер самого процесса разгадки, ее разгерметизация в русском самосознании. Такой же характер приобретают некоторые статьи в семитомном лексиконе *Идеи в России*, под редакцией Анджея де Лазари². Русская ментальность софийна³, а не инструментальна, поэтому русское самосознание находится в состоянии «иррационального самонепонимания»⁴, «строится на антисциентистском недоверии к рассудочной серьезности»⁵, наследует «смысловое сцепление детскости, правды и праведности»⁶. Отсюда самой приемлемой формой русского самосознания, по мнению В. Айрапетяна, является герменевтика,

¹ М. Broda, „Zrozumieć Rosję”. *O rosyjskiej zagadce-tajemnicy*, Łódź 2011.

² A. de Lazari (ред.), *Idee w Rosji. Идеи в России. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski*, т. 1, Łódź 1999–2009.

³ Софиология, в: A. de Lazari (ред.), *Idee w Rosji...*, т. 4, Łódź 2001, s. 534.

⁴ И. Левяш, *Русские вопросы о России. Дискурс с Марианом Бродой*, Москва 2007, с. 28.

⁵ Наивность, в: A. de Lazari (ред.), *Idee w Rosji...*, т. 4, s. 170.

⁶ Детскость, в: A. de Lazari (ред.), *Idee w Rosji...*, т. 4, s. 70.

основанная на реконструкции и толковании архаичных форм мышления – прежде всего «мудрости, заключенной в фольклоре»⁷ и русской словесности [Айрапетян, д664 «Русская герменевтика»].

С одной стороны, и в кино, и в прозе В.М. Шукшин хотел быть максимально понятным и понятым, порою доходя до «примитивных» форм (устный народный рассказ, анекдот, лубок)⁸. Этим пафосом проникнуты статьи, рецензии, интервью, анкеты Шукшина. Однако логика развития слова, многослойность смысла в «малых» жанрах, поиск писателем культурной самоидентификации часто проблематизируют простую истину шукшинского сообщения. Шукшин словно бы оказывается в ситуации своего героя, доморощенного философа Князева (*Штрихи к портрету*), который, не умея объяснить, что такое государство (или в чем его цель), замещает понятие образами и метафорами, каждая из которых соотносится с воззрениями, намного превосходящими задачу истолкования собеседнику «своего слова».

Действительно, вместо того чтобы прояснить, Князев с каждым новым словом еще более затемняет смысл и запутывает ситуацию, впадая в отсебятину, что подтверждается сюжетно. А Шукшин? Если герою может помочь его автор, то автору уже должен помочь толкователь, стараясь не подменить своим пониманием шукшинское слово, а в дружеском понимании возратить это слово его автору, назвав при этом смысл [Айрапетян, д58 «Зеркало понимающего»]. Иначе говоря, задача толкователя – показать, что привело к появлению в тексте того или иного слова, имени, образа и нарративного хода⁹.

Пытаясь разгадать феномен русскости Шукшина, Эдвард Павлак заметил, что письмо Шукшина стремится к самоопределению, самосознанию: он

не был творцом в плане хроникальном, общественном, традиционном, но – как писал Вл. Соловьев – «был **следопытом смыслов**». Его проза, его фильмы не фактографическая, но психологическо-аналитическая запись¹⁰.

По словам Наума Лейдермана, шукшинский герой «знает, как он не хочет жить, но он еще *не знает*, как надо жить»¹¹. Луцина Рожек зафиксировала «непонимание» героями самих себя в образе лабиринта¹², более свойственного европейской мифологии, чем русской. Но лабиринт внезапно раскрывается в слове *Вавилон*, которым названа Москва в *Печках-лавочках*. В герменевтике Айрапетяна непонимание сопутствует даже обычной речи: «понимающий (говорящий) всегда недопонимает»

⁷ В. Айрапетян, *Толкуя слово: опыт герменевтики по-русски*, Москва 2011, в411 «Философия и фольклористика». Ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием номера и названия фрагмента.

⁸ См. С. Козлова, *Поэтика рассказов В. Шукшина*, Барнаул 1992, с. 171.

⁹ Ср.: «Это не ‘про что’ и не ‘как’, а то, ‘помощью чего’ в тексте осуществляется и ‘что’ и ‘как’» (Л. Карасев, *Вещество литературы*, Москва 2001, с. 22–23).

¹⁰ Е. Pawlak, *Wasilij Szukaszyn*, Warszawa 1981, с. 87.

¹¹ Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий, *Современная русская литература 1950–1999-е годы. В двух томах*, т. 2, Москва 2003, с. 85.

¹² L. Rožek, *Bohater labiryntu w prozie Wasilija Szukaszyna*, в: P. Fast, L. Rožek (ред.), *Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich*, Katowice 1994, с. 153–171.

[Айрапетян, д58 «Зеркало понимающего»], ибо он не называет значение (не знает его), но упоминает, а «память это мысленные следы уже отсутствующего» [Айрапетян, а234 «Слово и имя»].

Исходным моментом герменевтического подхода является проблема интерпретации «зависания» Шукшина в «культурном вакууме» между городом и деревней. Ни первое, ни второе Шукшин никогда не идеализировал, но с деревней он связан своим происхождением, а с городом – становлением. Шукшин выразил эту «невралгическую» для него проблему не только художественно, но и феноменально, своей судьбой¹³:

Так у меня вышло к сорока годам, что я – ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже – не между двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшно¹⁴.

Разрыв между деревней и городом может быть рассмотрен в категориях «отсталости», «возвращения к началам», с одной стороны, и движения, продвинутой, «подвижности»¹⁵ – с другой.

В герменевтических исследованиях Айрапетяна прогресс и регресс, а точнее «движение по пути» и «рост как движение на месте» выражают два онтологически различных типа сознания: революционный и консервативный. Оба сознания связаны с двумя порядками: прометеевым и эпиметеевым – от имени Прометея («передний ум») и Эпиметея («задний ум»), двух титанов-близнецов, из которых только первый культурный герой очень хорошо знаком западно-европейской культуре.

И это не случайно, так как «человеческая история это история постепенного превращения Эпиметеева мира в Прометеев» [Айрапетян, в52 «Прометеево и Эпиметеево»]. С Прометеем связан разумный, логический, прогрессивный и искусственный порядок. Во главу угла революционное¹⁶ сознание ставит мысль, рациональность и идею прогресса, отсюда триада приобретает вид: мысль – слово – дело. Для прометеевой триады важен «порядок главенства»: «младшее», а вместе с ним и «новое», это «главное» [Айрапетян, в52, в521 «Главное и старшее»]. Но обратная триада показывает природный и архаичный порядок старшинства: дело – слово – мысль, для которого важна не логика, а неосознанное творение-творчество, единство людей и цельность сознания: «для консервативного сознания старшее есть главное...» [Айрапетян, в521]; «старшее (*archaios*) – это принцип (*arche*)

¹³ См. И. Захариева, *Аспекты формирования канона в русской литературе XX века*, София 2008, с. 195.

¹⁴ В. Шукшин, *Монолог на лестнице*, в: idem, *Нравственность есть правда*, Москва 1979, с. 60. В дальнейшем ссылки на это издание будут приводиться в тексте, с названием статьи и номера страницы.

¹⁵ Ср.: «Жизнь В.М. Шукшина – подвижничество», т.е. актуализированное движение к Добру, Справедливости, Человечности (И.А. Спиридонова, «Люди, милые люди... здравствуйте!», Север 1989, № 7, с. 101).

¹⁶ Где под «революционным» понимаются не социальные катаклизмы, а «мысль о воплощении слова в дело» как «самая революционная из всех человеческих мыслей» [Айрапетян, в52 «Прометеево и Эпиметеево»].

и поэтому порядок», – напоминает Ю.П. Гжибовски¹⁷. Для Айрапетяна архаика и противостоит прогрессу, и его дополняет, восполняет, вводя рациональное познание в русло мира с целью его понятия-понимания. Прометеева триада связана с рациональным познанием, с отрицанием прошлого во имя будущего; эпиметеева же – с толкованием настоящего моделями, сформированными в прошлом¹⁸, а значит, и с возвращением прошлого настоящему, вхождением в бахтинское Большое время.

В категориях русской герменевтики Шукшин однозначно шел по прометееву пути – пути прогресса и отказа от архаики:

Не теперь, нет.

Важно прорваться в будущую Россию

[Из рабочих записей, 289].

«Главная сила на земле – разум и труд», то есть в применении к прометеевой триаде: мысль, а потом дело. Так написал Шукшин в ответ на мечту мальчика стать комбайнером (уйти в «хлеборобы», «колхозники», остаться в деревне), выражавшего эпиметеев путь. Позитивный человек создает позитивный мир: «...но за мной право утверждать, что – все ценное, прекрасное на земле создал умный, талантливый, трудолюбивый человек» [Завидую тебе..., 180]. И снова: мысль (ум) – слово (талант) – дело (трудолюбие).

«Будущая Россия» определяла глобальную цель прометеева движения у Шукшина. Оно выражалось во встрече с городом и городской культурой, в разрыве кругового времени мифологического мышления, в отходе от лада, гармонии человеческого бытия, сопряженного с циклами природы, с такой тщательностью описанной В. Беловым в *Очерках о народной эстетике*. Однако на этом пути Шукшин встречает ряд препятствий. Первое – это сам Город, названный в *Печках-лавочках* откровенно Вавилоном, то есть городом-блудницей¹⁹. В фильмах *Ваш сын и брат* (1965), *Печки-лавочки* (1971) создаются удивительные кинематографические метафоры: московский ГУМ-муравейник; проспект как поток лиц и тел; поток автомобилей без начала и конца. Город как сквозная дорога. В противовес прометеевой «городской» метафоре в фильме *Ваш сын и брат* появляется «деревенская», эпиметеева, метафора: весна в деревне, превратившая дорогу в непроходимые ручьи, потоки талой воды, а дома – как острова. Похоже, что структурно это один и тот же образ – символ линейного времени. Но разлившиеся реки и дороги в деревне естественны, они превращают деревенский топос в остров или «зону»; из настоящей зоны (тюрьмы) и убежал Стёпка (герой первой новеллы в к-ф. *Ваш сын и брат*), чтобы найти Праздник в другой, в островной.

¹⁷ J.P. Grzybowski, *Łęk przed nieobecnością. O różnicy między młodym i nowym*, в: J. Wach, Ł. Janicki (ред.), *(Od)nowa – znówu – na nowo. Rekapitulacja*, Lublin 2012, s. 43.

¹⁸ Классическим примером является толкование младшего слова *думать* через старшее 'сказать себе': «думать значить говорить с собой, себе или про себя» (В. Айрапетян, *Предисловие*, в: idem, *Толкуя слово...*).

¹⁹ В.Н. Топоров, *Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте*, в: *Исследования по структуре текста*, Москва 1987, с. 121–132.

Вторая преграда – критическое отношение к городскому интеллигенту, хотя сразу видно, что за этим кроется нечто большее: настойчивый поиск своего героя – себя. Кто же такой интеллигент и что такое интеллигенция (*Монолог на лестнице*)? Поставив этот глобальный вопрос, Шукшин решает его по-своему: путем подмен. В городском интеллигенте видится усредненный, инволюционный горожанин: презируемый в духе демократической традиции XIX века мещанин, пошляк, пижон («волосатик»), в то время как понятие интеллигенции переносится на онтологически «другого». Так, ни один горожанин, выведенный в беллетристике, не является носителем интеллигенции; но и «добрый» профессор (*Печки-лавочки*), и кандидат наук Журавлев (*Срезал*) крестьянского происхождения и показаны в родственной связи с землей, едва ли не в излюбленных Шукшиным сапогах. Зато интеллигенция приписывается человеку, наиболее далеко отстоящему не только от патриархального уклада, но и от мирской морали, духовности, разумности: Степану Разину. Тут важна не сама интерпретация Шукшиным противоречивого исторического героя (я так чувствую, я так вижу), а как раз то, что привело к такой интерпретации. На наш взгляд, отойдя от «общего», от «мужика, каких много» (как сказал Губошлёп о Егоре Прокудине в фильме *Калина красная*), от «простого, среднего, нормального положительного» [*Из рабочих записей*, 294] человека, Шукшин сделал упор на индивидуальностях, более того – на крайностях, на тех, кого Айрапетян называет «иные» люди, «инакие». К таким как раз не могут относиться «средние», «нормальные», «положительные» и относятся чудики, дураки, юридивые, больные, уголовники, красивые и злые (ср. характеристику Пашки Холманского в рассказе *Классный водитель*: «Не то очень злой, не то красивый»), очень большие и очень худые, физически ущербные (отмеченные) и духовно надломленные люди.

К каждому из шукшинских героев можно подобрать определение, подчеркивающее инакость личности. И в этом смысле каждый из них является носителем интеллигенции, а вместе с ней и Логоса, который, судя по Гераклиту, универсален и общ (фрагмент 2/23a)²⁰, при том, что эти герои как народ, как коллектив, как все этой интеллигенции лишены. Тем самым шукшинские герои оказываются в двойной ситуации, названной Айрапетяном «парадоксом собственной исключительности» [Айрапетян, б1271 «Парадокс собственной исключительности»] и «парадоксом последователя» [Айрапетян, д552 «Предательская передача»]. «Пока ты ребячески считаешь, что ты со своей инакостью один такой, не как все», человек поступает «как все» в дурном смысле слова. И наоборот, чтобы правильно следовать «общему» и восстановить истину, традиция должна быть нарушена²¹, по слову В. Высоцкого,

²⁰ «Поэтому должно следовать общему, но хотя разум (логос) общ, большинство [людей] живет так, как если бы у них был особенный рассудок (*φρόνησις*)» (пер. А. Лебедева).

²¹ Ср.: «Предание это предательство... [...] Само преемство постепенно обесмысливает культуру, ведь смысл не передается, смысл не дан, а задан, его еще надо воссоздать, восстановить, возродить, воскресить» [Айрапетян, д552 «Предательская передача»].

Эй вы, задние, делай как я,
Это значит, не надо за мной
(*Чужая коля*).

В границах инакости, с одной стороны, и некоего общего опыта, с другой, герои Шукшина пытаются обрести свою свободу, заговорить своим голосом.

Но как раз «общие» герои лишены этого Логоса, лишены правды и возможности добиться справедливости. Тещи, жены, лысые, сытые, толстые, бюрократы и чиновники, крепкие мужики, каменный человек, воплощающий верность традиции (к-ф. *Из Лебяжьего сообщают*, 1960), горластая Малышева, говорящая от имени большой страны (*Бессовестные*), здоровенный «горилла» (*Боря*), – уже не волей автора, а в силу своей онтологии, занимают определенное место в мире, исполняют определенные функции, помещаются в художественное пространство, становясь частью мира и миром вытесняя «иных». Последние же поступают как «не от мира сего», но вместе с тем именно они революционно агрессивны, пассивны и «неистовы», как неистовы гении и «дурачки» в выражении Правды (*Нравственность есть Правда*).

Шукшинский герой «прогрессивен», продвинут, выделяется из «общего» хора на один шаг или на одну голову. Даже Петька Краснов (*Петька Краснов рассказывает*) и Глеб Капустин (*Срезал*) люди в основе своей очень ограниченные, но обладают информацией большей, чем окружение. Неслучайно и то, что главный герой у Шукшина сдвинулся от чудака (мужика с наивным взглядом и фольклорной мудростью) к уголовнику, существу «нездешнему», опасному, но очень привлекательному. В отличие от чудака-дурака шукшинский уголовник фигура трагическая: он умен, хитер, разумен, просвещен, изобретателен, изыщен, интеллигентен, не без самолюбования и не без театрализованной игры. Ср. сцену в фильме *Печки-лавочки*, где «обаятельный» вор (в исполнении Г. Буркова) рассказывает о технических фантастических проектах, заставляя поверить в них наивного Ивана Расторгуева (в исполнении Шукшина). Но в то же время герой-уголовник исторгнут из мира, и эту изолированность чувствуют такие «идейные» преступники, как Егор Прокудин и Степан Разин, проецируя собственную враждебность на мир. Так, в романе *Я пришел дать вам волю* Разин, казня бояр, а вместе с ними их детей, обвиняет их в подлости, злобе, сытости – будто сам честен, прям и беззлобен. Мир, ополчившийся на коренастого Разина, представлялся Шукшину уменьшенным в размере и умаленным в значении: «Все злое, мстительное, маленькое поднялось и открес-тилось от Стеньки Разина»²².

Но и эпиметеева триада проявляется во многих моментах творчества Шукшина. Так, крестьянская архаика «держит» Шукшина в самом процессе творчества: «Я как пахарь, прилаживаюсь к своему столу, закурываю – начинаю работать» (*Из рабочих записей*, 290). Здесь важно, что Шукшин часто идет к идее рассказа (мысль и дело) от слова, порою от одного имени (см. *Из рабочих записей*, 292). Прогрессивные

²² В. Шукшин, *Собрание сочинений в трех томах*, Москва 1984, т. 1, с. 665. В дальнейшем ссылки на это издание – в тексте, с указанием тома и страницы.

городские герои одергиваются, интеллигенция приписывается неинтеллигентным персонажам. Типичный у Шукшина нарративный прием – рассказ в рассказе – предоставляет слово и толкование банальным, общим персонажам. Так, рассказ-притча о том, как «обкорнали» кобылу по кличке *Селедка (Печки-лавочки)*, у которой только «грива невиданной красоты» и была, под стать маршальскому коню, остриженному «ежику», в результате нарративного приема становится плачем по утрате красоты и души (лошадь одичала). В двух последних киноработах (*Печки-лавочки*, *Калина красная*) центр тяжести переносится с проблемы раздвоенности на «замещение» с землей, покоем, миром. После *Калины красной* (1973), в центре которой, конечно же, бунтарь Егор-Горе, после публичного покаяния Прокудина-Шукшина на фоне колокольни («Что же это, я камень, что ли?»)²³, фильм о Степане Разине (на съемки которого было получено согласие) мог бы быть расценен как очередное движение в сторону пассионарного взрыва²⁴ и прогрессивного бунта, к очередному «каменному человеку», к разбойнику, взгляд которого «простотой страшен своей, стылостью» [*Собрание сочинений* I, 439].

В дискуссии о Москве-Вавилоне в *Печках-лавочках* искусственному нагромождению Города противопоставляется естественный рост.

Нет, это не рост – нагромождение. [...] *Рост – нечто другое... Живая, тихая жизнь. Все, что громадится, то ужасно шумит о себе* [*Собрание сочинений* III, 370].

Рост в герменевтике Айрапетяна важная категория эпиметейского порядка: рост – это движение вверх, движение на месте. Растет значение в слове, растет дурак (ср. *дубина стоеросовая*, т.е. ‘стоя растет’). Такова растительная природа русской Психеи в отличие от европейского научного, промышленного, технического рывка – движения вперед.

Европейский, иудейско-христианский безоглядный прогресс, по происхождению кочевниче, мужское, животное, материковое движение вперед по пути, и русское, «языческое» возвратное развитие, по происхождению оседлый, женский, растительный, островной рост вверх на месте [Айрапетян, д5462 «Русский рост»].

Спор о «хозяине дома» – русском крестьянине между двумя профессорами в киноповести *Печки-лавочки* решается в духе дискуссии о городе с его скоростью, шумом и деревней с ее тихим ростом. Однако профессор-фольклорист вспомнил, что Иван Расторгуев не только «хозяин дома», но и «хозяин языка» [Айрапетян, в2311 «Язык и фольклор»] и предоставил слово Ивану, попросив его выступить перед «просвещенной» аудиторией. Иван рассказывает притчу о кобыле, хотя с точки зрения профессора-«прогрессиста» ответ Ивана был формой «ухода» от вопроса:

²³ В покаянном каноне Андрея Критского тело злодея и убийцы уподобляется камню: «Кому уподобилася еси, многогрешная душе? Токмо первому Каину и Ламеху оному, каменовавшая тело злодействы и убившая ум безсловесными стремленьми» (электронный ресурс, режим доступа: <<http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon333.htm>>, дата доступа: 06.11.2014).

²⁴ См. Л. Гумилев, *От Руси до России. Очерки этнической истории*, Москва 2008, с. 269.

Меня еще дед мой учил: как где трудно придется, Ванька, *прикидывайся дурачком. С дурачка спрос невелик* [Собрание сочинений III, 378].

В фильме этот ответ профессору не понравился: «А нет ли тут, Иван, деревенского высокомерия?» – укоризненно спрашивает он, и Иван соглашается. Пространство между городом и деревней, между консервативным и новаторским сознанием расплывчато и шатко и обрекает писателя на роль трикстера. «Личина Ивана-дурака, простоватого хитреца»²⁵, освобождает его от ответственности за непонимание, хотя и позволяет скрывать и хитроумность, знание и фольклорную мудрость. Даже вступление в компартию, продиктованное чисто практическими причинами, может рассматриваться как трикстерский ход: будучи членом «прогрессивной» партии (дающей приоритет перед беспартийными, что, безусловно, сказалось в такой идеологизированной сфере, как советская кинематография)²⁶, Шукшин неизменно подчеркивал, что является ее «рядовым» членом.

Однако смешение порядков по старшинству (эпиметеева) и по главенству (прометеева) дает совершенно иной тип сознания: мифотворческий. Для мифотворца «главное есть старшее» и переносится в начало [Айрапетян, в521 «Главное и старшее»]. Мифотворческим сознанием были созданы мифологемы Первочеловека, Бога-Творца и Бога-Спасителя, классическим примером мифотворчества является миф о «золотом веке», а также сталинский исторический материализм, переписавший всю историю в угоду господствовавшей идеологии. В основу мифотворчества можно положить анахроническую идею позднего создания «божества», являющейся «причиной» всего последующего развития. Главный прием мифотворца – объяснить прошлое настоящим. Мифотворец через свое непонимание более отражает себя в зеркале языка, а не говорит о предмете речи. В шукшинском мире таким «божеством-первопричиной» служит, к примеру, образ Льва Толстого, который в силу особой значимости для Шукшина оказался исторически первым: «патриархом», «отцом», в то время как остальные поэты и писатели «выводятся» из него: Пушкин – «сын», Лермонтов – «внучек», Есенин – «незаконнорожденный сын» [Из рабочих записей, 289].

Данный анахронизм показателен: им ни в коем случае нельзя упрекать писателя в ошибочности или отсутствии научного подхода. Инверсия выявляет значимость, которая свидетельствует о приоритетах. Толстой значим, поэтому он и первый, иначе (меньше) значимый Пушкин становится вторым. «Сыновство» Пушкина и Есенина не стоит возводить только к Толстому. Для Шукшина сыновство – религиозный показатель и является аллюзией на Бога-Жертву.

Есенин мало прожил. Ровно – с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает [Собрание сочинений II, 453].

Так о Есенине скажет поп в рассказе *Верую*. Мало прожил, но со смыслом (песней), а «слоны по двести лет живут, а какой смысл?» [Собрание сочинений, II, 434].

²⁵ Ю. Тюрин, *Кинематограф Василия Шукшина*, Москва 1984, с. 221.

²⁶ См. документальный фильм *Шукшин. Он сражался за Родину*, автор Ирина Семашко, режиссер Ирина Голубева, ВГТРК 2009.

Такая же инверсия приоритетов возникает и в случае с парой Пушкин–Лермонтов в первой части романа *Любавины*: читая стихи *Смерть Поэта* (1837), герой, а вместе с ним и нарратор, обращают внимание на двадцатидвухлетнего (на январь 1837 г.) «красивого» Лермонтова, оплакавшего гибель Пушкина.

Всё мелкое, маленькое, глупое должно было пригнуть червивые головки перед этой скорбной чистотой. [...] Едва ли он был поражен силой и звучностью слов, едва ли дошло до него, сколь велик был и горд человек, так разговаривающий с сильными мира [Собрание сочинений I, 215].

«Поэт-преемник» оказывается едва ли не важнее и значимее предшественника, заслонив его своей красотой, молодостью, величием²⁷. Получается, что Лермонтов явился как смысл и цель для Пушкина, что нелогично. Эта позиция, «когда все великие посматривали друг на друга и вместе смотрели в сторону нашего светлого будущего», характерна для советских школьных программ и вызывает насмешку А. Битова по поводу того, что Пушкин и Лермонтов еще никак не встретились и не поженились²⁸. Младший важнее старшего, он понимает старшего и понимает за него, он наследует его дело, подменяя собой старшего и, следовательно, символически убивая его. Таким образом проявляется онтологическое непонимание Шукшина-мифотворца, следовавшего в русле школьной традиции. Сама же эта традиция шла от идеи о «прогрессивной преемственности, о дружбе великих людей, об эстафете мысли и Прометеевом огне», названной А. Битовым «скучной и безвкусной»²⁹. В немалой степени ей способствовал романтик Лермонтов, водивший или – что более уместно – сводивший в своем стихотворении, как прекрасно показал это Ю.М. Лотман, Пушкина к его же собственному герою – поэту Ленскому, убитому на дуэли Онегиным:

Уже в знаменитом стихотворении Лермонтова поставлен знак равенства между Пушкиным и Ленским, чем была заложена основа романтической легенды о гибели поэта³⁰. Загнанный, затравленный, измученный, он был погублен мощными силами социального зла – противниками, которым одинокий поэт мог противопоставить только гибель³¹.

В подобном историческом сдвиге в будущее разрабатывался и образ Степана Разина, над которым Шукшин работал более восьми лет. Этот образ постоянно изменялся, вбирая в себя образы отца писателя и самого Шукшина. Но линия развития выражена четко: от человеческого, трагического облика Разина, преданного своими же казаками, в рассказе *Стенька Разин* и сценарии *Конец Разина*, к Разину-титану, Разину-Прометею, обладающему чертами вождя, революционера-

²⁷ Обратим внимание на уже упоминаемое явление: по отношению к величию «всё» становится мелким, маленьким и глупым (злым). Очевидно, что здесь проявляется сам автор со своими интенциями, чем предмет его изображения.

²⁸ А. Битов, *Пятое измерение: на границе времени и пространства*, Владивосток 2007, с. 123.

²⁹ Idem, *Пушкинский дом*, в: idem, *Империя в четырех измерениях*, Москва 2002, с. 353.

³⁰ Ср.: «И он убит – и взят могилой, / Как тот певец, неведомый, но милый, / Добыча ревности глухой, / Воспетый им с такою чудной силой, / Сраженный, как и он, безжалостной рукой» (*Смерть Поэта*).

³¹ Ю.М. Лотман, *Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий*, Санкт-Петербург 1995, с. 182.

аскета³² и бога-жертвы Иисуса Христа³³. От Разина, запечатленного в скульптуре, к Разину-мифу, нашедшему свое бессмертие в народной памяти. Именно этот Разин «прогрессивному» человечеству приносит волю (но уже не Правду), не принимаемую «отсталой» ее частью («голытьбой»), подавляемую «зажиревшими» боярами и «великим» царем со скромным прозвищем *Тишайший*.

Спор с крестьянской архаикой и недоверие к Городу вылились в утопический проект идеального государства (*Штрихи к портрету*), в котором также можно увидеть явления всех трех типов сознания: новаторского (безграничное доверие власти, управление сверху вниз: «Люди доброй воли плюс современная техника» [*Собрание сочинений* III, 160]), архаичного (курган, насыпаемый *всеми*, каждым человеком, по малой горсти земли) и мифотворческого (государство, по идее Князева, должно порождать в людях чувство «чувство всеобщей государственности» и «смысл жизни», а не, как представляется, наоборот). Последнее чревато насильственной попыткой догнать ушедшее «вперед» сознание: человека надо сначала посадить в клетку государства, а потом внушать, чтобы в нем рождалось соответствующее филетическое почитание. Эксперимент этот явно отдавал гулаговской отрыжкой, поэтому «нехороший» (ср. Нехорошева – жена Князева) обыватель злобно предупреждал Князева, а заинтересовался этим проектом вполне неслучайно «мудрый» милиционер (силовой представитель власти).

Итак, желание Шукшина выстроить свой собственный путь приводит к актуализации трех типов сознания. Для освоения городской культуры вводится прогрессивный герой разинского типа: легендарный разбойник-«просветитель», уголовник с чертами трикстера. В то же время выявляются антигерои в области деревенских «традиционных» героев, наподобие Любавиных, «крепкого мужика» Шурыгина, держащихся за старую веру («кержаки»), за патриархальные устои, за порядок. Однако русская архаичная культура проявляется в образе чудика, которого можно возвести не только к типу скомороха или юродивого, но и фольклорного дурака. Последнее произведение Шукшина, сказка для театра *До третьих петухов* (1974) показывает драму такого чудика-дурака, для которого, в условиях прогрессивного мира, фольклорная глупость не может обернуться мудростью. Наконец, смешение двух типов сознаний открывает мифотворческие возможности в художественном мире Шукшина. Мифотворчество проявляется в анахроническом переносе главного в позицию старшего, в трактовке исторических событий с позиции «дня сегодняшнего», отчего многие «младшие» личности (Толстой и Лермонтов по отношению к Пушкину), а также «маленькие герои», физически и духовно умаленные, становятся великими. Это тем более парадоксально, что с «большими» и «великими» личностями в шукшинском мире введется непримиримая борьба³⁴.

³² П. Гончаров, «Разинский тип» как одна из основ характерологии В.М. Шукшина, Вестник Томского государственного университета 2012, вып. 2 (106), с. 86–88.

³³ В. Сигов, *Русская идея В. Шукшина*, Москва 1999, с. 162.

³⁴ См. Р. Шубин, *О понятии 'статуйность' и 'статуйные' имена в творчестве В.М. Шукшина*, в: А. Ksenicz et al. (ред.), *Epoka a literatura i języki w Słowiańszczyźnie Wschodniej*, Zielona Góra 2013, с. 191–199.

Библиография

- Айрапетян, В. (2011). *Толкуя слово: опыт герменевтики по-русски*. Москва.
- Битов, А. (2002). *Пушкинский дом*, в: А. Битов, *Империя в четырех измерениях*. Москва.
- Битов, А. (2007). *Пятое измерение: на границе времени и пространства*. Владивосток.
- Гончаров, П. (2012). «Разинский тип» как одна из основ характерологии В.М. Шукшина. Вестник Томского государственного университета 2(106), с. 82–88.
- Гумилев, Л. (2008). *От Руси до России. Очерки этнической истории*. Москва.
- Захариева, И. (2008). *Аспекты формирования канона в русской литературе XX века*. София.
- Карасев, Л. (2001). *Вещество литературы*. Москва.
- Козлова, С. (1992). *Поэтика рассказов В. Шукшина*. Барнаул.
- Леваш, И. (2007). *Русские вопросы о России. Дискурс с Марианом Бродой*. Москва.
- Лейдерман, Н.Л., Липовецкий, М.Н. (2003). *Современная русская литература 1950–1999-е годы. В двух томах*. Т. 2. Москва.
- Лотман, Ю.М. (1995). *Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий*. Санкт-Петербург.
- Сигов, В. (1999). *Русская идея В. Шукшина*. Москва.
- Спиридонова, И.А. (1989). «Люди, милые люди... здравствуйте!». Север 7, с. 101–108.
- Топоров, В.Н. (1987). *Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте, В: Исследования по структуре текста*. Москва, с. 121–132.
- Тюрин, Ю. (1984). *Кинематограф Василия Шукшина*. Москва.
- Шубин, Р. (2013). *О понятии 'статуйность' и 'статуарные' имена в творчестве В.М. Шукшина*. В: А. Ksenicz et al. (ред.). *Epoka a literatura i języki w Ślōwianšczyźnie Wschodniej*. Zielona Góra, с. 191–199.
- Шукшин, В. (1979). *Нравственность есть правда*. Москва.
- Шукшин, В. (1984). *Собрание сочинений в трех томах*. Т. 1. Москва, с. 311–682.
- Broda, M. (2011). „Zrozumieć Rosję”. *O rosyjskiej zagadce-tajemnicy*. Łódź.
- Grzybowski, J.P. (2012). *Łęk przed nieobecnością. O różnicy między młodym i nowym*. В: J. Wach, Ł. Janicki (ред.). *(Od)nowa – znowu – na nowo. Rekapitulacja*. Lublin, с. 43–52.
- Lazari, A. de (ред.) (1999–2009). *Idee w Rosji. Идеи в России. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski*. Т. 1. Łódź.
- Pawlak, E. (1981). *Wasilij Szukszyn*. Warszawa.
- Rożek, L. (1994). *Bohater labiryntu w prozie Wasilija Szukszyna*. В: P. Fast, L. Rożek (ред.). *Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich*. Katowice, с. 153–171.

Summary

The Phenomenon of Vasily Shukshin in View of the Russian Hermeneutics

In the article creativity of the Russian writer and the director in a context of three types of consciousness described in Russian hermeneutics of Vardan Hayrapetyan are considered. The revolutionary consciousness directed from thought to act, creates “progressive” aspect of interpretation of Shukshin. The conservative consciousness expressed in interpretation of the present in the past, shows archaic tendencies. At last, the mythic consciousness substitute the previous (prior) and the head (main) thing, reveals tendencies of creation of the myth that finds the reflection in Shukshin’s texts of Razin.

Małgorzata Widel-Ignaszczak

Instytut Filologii Słowiańskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ROSYJSKI PRZEKŁAD *KWIATKÓW JANA PAWŁA II* – PROBLEMY KOMUNIKACJI INTERKULTUROWEJ

Key words: *The Little Flowers of John Paul II*, the Polish – Russian translation, intercultural communication, religious language

Tytuł analizowanej w niniejszym artykule pozycji nawiązuje do książki Henri'ego Fesqueta o Janie XXIII – *Kwiatki dobrego papieża Jana*. Na rynku polskim ukazało się wiele zbiorów anegdot o papieżu Wojtyłe, jednak w przypadku analizowanej książki chodzi o zupełnie inne „kwiatki” – o fioretti, które od czasów świętego Franciszka funkcjonują jako, w pewnym sensie, nowy gatunek literacki. „Fioretti to »opowieści z duszą«. Ich prawdziwe bogactwo polega na tym, że uchylają drzwi do tajemnicy człowieka, o którym mówią” – pisze w przedmowie do *Kwiatków Jana Pawła II* Janusz Poniewierski¹.

W omawianym tekście znalazły się opowieści, które mogą wzruszyć, stać się źródłem zadumy, a także żarty, które są świadectwem ogromnego dystansu Karola Wojtyły do samego siebie i do funkcji, którą przyszło mu pełnić. Język KJPII jest swoistym zderzeniem języka *sacrum* i *profanum* – świadczy o tym, z jednej strony, bogactwo leksyki religijnej, jaka na kartach książki się pojawia, a z drugiej – wyrażen potocznych związanych z działalnością Papieża Polaka².

Metropolita Tadeusz Kondrusiewicz pisze o Papieżu: „В своем общении с людьми, особенно с молодежью, он очень часто находил меткие, точно соответствующие моменту, слова и выражения, которые мгновенно разряжали обстановку и вызывали необыкновенное воодушевление у слушателей”³. Celem niniejszego artykułu jest analiza, na ile ten niezwykły talent Papieża zdołano oddać w przekładzie na język rosyjski.

¹ J. Poniewierski, *Przedmowa*, w: J. Poniewierski, J. Turnau (red.), *Kwiatki Jana Pawła II*, Kraków: Znak 2003 [dalej: KJPII], s. 5.

² Mówi o tym np. opowieść apokryficzna, w której Papież zwrócił się do odwiedzającego go przyjaciela z Polski: „Poczekaj tu na mnie, muszę trochę popapieżać” (ibidem).

³ Т. Кондрусевич, *Заключительное слово*, w: Я. Поневверский, Я. Турнау (ред.), *Цветочки Иоанна Павла II*, пер. Т.Э. Якжин, Москва: Издательство Францисканцев 2007, s. 155.

Podstawowym kryterium oceny przekładu w aspekcie komunikacji międzykulturowej jest określenie adresata przekładu, ponieważ w istotny sposób wpływa on na jakość samego przekładu. Przekład rosyjski ukazał się w 2007 roku nakładem Wydawnictwa Franciszkanów w Moskwie. Metropolita T. Kondrusiewicz określił jego odbiorcę docelowego, pisząc, że „перевод и издание этой книги [...] поможет русскому читателю полнее раскрыть образ Великого Понтифика-славянина”⁴.

Swoiste połączenie ograniczeń języka przekładu i kultury przekładu realizuje się w tłumaczeniu literatury religijnej z języka polskiego na język rosyjski. Wzajemna relacja języka i kultury polega na tym, że:

язык – зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира⁵.

Słuszne wydaje się zwrócenie uwagi, że język religijnej proveniencji inaczej kształtuje się na gruncie różnych języków narodowych, a w ich obrębie także na gruncie różnych konfesji. Językowi religijnemu, obok ogólnych cech stanowiących o jego istocie, przypisać można także specyficzne cechy wynikające z uwarunkowań historycznych i kulturowych terytorium, na którym się rozwijał. Rewolucja październikowa zapoczątkowała w Rosji okres sowiecki, w ciągu siedemdziesięciu lat dążono do całkowitego odcięcia się od korzeni chrześcijańskich. Niszczono obiekty sakralne lub zmieniano ich funkcję, prowadzono ateistyczną propagandę. Zofia Abramowicz zaznacza, że taka polityka władz znalazła także odzwierciedlenie w języku, dotyczy to przede wszystkim przewartościowania leksyki konfesyjnej, celowej jej archaizacji i marginalizacji; reminiscencjami okresu sowieckiego są przesunięcia semantyczne leksyki⁶, co stanowi zarazem jej cechą charakterystyczną. Zasadne wydaje się podkreślenie, że deformacja warstwy znaczeniowej wyrazów w świadomości społeczeństwa ma ogromne znaczenie z punktu widzenia współczesnych badań języka religijnego, w tym także badań translatorskich. Dopiero koniec XX wieku przyniósł zmiany w życiu społecznym i politycznym Rosji, jak również ożywienie ruchu religijnego, co pociągnęło za sobą zmiany w języku.

[W]ypowiedzi dyskursu religijnego oscylują między biegunem tradycji, zamknięcia w ramach ustalonych i ustabilizowanych środków (będących wyrazistymi znakami sakralizacji tekstu, ale też znamieniem skostnienia, anachroniczności i dystansu w odniesieniu do innych sfer społecznej komunikacji) a biegunem współczesności, otwarcia na różnorodne sfery komunikacji świeckiej, a więc desakralizacji⁷

– zauważa Maria Wojtak. Rosyjski język religijny proveniencji katolickiej charakteryzuje się znaczną liczbą egzotyzmów i oprócz tego „mamy często do czynienia z przenoszeniem leksemów świeckich na określenie realiów religijnych, stosowanie jednostek

⁴ Ibidem.

⁵ С.Г. Тер-Минасова, *Язык и межкультурная коммуникация*, Москва: Слово/Slovo 2008, s. 14.

⁶ Z. Abramowicz, *Język rosyjski u schyłku drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa*, Studia Wschodniosłowiańskie 2001, 1, s. 111.

⁷ M. Wojtak, *Styl religijny we współczesnej polszczyźnie*, Stil 2006, 5, s. 142.

leksykalnych wyrażających wartościujący stosunek do prezentowanych problemów religijnych, czyli manifestujących swój stosunek do tematyki religijnej”⁸.

Obecność katolicyzmu w Rosji zdołała w pewnym stopniu oprzeć się kilkudziesięcioletniej przymusowej ateizacji prowadzonej w Związku Radzieckim, która przyniosła jednak likwidację Kościoła katolickiego jako instytucji życia publicznego. Takie zakreślenie tła historycznego oraz społeczno-kulturowego pomaga zrozumieć dzisiejszy stan języka religijnego katolików w Rosji. Procesy zachodzące w rosyjskich społecznościach katolickich wskazują wyraźnie kierunek dalszych przemian kulturowych i narodowościowych. Ewolucja tamtejszego Kościoła katolickiego obrządku zachodniego oparta jest obecnie na współczesnym języku rosyjskim. Doniosłość powiązania języka i szeroko pojmowanej kultury była podkreślana przez wielu językoznawców. To powiązanie ma też swoje reperkusje w jednej z dziedzin, gdzie aktualizuje się związek języka i kultury – w przekładzie.

Autorka niniejszego artykułu stawia sobie za cel zbadanie sposobów przekazu słownictwa religijnego z języka polskiego na język rosyjski w utworze *Kwiatki Jana Pawła II*. Za punkt wyjścia należy obrać jednak perspektywę komunikacji międzykulturowej, gdyż tekst wyjściowy skierowany jest do odbiorców, którzy w znakomitej większości należą do kręgu konfesji rzymskokatolickiej, natomiast przekład skierowany jest do rosyjskich katolików – przedstawicieli mniejszości religijnej w swoim kraju. Wnikliwa analiza konfrontatywna jest niezbędna także ze względu na społeczno-kulturowe aspekty funkcjonowania słownictwa religijnego w Rosji.

Aby adekwatnie pokazać zagadnienia przekładu leksyki religijnej z języka polskiego na język rosyjski, należy uwzględnić typ badanego tekstu. Założenie badawcze determinuje fakt, że ekscerpcji nie są poddane izolowane jednostki leksykalne w ujęciu genetycznym bądź etymologicznym. Potraktowane zostały one jako jednostki systemu pojęć religijnych, jako jednostki konstytuujące język religijny, a tekst *Kwiatków* stanowi korpus kontekstowy ujawniający warunki ich funkcjonowania i konstruowania ekwiwalencji przekładowej. Pojęcie systemu przyjęto w rozumieniu Ryszarda Tokarskiego – jako termin, który „uwzględnia zarówno konkretne elementy językowe właściwe danemu poziomowi języka, jak też odkrywa wzajemne zależności między tymi elementami istniejące”⁹.

Na podstawie analizy ekwiwalencji przekładowej terminologii religijnej wyekscerpowanej z dwutekstu potwierdzono wysoką częstotliwość zgodności formalnej między denotatami i denotantami:

- arcybiskup – архиепископ,
- biskup – епископ,
- duszpasterz – пастырь,
- hierarcha – иерарх,
- kardynał – кардинал,
- religijny – религиозный,

⁸ G. Skowrońska-Płaczynka, *O języku religijnym w prawosławiu rosyjskim*, w: Z. Adamek, S. Koziara (red.), *Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego*, Tarnów: Biblos 1999, s. 215.

⁹ R. Tokarski, *Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze)*, Warszawa: PWN 1984, s. 10.

- pobożny – *набожный*,
- krzyż – *крест*,
- ołtarz – *алтарь*.

Wysoka częstotliwość użycia w tekście rosyjskim identycznych jak w języku polskim środków przekazu terminów religijnych wskazuje na bardzo częste zastosowanie substytucji w procesie tłumaczenia leksyki religijnej. Substytucja staje się skutecznym sposobem osiągania ekwiwalencji tylko wtedy, gdy jej zastosowanie nie wnosi do tekstu przekładu niepożądanych elementów dla systemu leksykalnego i/lub struktury języka¹⁰. Oczywiście prymarnie jest to wynikiem bliskości i pokrewieństwa języka oryginału i języka przekładu, jednak, jak się wydaje, można wyciągnąć wnioski szerszej natury dotyczące przekładu właśnie leksyki religijnej, pojmowanej jako ustrukturyzowany system terminologiczny. Warunkiem wykorzystania substytucji jest obecność w systemie leksykalnym ekwiwalentów formalnych, wypracowanych już w społeczności rosyjskich katolików.

Bariery językowe i kulturowe w tekście przekładu pokonywane są za pomocą licznych transformacji gramatycznych oraz leksykalnych, a ich celem jest zrozumiałość i akceptowalność tekstu przez jego odbiorców sekundarnych. Zjawiska takie ilustruje poniższy materiał tekstowy:

- piuska – *круглая епископская шапка, круглая шапка* (peryfraz),
- katecheta – *священник, который преподавал катехизис* (peryfraz),
- purpurat – *кардинал* (konkretyzacja),
- ordynariusz diecezji – *епископ* (generalizacja),
- proboszcz-infulat – *настоятель* (generalizacja),
- proboszcz – *настоятель* (generalizacja),
- pielgrzymka – *паломническая поездка, визит, паломничество, зарубежная поездка* (przekład przybliżony/generalizacja).

W świetle zagadnień komunikacji międzykulturowej niezwykle ważna jest konstatacja, że użycie transformacji wywołane jest często strategią tłumacza w kierunku adaptacji bądź egzotyzacji tekstu. Na podstawie analizy leksyki religijnej *Kwiatków* w konfrontacji przekładowej należy stwierdzić, że język przekładu cechuje znaczna liczba zapożyczeń leksykalnych, barbaryzmów, przykładowo:

- proces beatyfikacyjny – *беатификационный процесс*,
- pontyfikat – *понтификат*,
- kuria – *курия*,
- prałat – *прелат*,
- biskup sufragani – *епископ-суффраган*,
- prymas – *примас*,
- dominikanin – *доминиканец*.

Sygnaly obcości w tekście przekładu wynikają z jego językowej i kulturowej wtórności. Podstawową cechą analizowanego przekładu, wywołującą odczucie obcości, jest

¹⁰ M. Mocarz, *Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekładowej (na materiale polskich przekładów prozy rosyjskiej XIX–XX w.)*, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 106.

odmienność religijna konfesji katolickiej (utożsamianej z kulturą języka wyjściowego) i prawosławnej (utożsamianej z kulturą języka docelowego)¹¹.

Podsumowując analizę, należy stwierdzić przewagę adaptujących sposobów tłumaczenia, choć zdarzają się także leksemy tłumaczone zarówno z użyciem egzotyzmu, jak i za pomocą adaptujących sposobów tłumaczenia, np.:

- wizytacja – *визитация* (egzotyzm),
- wizytacja – *пастырский визит* (ekwiwalent funkcjonalny),
- wizytacja – *визитация + каноническое посещение епископом приходов епархии* (прим. ред.) (egzotyzm + przekład peryfrastyczny w przypisie).

Na kartach *Kwiatków* czytelnik ma do czynienia ze swoistym spotkaniem języka *sacrum* i języka *profanum*. Na podstawie wyników analizy leksykalnej systemu terminów proveniencji religijnej w tym utworze ustalono, że tłumacz wykazał się szczególną dbałością o ekwiwalencję denotacyjną, terminologiczną oraz sytuacyjną. Inaczej jest w przypadku analizy całych fragmentów tekstu zawierających język ogólny lub jego odmianę funkcjonalno-stylistyczną i traktujących o sprawach dotyczących życia i działalności Jana Pawła II – nie zawsze bezpośrednio związanych ze sferą religii. Zauważyć można problemy tłumaczeniowe, których rozwiązanie nie jest możliwe ze względu na uwarunkowania językowo-kulturowe lub brak odpowiednich kompetencji tłumacza. Szczególnie interesujące wydają się następujące kwestie zaobserwowane podczas analizy przekładu KJPII:

1. Kwestia adresatów

Kiedys Karol Wojtyła przyjechał z wizytacją do jednej z podhalańskich parafii. W progu kościoła przywitała go jakaś góralka: „Eminencyjo, najprzystojniejszy Księżu Kardynale”. A on na to: „No, coś w tym jest” [KJPII 99].

Stworzenie równoznacznego treściowo przekładu wymaga nie tylko aktywowania wiedzy językowej, ale także specjalistycznej – dotyczącej kultury, religii, czyli pojęć swoistych dla danej dziedziny oraz istniejących między nimi relacji, które każdy język wyraża na swój sposób. Znajomość konwencji tekstowych języka kultury docelowej stosowanych w opisie zjawisk religijnych przesądza o adekwatności przekładu¹².

Na kartach *Kwiatków* występują adresatywy, które odnoszą się do Istoty Transcendentnej, np. „Panie” – *Господи*, przetłumaczone zazwyczaj za pomocą ekwiwalentu uzualnego, ale bardziej interesujący jest bogaty materiał dotyczący zwracania się do członków duchowieństwa, szczególnie stojącego bardzo wysoko w hierarchii kościelnej. Zwroty typu „proszę księdza” tłumaczone są na ogół zaimkowo lub za pomocą transformacji, np. konkretyzacji: „proszę księży” – *семинаристы*, natomiast dla wyższych hierarchów są zarezerwowane szczególne formy adresatywne:

¹¹ R. Lewicki, *Obcość w odbiorze przekładu*, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2000, s. 46.

¹² Z. Berdychowska, *Termin w przekładzie*, w: M. Piotrowska (red.), *Język trzeciego tysiąclecia III*, t. 2: *Konteksty przekładowe*, Kraków: Tertium 2005, s. 124.

- Księżę Kardynale – *Ваше Высокопервоосвященство*,
- Wasza Świątobliwość – *Ваше Святейшество*,
- Ojciec Święty – *Святой Отец*,
- Jego Ekscelencjo – *Ваше Высокопервоосвященство*,
- Wasza Eminencjo – *Ваше Первоосвященство*,
- proszę Księdza Kardynała – *Ваше Первоосвященство*.

Analizując przekład form adresatywnych na podstawie relacji panujących pomiędzy uczestnikami interakcji przedstawionych w oryginale, biorąc pod uwagę kontekst wypowiedzi oraz charakterystykę osób mówiących – ich wiek, status, pozycję społeczną, wykształcenie – zauważamy, że między osobami świeckimi i duchownymi w tekście przekładu wytworzony jest niejako większy dystans za pomocą stylistycznie nacechowanych zwrotów adresatywnych. Jest to zgodne z duchem bardziej surowej i formalnej niż rzymska tradycja prawosławnej.

2. Styl potoczny

Historię tę opowiedział ojcu Leonowi biskup siedlecki Wacław Skomorucha. Latem 1965 roku zmarł biskup Czajka z Częstochowy. Metropolita krakowski przyjechał na pogrzeb niemal w ostatniej chwili. Witając się ze zgromadzonym episkopatem, pominął jakoś biskupa z Siedlec. Rychło jednak się spostrzegł, zawrócił i rzekł:

– Świnia jestem, nie przywitałem Księdza Biskupa! [KJPII 94].

Według Jerzego Bartmińskiego, „stylowi potocznemu przysługuje walor naturalności, pierwszego języka człowieka. Jest to styl, który ujmuje świat z punktu widzenia konkretnego człowieka, jego elementarnego, »codziennego«, egzystencjalnego doświadczenia»¹³. Językiem religijnym jest zarówno język ksiąg liturgicznych, jak i język swobodnych wypowiedzi na temat wiary¹⁴. W *Kwiatkach* oficjalny język religijny i język potoczny przenikają się, przybliżając czytelnikowi osobę Papieża – Człowieka – Świętego.

Potoczny język religijny w przekładzie natomiast najczęściej nie znajduje odzwierciedlenia – nawet w ramach gatunku, jakim są „fioretti”, tłumacz rzadko decyduje się na włożenie w usta Papieża potocznych słów, np.:

Czasami miałbym ochotę wypuścić się na Rzym, ale nie mam grosza w kieszeni... Kardynałowie to także **dziady**... Oni także mają płótno w kieszeni... [KJPII 131].

Иногда мне хочется погулять по Риму, но у меня в кармане ни гроша, Кардиналы тоже **нищие**, у них тоже в карманах ветер свистит¹⁵.

¹³ J. Bartmiński, *Styl potoczny*, w: J. Anusiewicz, F. Nieckula (red.), *Potoczność w języku i kulturze*, Język a Kultura 1992, nr 5, s. 45.

¹⁴ M.D. Nowak, *Świadectwo religijne. Gatunek – język – styl*, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005, s. 144.

¹⁵ *Цветочки Иоанна Павла II*, ред. Я. Поневе́рский, Я. Турнау, пер. Т.Э. Якжин, Москва: Издательство Францисканцев 2007 [dalej: ЦИП], s. 132.

Kolejny przykład jest tym bardziej interesujący, że przedstawia potoczne określenie osób duchownych – w swoistym slangu osoby konsekrowane nazywają siebie „czarnymi”:

W Paryżu na spotkaniu z siostrami zakonnymi zwlekał z wejściem na podium. **Czarni** w tyle szumieli, dawali znaki, wykonywali gwałtowne ruchy [KJPII 131].

Ta nazwa potoczna została przetłumaczona jako *представители клира*. Należy podkreślić, że wielki słownik objaśniający języka rosyjskiego nie podaje żadnego kwalifikatora stylistycznego dla tego słowa, przedstawia go jako synonim słowa duchowieństwo: „клир, -а; м. [греч. κλῆρος – жребий, удел] в христианской церкви: совокупность священнослужителей и церковнослужителей; духовенство”¹⁶. Również rosyjski słownik specjalistyczny leksyki religijnej pod redakcją G.N. Sklarewskiej¹⁷ oraz słownik L.N. Mitrochina¹⁸ nie podają w hasłach odnośnika świadczącego o potocznym odcieniu tego słowa.

Koloryt wypowiedzi nie został przeniesiony do tłumaczenia również w poniższym przykładzie:

- ubrany po księżemu [KJPII 131]
в одежде священника [ЦИПИИ 132].

Brak oddania w tym fragmencie potocznego wydźwięku osiągniętego za pomocą przysłowka „po księżemu” można tłumaczyć także ogólną tendencją do zamieniania przymiotników i przysłówków religijnych konstrukcjami z rzeczownikami – czego dowiodła analiza leksykalna.

Wyjątkiem, w którym styl potoczny przejawia się w sposób jednoznaczny, są poniższe przykłady, w których zastąpienie elementów potocznych neutralnymi spowodowałoby brak efektu humorystycznego, co doprowadziłoby do braku ekwiwalencji sytuacyjnej, a także niezrozumienia sensu anegdoty:

Świnia jestem, nie przywitałem Księdza Biskupa! [KJPII 94].

Какая же я свинья! Не поздоровался с Вашим Первоосвященством! [ЦИПИИ 95].

Stary, jaki ty jesteś obkuty [KJPII 61].

Старик, ты так подкованн! [ЦИПИИ 63].

3. Dialekt

Stary góral opowiadał: „Kardynał Karol Wojtyła chodził w góry. Nikt nawet nie wiedział, kto on jest, bo się nie przedstawił, no ale zawsze się rano na Rusinowom Polanę do kaplicy i kiedy był na Rusinowej, to zachodził hań zawsze do babki Kobylarczy” [KJPII 113].

¹⁶ *Большой толковый словарь русского языка*, ред. С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург: Норинт 2004, s. 433.

¹⁷ *Словарь православной церковной культуры*, ред. Г.Н. Складневская, Москва: АСТ Астрель 2007, s. 189–190.

¹⁸ *Христианство. Словарь*, ред. Л.Н. Митрохин, Москва: Издательство Республика 1994, s. 229.

Об этом рассказывал старый гураль: «Кароль Войтыла ходил по горам. Никто не знал, кто он, потому что он не представлялся, но каждое утро приходил на Русинову Поляну в часовню. И когда он был на Русиновой Поляне, то всегда заходил к бабке Кобылярчик» [ЦИПИ 113].

Cechy fonetyczne dialektu góralskiego pominięto w samej wypowiedzi, jednak tłumacz po części skompensował to, nazywając egzotycznie autora wypowiedzi. Zamiast słowa *горец* – *житель гор* wprowadził do tekstu przekładu jednostkę leksykalną nie występującą w języku rosyjskim – barbaryzm *гураль*. Jedyną cechą niższego stylu (ale nie dialektu) w samej wypowiedzi jest użycie w tłumaczeniu słowa *бабка* – które może znaczyć „1. разг.-сниж. = бабушка”, lub w drugim również potocznym znaczeniu „2. разг. знахарка, ворожея”¹⁹.

Z kolei w poniższym fragmencie znajduje się stylizacja wypowiedzi Papieża na gwara śląską. Z powodu choroby Papież nie mógł pojechać do Gliwic. Odwiedził jednak to miasto ostatniego dnia swojej wizyty w Polsce i w ten sposób zwrócił się do zebranych:

Ja bym z takim papieżem nie wytrzymał – powiedział. – Ma przyjechać, nie przyjeżdżo, potem znowu ni ma przyjechać – przyjeżdżo [KJPII 148].

W tłumaczeniu mamy do czynienia z amplifikacją – dzięki czemu opisowo podana jest informacja na temat stylu wypowiedzi papieskiej:

Я бы не выдержал такого Папу, – сказал он **на местном наречии**. – Когда он должен приехать – не приезжает, когда не должен – приезжает [ЦИПИ 148].

4. Gra słów

Pielgrzymi zgromadzeni w Elblągu przerywali Ojcu Świętemu często i głośno. Jan Paweł to skomentował: „Ktoś się raz pomylił i zamiast wołać: »niech żyje papież«, zaczął wołać: »niech żyje łupież«. Ja was do tego nie zachęcam”. Kiedy krzyczano doń: „Witaj w Licheniu”, stwierdził: „Myślałem, że mówicie: »Witaj, ty leniu«” [KJPII 148].

Papież, jako erudyta, w celu wzmocnienia efektu humorystycznego swoich wypowiedzi stosował także grę słów. Widać to w powyższym fragmencie. W tłumaczeniu pozostawiono cytaty – oryginalny tekst polski oraz objaśniono grę słów w przypisach:

- „Niech żyje papież” – „Niech żyje łupież” – «Да здравствует Папа» – „Да здравствует перхоть” [ЦИПИ 148],
- „Witaj w Licheniu” – »Witaj, ty leniu«” – «Приветствуем тебя в Лихене» – «Приветствуем тебя, ты лентяй» [ЦИПИ 148].

W tekście przekładu paratekst w postaci przypisu pojawia się także w innym miejscu, gdzie gra słów oparta jest na polisemii w języku polskim i nie jest możliwa do przetłumaczenia za pomocą środków systemowych:

¹⁹ C.A. Кузнецов, op. cit., s. 54.

Nic na to nie poradzimy, że się lękamy o Waszą Świątobliwość. – Ja też – odpowiedział Papież – niepokoję się o swoją świątobliwość [KJPII 141].

Что же мы можем поделать, если мы беспокоимся о Вашем Святейшестве. – Вот именно. Я тоже беспокоюсь о своем святейшестве, ответил Папа [ЦИПП 141]. Папа использует двойное значение польского слова «świętobliwość» – «Святейшество» и «святость» (прим. ред.) [ЦИПП 141].

Podsumowując, należy stwierdzić, że bardzo trudno jest przekazać w języku rosyjskim wszystkie niuanse zawarte w analizowanym utworze – o ile na poziomie leksykalnym, poziomie terminologii religijnej można zaobserwować ekwiwalencję, to na poziomie sytuacyjnym zauważa się straty w warstwie nie tyle denotacyjnej, co stylistycznej. Związane jest to niewątpliwie z problemami komunikacji interkulturowej. Tłumaczona literatura katolicka stawia sobie za cel nie tylko, tak jak w przypadku każdego innego przekładu, umożliwienie percepcji tekstu obcojęzycznego, ale także stworzenie za pomocą określonych strategii translatorskich korpusu rosyjskiej terminologii religijnej charakterystycznej dla konfesji katolickiej, jak również języka bezpośrednio związanego z codziennym życiem wierzącego. Czynniki językowe determinujące przekład pojętej terminologicznie leksyki religijnej stanowią źródło problemów, jednakże przy odpowiedniej wiedzy językowej i translatorskiej, przy zastosowaniu odpowiednich strategii i procedur są one możliwe do rozwiązania. Znacznie trudniej rozwiązuje się problemy w tłumaczeniu wynikające z uwarunkowań pozajęzykowych, do których należą wiedza fachowa (np. teologiczna) oraz wiedza kulturowa²⁰.

Bibliografia

Źródła

Poniewierski, J., Turnau, J. (red.) (2003). *Kwiatki Jana Pawła II*. Kraków: Znak.

Поневерский, Я., Турнау, Я. (ред.) (2007). *Цветочки Иоанна Павла II*. Пер. Т.Э. Якжин. Москва: Издательство Францисканцев.

Opracowania

Abramowicz, Z. (2001). *Język rosyjski u schyłku drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa*. Studia Wschodniosłowiańskie 1, s. 107–114.

Bartmiński, J. (1992). *Styl potoczny*. W: J. Anusiewicz, F. Nieckula (red). *Potoczność w języku i kulturze*. Język a Kultura 5, s. 37–54.

Berdychowska, Z. (2005). *Termin w przekładzie*. W: M. Piotrowska (red.). *Język trzeciego tysiąclecia III. T. 2: Konteksty przekładowe*. Kraków: Tertium, s. 119–129.

Lewicki, R. (2000). *Obcość w odbiorze przekładu*. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Mocarz, M. (2006). *Predykatory leksykalne w konfrontacji przekładowej (na materiale polskich przekładów prozy rosyjskiej XIX–XX w.)*. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Nowak, M.D. (2005). *Świadectwo religijne. Gatunek – język – styl*. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

²⁰ Por. Z. Berdychowska, op. cit., s. 127.

- Poniewierski, J. (2003). *Przedmowa*. W: J. Poniewierski, J. Turnau (red.). *Kwiatki Jana Pawła II*. Kraków: Znak, s. 4–6.
- Skowrońska-Płaczynta, G. (1999). *O języku religijnym w prawosławiu rosyjskim*. W: Z. Adamek, S. Kozłara (red.). *Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego*. Tarnów: Biblos, s. 214–220.
- Tokarski, R. (1984). *Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze)*. Warszawa: PWN.
- Wojtak, M. (2006). *Styl religijny we współczesnej polszczyźnie*. *Stil* 5, s. 139–146.
- Кондрусевич, Т. (2007). *Заключительное слово*. W: Я. Поневверский, Я. Турнау (ред.). *Цветочки Иоанна Павла II*. Пер. Т.Э. Яжжин. Москва: Издательство Францисканцев, s. 155–156.
- Кузнецов, С.А. (ред.) (2004). *Большой толковый словарь русского языка*. Санкт-Петербург: Норинт.
- Мечковская, М.Б. (1998). *Язык и религия. Лекции по филологии и истории религий*. Москва: Издательско-торговый дом „Гранд”.
- Митрохин, Л.Н. (ред.) (1994). *Христианство. Словарь*. Москва: Издательство Республика.
- Скляревская, Г.Н. (ред.) (2007). *Словарь православной церковной культуры*. Москва: АСТ Астрель.
- Тер-Минасова, С.Г. (2008). *Язык и межкультурная коммуникация*. Москва: Слово/Slovo.

Summary

Russian Translation of *Kwiatki Jana Pawła II* – the Problems of Intercultural Communication

The article is an analysis of selected aspects of translation of the book *Kwiatki Jana Pawła II* [*The Little Flowers of John Paul II*] – a collection of stories and anecdotes showing the events from the life of Karol Wojtyła – Pope John Paul II – into the Russian language. The analysis is undergo manners of evocation of a particular, intended by the addressee effect of communication in a certain socio-cultural situation in Russia.

RECENZJA

Józef Marcinkiewicz

Instytut Językoznawstwa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

**GRETA LEMANAITĖ-DEPRATI, *GIJA. PODRĘCZNIK
DO NAUKI JĘZYKA LITEWSKIEGO***

[cz. I – Książka dla studentów; cz. II – Książka dla nauczycieli]. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, cz. I – s. 230 + 2 płyty CD, cz. II – s. 56.

Key words: Lithuanian manual, learning of Lithuanian, L2 acquisition, review

Na ogół w gronie specjalistów wiadomo, że prawdziwego podręcznika do nauki języka litewskiego w Polsce nigdy nie wydano, chociaż w długiej perspektywie czasowej ukazywały się gramatyki, między innymi warty nadmienienia jako ciekawostka, historyczny, XIX-wieczny przyczynik Mikołaja Akielewicza *Gramatyka języka litewskiego* (Poznań, 1890), następnie trzypomowe dzieło Jana Otrębskiego *Gramatyka języka litewskiego* (Poznań, 1956–1965) oraz praca Ony Vaičiulytė-Romančuk *Gramatyka języka litewskiego z ćwiczeniami* (Warszawa, 2006). W formie refleksji można wspomnieć o dwóch mi znanych, wydanych za granicą podręcznikach, które w znacznej mierze były przygotowane na bazie doświadczeń na polskich uniwersytetach. Mam na myśli polskojęzyczny wariant podręcznika do nauki języka litewskiego Ireny i Valerijusa Čekmon'asów *Język litewski dla każdego* (Vilnius, 1993), przygotowany na bazie nauczania na UW w Warszawie, oraz podręcznik Judity Džežulskienė *Lietuvių kalba. Vadovėlis kitakalbiam* (Kaunas, 2005), w całości opracowany na bazie doświadczeń praktycznej nauki języka na filologii litewskiej na UAM w Poznaniu, którego, niestety, w swoim czasie nie udało się wydać na miejscu.

W świetle powyższego wydanie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pod koniec 2010 roku podręcznika do nauki języka litewskiego o wdzięcznej nazwie *Gija* (w znaczeniu pol. 'nić, składnik tkaniny', metaforycznie: 'przyczynik, wkład, atomistyczny materiał, oparcie lub podstawa dzieła') należy przyjąć z uznaniem, jako wydarzenie niecodzienne, gdyż jak informuje nas notka wydawnicza, jest to pierwsza tego typu pozycja na polskim rynku.

Pomoc dydaktyczna, opracowana na bazie doświadczeń w nauczaniu języka litewskiego w Jagiellońskim Centrum Językowym w Krakowie, jako pozycja wydawnicza prezentuje się bardzo estetycznie od strony graficznej, zaś strukturalnie całość podręcznika została skonstruowana według obowiązujących standardów nauki języków obcych. Zestaw podręcznikowy tworzy książka do nauki (dla studentów) oraz książka dla prowadzącego zajęcia i nagrania tekstów na dwóch płytach CD. W podręczniku materiał poszczególnych lekcji wyeksponowano przejrzysto, co budzi ufność w profesjonalizm redakcji technicznej. Z podręcznika korzysta się więc wygodnie, zaś zamieszczone w każdej lekcji czarno-białe zdjęcia czy ilustracje przywołują przyjazne skojarzenia i wprowadzają przydatne w trakcie nauki klimaty recepcji obrazu (elementy myślenia przestrzennego) i w jakimś sensie „bałtycką” harmonię i spokój. Do poruszania się w obrębie materiału bardzo pomocne okazują się umieszczone w stopce zacieniowane paski z dobrze czytelną numeracją rozdziałów oraz stron.

Podstawowa część omawianego podręcznika do nauki języka litewskiego składa się z 12 ponumerowanych rozdziałów uznanych za odrębne jednostki lekcyjne (w podręczniku zastosowano podział na duże bloki tematyczne, analogiczny do najnowszych podręczników do języków angielskiego i rosyjskiego, jak również znanych podręczników do litewskiego: V. Stumbrienė i A. Kaškelevičienė *Nė dienos be lietuvių kalbos* (Wilno, 2001) – z 12 umownym lekcjami, oraz M. Ramonienė i L. Vilkienė *Po truputį* (Wilno, 1999) – z 15 lekcjami), Aneksu z 20 ponumerowanymi tabelami gramatycznymi, krótkiego jednostronicowego indeksu haseł gramatycznych oraz kolorowego spisu zawartości obu płyt CD. W zakresie struktury rozdziałów wartą uwagi jest fakt, że każdy z nich ma utrzymany jednolity podział treści na poszczególne działy oraz system numeryczny w ich obrębie. Zatem rozdziały składają się z nienumerowanych, acz oznaczonych polskimi tytułami działów (części), które stanowią: „Dialogi”, „Słowniczek”, „Gramatyka”, „Ćwiczenia”, „Słuchanie”, „Czytanie” oraz kończący każdą lekcję krótki element treściowy „Ar žinai, kad...” („Czy wiesz, że...”), przedstawiający różne ciekawostki o kraju. Każda z wymienionych jednostek (oprócz części dotyczących „Słowniczka” oraz aplikacji z ciekawostkami) została podzielona wewnętrznie numeracją łacińską na podjednostki; swoje numery uzyskują poszczególne dialogi (co pozwala na odszukanie ich wersji dźwiękowej na CD), zagadnienia gramatyczne i ćwiczenia oraz zadania sprawdzające rozumienie tekstu mówionego („Słuchanie”) i pisanego („Czytanie”) – którym numeracja daje kod dostępu do klucza odpowiedzi w książce dla nauczyciela. W języku polskim potencjalny użytkownik otrzymuje jasny opis poleceń do wszelkich ćwiczeń, związane nagłówki zagadnień gramatycznych oraz ćwiczenia przeznaczone do tłumaczenia.

Książka dla nauczyciela zawiera bardzo krótkie komentarze do wszystkich 12 rozdziałów podręcznika. Tutaj również zastosowano systematyczny podział treści komentarzy na poszczególne podrozdziały, obejmujące takie jednostki, jak: „Uwagi metodyczne”, „Gramatyka”, „Klucze do zadań”, „Zadania słuchowe” i „Czytanie”.

Przechodząc do oceny merytorycznej podręcznika, na początku należałoby zwrócić uwagę na jego specyfikę i główny profil metodyczny. Rozłożenie akcentów treści oraz jej dystrybucja w ramach poszczególnych rozdziałów wskazuje na to, że pod względem metodycznym podręcznik wyraźnie lewituje w kierunku metody komunikacyjnej

i z takim zamiarem wydaje się być napisany. Jego autorka z rozmysłem kładzie główny akcent na dialogi i krótkie teksty, które umieszcza na początku każdej jednostki lekcyjnej, oraz rozwinięte ćwiczenia, mające utrwalić materiał. Inne elementy glottodydaktyczne, takie jak gramatyka (sposób jej prezentowania w kontekście komunikacyjnym), leksyka, czy wreszcie umieszczony na końcu każdego rozdziału tekst do czytania, mają z punktu widzenia priorytetowego celu, jakim jest akwizycja podstawowych modeli komunikacyjnych, wyraźnie charakter pomocniczy.

W każdym z rozdziałów pod szyldem „Dialogi” zamieszczono od trzech do pięciu tekstów rozmów bądź monologów, które mają stanowić bazę poznawczą modeli zachowań komunikacyjnych w określonych sytuacjach. Bez trudu można w nich odnaleźć stosunkowo zwarte leksykalnie bloki tematyczne, eksplikujące domeny takie, jak: pierwszy kontakt z interlokutorem i bazowe informacje o rozmówcach (rozd. 1–2), dom i członkowie rodziny (rozd. 3), praca, otoczenie i nazwy miejsc (rozd. 4), komunikacja i środki transportu (rozd. 5), elementy ubioru i rzeczy codziennego użytku – wraz z systemem liczebnika głównego (rozd. 6), życie codzienne, odżywianie się i nazwy potraw (rozd. 7), konceptualizacja czasu – z systemem liczebnika porządkowego (rozd. 8), konceptualizacja przestrzeni – mieszkanie, dom, otoczenie (rozd. 9), sposoby spędzania wolnego czasu (rozd. 10), święta i tradycje (rozd. 11) oraz sfera ciała i zdrowia (rozd. 12). Od szóstego rozdziału do dialogów sytuacyjnych autorka dołącza krótkie, sformułowane w pierwszej lub trzeciej osobie teksty, które stanowią ich uzupełnienie. Tworzą one krótkie historyjki, na przykład o koleżankach i ich garderobie („Dvi draugės”, rozdz. 6) czy o tradycyjnych obchodach Nocy Świętojańskiej na Litwie („Rasos šventė”, rozdz. 11); innym razem są to monologi, przykładowo o potrawach i napojach na imprezie studenckiej (rozd. 7), o warunkach mieszkania w akademiku (rozd. 9) czy o kontuzji i wizycie u lekarza (rozd. 12), bądź listy, jak choćby Aureliji do Arnoldasa (o wyprawie na południe Litwy, rozdz. 8), czy Renaty do Marii (o studiowaniu na Litwie, rozdz. 10). Ponadto na końcu każdego z rozdziałów zamieszczono elementy treściowe do czytania (krótkie czytanki w postaci historyjki, baśni, relacji czy wywiadu wydają się zrećcznie przystawać do promowanej tematyki poszczególnych rozdziałów), mogące stanowić dobrą bazę do pracy samodzielnej studenta oraz spełniające rolę rozszerzającą zarówno pod względem leksykalnym, jak i sytuacyjno-poznawczym.

Należy podkreślić, że strukturę tematyczną poszczególnych bloków tekstowych, które tworzą zarówno dialogi, jak też opowiadania, historyjki, baśnie, listy itp., cechuje ogólna spójność tematyczna i dążność do przedstawienia podstawowych sytuacji komunikacyjnych w zakresie życia codziennego współczesnego studenta. Ponadto zaprezentowane teksty (szczególnie te w późniejszych rozdziałach) sprawiają wrażenie naturalnych wycinków mowy, rzeczywistych rozmów czy też relacji, co z pewnością należy do atutów podręcznika. Innym walorem, w moim przekonaniu, jest zrećzny dobór ciekawej tematyki poszczególnych rozdziałów, co czyni je pod względem słownictwa i pewnych wzorców komunikacyjnych (odkrywanych domen naszego życia) stosunkowo zwartymi jednostkami poznawczymi. Co więcej, z przekroju podawanej treści można wnioskować, że autorka podjęła starania stopniowania złożoności zarówno leksykalno-semantycznej, jak i gramatycznej.

Jak omawiany środek dydaktyczny przedstawia się od strony innych elementów glottodydaktycznych w świetle jego zawartości, sposobu prezentacji materiału, metodyki? Do atutów podręcznika można zaliczyć selektywne skomponowanie rozdziałowych słowniczków, chociaż szkoda, że przyjęto zasadę niepodawania polskich odpowiedników (tak jak w wyżej wymienionych podręcznikach litewskich, tyle że te były pisane na Litwie z myślą nie tylko o Polakach). Natomiast należy przyznać, że autorka w czytelny sposób dąży do tematycznego zaprezentowania bogatej leksyki w zakresie prezentowanych w tekstach domen życia, oferując po kolei: spisy nazw zawodów, członków rodziny, nazw obiektów i miejsc, środków transportu, ubioru, żywności, określeń temporalnych, części i wyposażenia domu, bogaty leksykon kultury (dotyczący sposobu spędzania wolnego czasu) i tradycji, a także ciała i zdrowia. Co więcej, można odnieść wrażenie, że dbałość o leksykę tematyczną jest jednym z priorytetów podręcznika. Pod względem części mowy słownictwo prezentuje się w miarę zróżnicowanie, chociaż na tle całości wydaje się nieco odstawać prezentacja czasownika (ta kwestia zostanie poruszona poniżej, przy omawianiu zagadnienia gramatyki).

Podręcznik *Gija* cechuje z góry założona selektywność i oszczędne traktowanie, prezentowanie, a zwłaszcza wyjaśnianie materiału gramatycznego. Formy rzeczownika i przymiotnika, częściowo też zaimka, przedstawia się w sposób charakterystyczny dla metody komunikacyjnej, to znaczy podając je w kolejnych rozdziałach w ramach prezentowania kategorii konkretnego przypadku, w kontekście praktycznego użycia w zdaniu, a także w konstrukcjach z przyimkiem. Każdorazowo aplikuje się fleksję wybranego przypadku, zróżnicowaną na warianty wszystkich deklinacji rzeczownych i przymiotnych, z przykładami w załączonych tabelkach. Należy jednak dodać, że fleksja obu części mowy eksponowana jest maksymalnie skrótowo i schematycznie, z pominięciem typów intonacyjno-akcentuacyjnych oraz z uproszczeniami w ramach paradygmatów. W prezentacji rzeczownika zastosowano binarny system podziału na grupy deklinacyjne męskie oraz żeńskie (w litewskim gramatyczny rodzaj nijaki form imiennych nie występuje), co jednak niezupełnie odpowiada rzeczywistości. W ramach uproszczenia pomija się na przykład aspekt zróżnicowania rodzajowego III deklinacji mieszanej, zakończonej na *-is*, gen. *-ies* (*pirtis*, *-iēs*, fem.; *vagis*, *-iēs*, masc.), podając wyłącznie przykłady rzeczowników żeńskich (odmiany masculinum III deklinacji nie znalazłem także w tabelach gramatycznych). Prezentowana równolegle z rzeczownikiem fleksja przymiotna została ograniczona do przykładów odmiany I i II deklinacji przymiotników. Deklinacja III, zakończona na *-inis*, *-inē*, obejmująca przede wszystkim tak zwane przymiotniki materialne typu *auksinis*, *-ē* ('złoty', *-a'*), jest odnotowana jedynie typologicznie w rozdz. 3, natomiast w tabelach 3 i 4 Aneksu gramatycznego w jej miejsce zamieszczono odmianę przymiotnika *didelis*, *-ē* ('duży', *-a'*), który stanowi odrębny paradygmat, w rzeczywistości od III deklinacji różny (decydują różnice fleksyjne w nom. i dat. pl. masc.: *dideli*, *dideliems*; *auksiniai*, *auksiniam*).

Stosowaną zasadę „minimum gramatyki” daje się odczuć również w akwizycji czasownika. Student w pierwszych trzech rozdziałach po kolei otrzymuje modele odmiany *praesens* wszystkich trzech koniugacji (wraz z systemem odmiany zaimków osobowych). Sama oszczędność w prezentowaniu czasownika czasami wykazuje

daleko idące uproszczenia, przykładowo kiedy wzór pierwszej koniugacji reprezentuje czasownik posiłkowy *būti* – jego odmiana, między innymi z powodu właściwych mu form supletywnych, w gramatykach jest podawana oddzielnie. W prezentacji innych czasów i trybów w dalszych rozdziałach notuje się pewną dysharmonię z tekstem. Z pewnym opóźnieniem, bo w rozdz. 7, przedstawia się na przykład wzory odmiany *praeteritum* (jeden z nich znowu stanowi forma *būti*), tradycyjnie zwięźle, bez nawiązywania do typów koniugacyjnych i akcentuacji (w odniesieniu do progresu gramatycznego w tekstach, paradygmaty czasu przeszłego można było podać już we wcześniejszych partiach materiału, gdyż teksty do czytania w rozdz. 4 (*Vilniaus ikūrimas*) oraz rozdz. 6 (*Kaip žmonės skaičiavo*) oparto na narracji w czasie przeszłym), zaś dalsza informacja o fleksji werbalnej pojawia się dopiero w rozdz. 10, gdzie umieszczono model odmiany *conditionalis* I, którego konstrukcje w tekście (np. w dialogach 2.7 i 2.8 w rozdz. 8) wyprzedzają o parę lekcji oficjalną prezentację. W rozdz. 11 eksplikuje się modele odmiany *praeteritum frequentativum* oraz *futurum*, zaś w rozdz. 12 – *reflexivum* (również znacznie wcześniej można było zaprezentować koniugację *futurum*, gdyż jego formy są użyte w tekście już w rozdz. 6, a także przedstawić model *imperativus*, którego wzór podano wyłącznie w tabeli 10). Podobna preferencja byłaby wskazana dla wdrożenia odmiany form zwrotnych (głównie w czasie teraźniejszym i przeszłym), gdyż jak pokazuje praktyka, nie da się ich uniknąć w tekstach z założenia mających brzmieć w miarę naturalnie (w rzeczywistości w tekstach podręcznika pojawiają się one od pierwszych rozdziałów, przykładowo *atsiprašyti*, *susipažinti*, *tikėtis* czy *vilktis*).

Jeśli przyjrzeć się zaprezentowanej w podręczniku *Gija* gramatyce od strony niezbędnego minimum kompetencji językowych potrzebnych do używania języka, czyli nabycia umiejętności rozumienia nieskomplikowanych tekstów i generowania zdań w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, to podany w nim materiał o czasowniku można przyjąć za dostateczne minimum. Aczkolwiek należy zwrócić uwagę również na to, że autorka świadomie rezygnuje z prezentacji niektórych bardziej złożonych kategorii gramatycznych, jak imiesłowy (odmienne i nieodmienne, czynne i bierne), czy też odmawia zagłębiania się w kwestię wspomnianych czasowników zwrotnych; rzadziej używanych kategorii tu nie poruszam. Jeśli chodzi o *participia*, w języku litewskim są one kategorią bardzo ważną i nader produktywną, zarówno w czasach złożonych (funkcja predykatywna i modalna, szczególnie w mowie zależnej), jak i w innych funkcjach w zdaniu, ale prawdą jest też to, że stanowią w jakimś sensie wyższy stopień wtajemniczenia użytkownika języka. W tym kontekście założenie pozostawienia bardziej złożonych struktur dla wyższego poziomu nauczania ma swego rodzaju uzasadnienie. W moim przekonaniu, na poziomie poznania wytyczonych najprostszych celów komunikacyjnych taka koncepcja „odrzućcenia” niektórych kategorii gramatycznych może być do przyjęcia, zwłaszcza że autorce w większości przypadków udaje się tych bardziej złożonych form zżęcznie unikać.

W kwestii prezentacji czasownika należy nadmienić o jeszcze jednej rzeczy, której w podręczniku zabrakło, a mianowicie o konsekwencji w praktycznej eksplikacji form czasownika, które w systemie języka litewskiego stanowią podstawę tworzenia zarówno czasów, jak i trybów, oraz wspomnianych imiesłówów. Wprawdzie autorka

czasownikowi poświęca stosunkowo dużo uwagi w ćwiczeniach, a także parę razy nadmienia (w komentarzach w podręczniku dla nauczyciela przy okazji wprowadzenia czasu przeszłego, zob. rozdz. 7) o konieczności przyswajania przez studentów podstawowych form czasownika, to w gruncie rzeczy w słowniczkach lekcyjnych wydaje się nierzadko o tym zapominać. W efekcie charakteryzuje czasownik niezupełnie kompletnie (nie uwzględnia wszystkich leksemów pojawiających się na bieżąco w tekstach) i nie do końca konsekwentnie. Raz czyni to pieczęłowicie (jak w rozdz. 11–12), innym razem zapomina o formach (rozdz. 8–10) czy podaje je wybiórczo dla paru czasowników (rozdz. 4–7). Inną niedogodnością w tym zakresie jest również brak stałej pozycji dla tej części mowy w słowniczku, gdyż nieregularne podawanie w różnych miejscach bloku tematycznego (raz w słowniczku, innym razem w ćwiczeniach) stwarza trudność w bieżącym ich odszukaniu. (W wymiarze porównawczym na pocieszenie zostaje jednak fakt, że inny, wcześniej cytowany podręcznik nad czasownikiem nie panuje zupełnie; ale już na przykład we wspomnianym *Nė dienos be lietuvių kalbos* czasownik eksponuje się wzorowo i na pierwszym miejscu w blokach słownikowych, ze wszystkimi formami w pełnym brzmieniu).

Co do zapisu form w omawianym podręczniku, osnowy czasownika traktuje się skrótowo, podając jedynie zakończenia drugiej i trzeciej formy, co nie jest najlepsze z paru względów. Otóż zapis stosowany bez konsekwentnego zaznaczania granicy morfemu tematycznego w *infinitivus* (wspólnego wszystkim trzem formom) wprowadza zamęt, szczególnie przy pojawiających się paradygmatach ze zmianami morfonologicznymi. Przykładowo, skrótowo zapisane *šukuotis*, *-jasi*, *-avosi* ('czesać się') dla osnów *praesens* i *praeteritum* suponuje różne podstawy słowotwórcze (*šukuo-* oraz *-šuk-*). Dlatego słowniki stosują transparentny zapis z oznaczoną osnową, np. *šuk//uotis*, *-uojasi*, *-āvosi*. W kontekście bogactwa w języku litewskim osnów czasu teraźniejszego i przeszłego akwizycja w postaci tak zwanych form podstawowych czasownika ma kardynalne znaczenie i od dawna stanowi kanon metodyki nauczania.

Na zakończenie uwag do części gramatycznej warto zauważyć, że zastosowana w podręczniku selekcja kategorialna ma zarówno dobre, jak i złe strony. Z jednej strony, jest ona efektem świadomego wyboru adresata i założenia metodycznego, że priorytetowym celem bazowego nauczania jest nabycie przez studenta kompetencji komunikacyjnej, a nie zapoznanie się z pełnym systemem morfologii języka, i w tym świetle takie sprofilowanie pomocy naukowej jest usprawiedliwione; z drugiej zaś, proponowana wybiórczość gramatyczna podręcznika (z brakami kategorialnymi) przykładowo już na poziomie studiów filologicznych byłaby trudna do zaakceptowania.

Zagłądając do części podręcznika poświęconej ćwiczeniom, student otrzymuje bogatą ofertę, zarówno pod względem formy, jak i treści. W moim przekonaniu, blok poświęcony wdrażaniu nawyków komunikacyjnych, sprawdzający i utrwalaający postępy kompetencyjne w nauce języka został opracowany solidnie i z polotem. Autorka w przekroju wszystkich 12 rozdziałów zwraca jednakowo dużo uwagi na zaoferowanie uczącemu się całego spektrum zróżnicowanych ćwiczeń, które ugruntowują użycie poznanych form czasownika z zaimkiem osobowym, rzeczownika, przymiotnika, paru przypadków prostych form liczebnika (głównego i porządkowego), przysłówka, wreszcie kombinacji związków

wyrazowych, zaś w określonych blokach tematowych niemało uwagi poświęca lokalizującym konstrukcjom przyimkowym. Oferowane zadania są z reguły ciekawe i różnorodne zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Przykładowo tylko wymienię, że występują w nich zadania fonetyczne (przede wszystkim w części dotyczącej słuchania, z poleceniami poprawiania błędów w tekście na podstawie odsłuchu), bogaty zestaw ćwiczeń odmiany i użycia form czasownika, użycia właściwego zaimka osobowego, rzeczownika, przymiotnika i przysłówka, ćwiczenia polegające na wstawianiu brakujących wyrazów, zadania łączenia określonych fraz z zaimkiem pytajnym, budowania pytań do zdań, ćwiczenia utrwalające konkretne słownictwo, w tym nazwy państw, języków i zawodów, polecenia układania zdań z podanych wyrazów, szeregowania wyrazów według kategorii oraz budowania dialogów i uzupełniania wypowiedzi, czy pytania testujące rozumienie tekstów do czytania. Wreszcie niemal w każdym bloku występują polecenia opisu – na przykład rodziny czy postaci – oraz zdania do tłumaczenia. Ciekawe ćwiczenia autorka podręcznika prezentuje w kompilacji z obrazem i symbolami. Posiłkując się dostępną formą wizualizacji, najczęściej za pomocą zdjęć, przedstawia osoby, obiekty czy sceny, a następnie zaleca ich opis, analizę porównawczą lub ćwiczenia kojarzenia z leksemami, czym wspomaga utrwalenie nazw na przykład państw (w skojarzeniu z mapą), części ubioru, cyfr czy godzin. Jak wiadomo, elementy obrazowania rzeczywistości w procesie zapamiętywania mają duże znaczenie, co autorka podręcznika zdaje się dobrze rozumieć i w oferowanych ćwiczeniach wykorzystywać.

Na zakończenie nasuwa się parę uwag natury ogólnej. Otóż z punktu widzenia językoznawczego (glottodydaktycznego) minusem podręcznika do nauki języka litewskiego dla Polaków jest brak akcentuacji zarówno tekstów, jak i jednostek leksykalnych słownika. W moim przekonaniu, ważkim argumentem na rzecz konieczności akcentowania litewskich tekstów i materiału gramatycznego w podręcznikach dla cudzoziemców jest różna od polskiego, bardziej złożona struktura prozodyczna języka, która bez uwzględnienia dodatkowych znaków w tekście pisanym znacznie utrudnia jego naukę. Po pierwsze, litewski należy do języków o ruchomym akcencie, po drugie, ma zróżnicowany wokalizm (na samogłoski długie i krótkie), po trzecie, akcentowane sylaby długie (w centrum z samogłoską długą, dyftongiem lub połączeniem dyftongicznym) rozróżniają intonację wznoszącą i opadającą z im właściwą funkcją dystynktywną, czyli piętnem nadawania leksemom zróżnicowanego znaczenia. W tym świetle nieakcentowany litewski tekst pisany dla Polaka, który dopiero zaczyna uczyć się języka, w sposób bezwarunkowy zawiesza w próżni płaszczyznę fonetyczną, a czasem i semantyczną.

Z drugiej jednak strony, efekt nieakcentowania tekstu można usprawiedliwiać trendem, który od kilkunastu lat pojawił się w glottodydaktyce litewskiej. Być może w kontekście możliwości nagrywania tekstów na nośniki dźwięku współcześnie pisane podręczniki do nauki języka litewskiego dla początkujących coraz częściej nie uwzględniają aspektu prozodii języka. Takim brakiem charakteryzują się oba wspomniane podręczniki V. Stumbrienė i A. Kaškelevičienė oraz M. Ramonienė i L. Vilkienė i inne (z nich z resztą wydaje się czerpać pewne wzorce autorka omawianej książki). Tymczasem wcześniejsze podręczniki, dla przykładu A. Paulauskienė *Modern Lithuanian* (Vilnius, 1994) czy podręcznik dla innojęzycznych studentów J. Karaliūnaitė *Lietuvių kalbos vadovėlis*

(Vilnius, 1990), mają korpusy językowe w pełni akcentowane (ten pierwszy również częściowo uwzględnia transkrypcję wymowy).

Wprawdzie tę utrwaloną modę można by skwitować powiedzeniem „takie czasy, takie zwyczaje”, tym niemniej w glottodydaktyce z prawdziwego zdarzenia przestrzegałbym przed uproszczeniami, które nie ułatwiają nauki, a ją utrudniają. W celu podania zachęającego do dodatkowego wysiłku przykładu załączę głosę o sposobie traktowania tejże materii w nauce języka rosyjskiego, który podobnie jak litewski cechuje ruchoma akcentuacja (aczkolwiek mniej skomplikowana, gdyż bez zróżnicowania iloczasu samogłosek i tak zwanej intonacji sylabowej). Otóż współczesny podręcznik do nauki języka rosyjskiego dla polskich szkół średnich (M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec, *Bom u mbi*, Warszawa, PWN 2008) tradycyjnie akcentuje wszystkie teksty, bloki gramatyczne, słownictwo i ćwiczenia, pomimo tego, że załącza się pełne nagrania tekstów. Ale, chciałoby się rzec, glottodydaktyka języka rosyjskiego dla obcokrajowców ma długą tradycję.

Pewną niedogodność w korzystaniu z podręcznika *Gija* mogą stanowić jego rozbudowane rozdziały, ze stosunkowo dużą objętością materiału i bez podziału na mniejsze jednostki lekcyjne. Wydaje się, że zawartego w jednym bloku tematycznym materiału nie sposób opanować w ciągu jednej, a nawet dwóch lekcji. Należy zatem mieć na względzie konieczność jego partycji na mniejsze wątki (części) zarówno w płaszczyźnie gramatycznej, jak i tekstowej oraz ćwiczeń. Zaglądając do kilku podręczników do angielskiego i rosyjskiego, przekonałem się co do zasadności podziału wewnętrznego dużych jednostek tematycznych na lekcje czy tak zwane „unity”.

Na zakończenie uwag o pierwszym wydanym w Polsce podręczniku do nauki języka litewskiego chciałbym wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcić do korzystania z tej z całą pewnością pożytecznej w nauce języka pomocy dydaktycznej, która może nie jest w każdym aspekcie doskonała, ale za to zrealizowana z pasją i z zamysłem, aby wszyscy potencjalni pasjonaci mieli w co „uzbroić się”, wyruszając w podróż – metaforycznie – w głąb języka litewskiego, oraz realnie – tego ciągle odkrywanego, interesującego zakątka Europy, jakim jest Litwa.